



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были отданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как минимум о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

### **Правила использования**

Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические запросы.

Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.  
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отправляйте автоматические запросы.  
Не отправляйте в систему Google автоматические запросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.  
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.  
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

### **О программе Поиск книг Google**

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### **Usage guidelines**

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

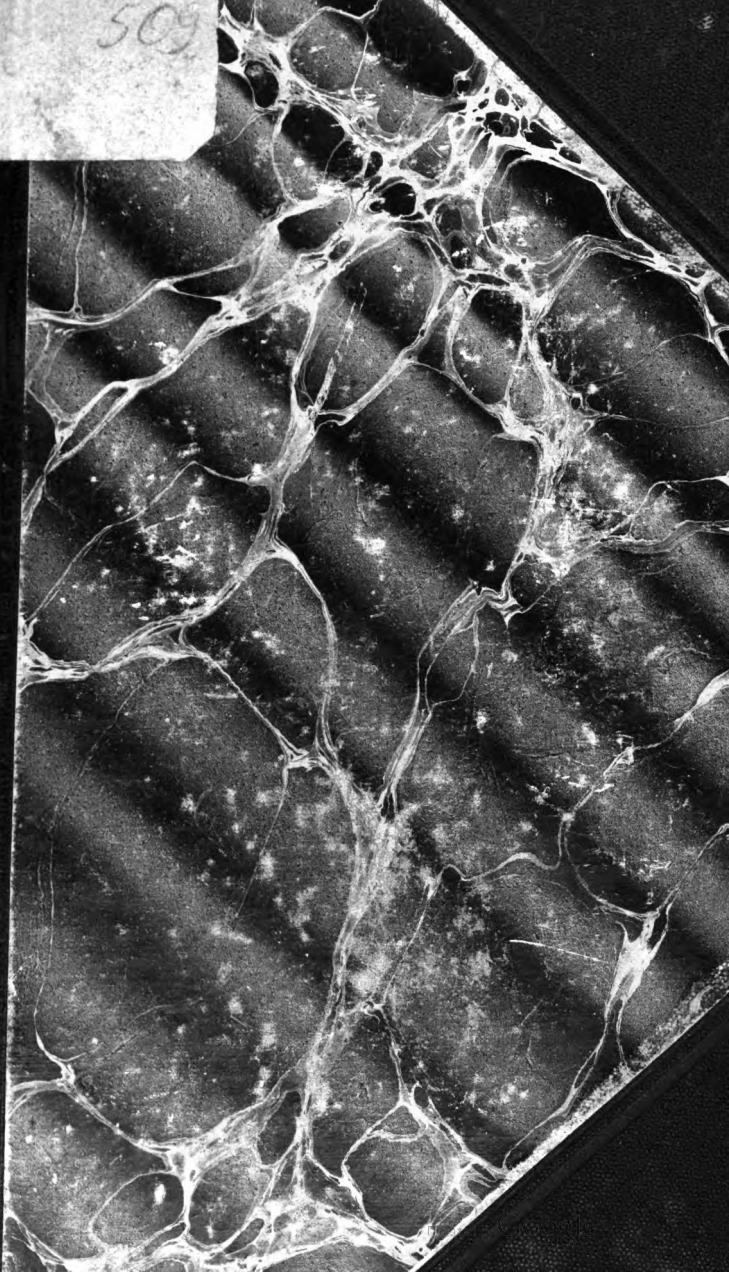
We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

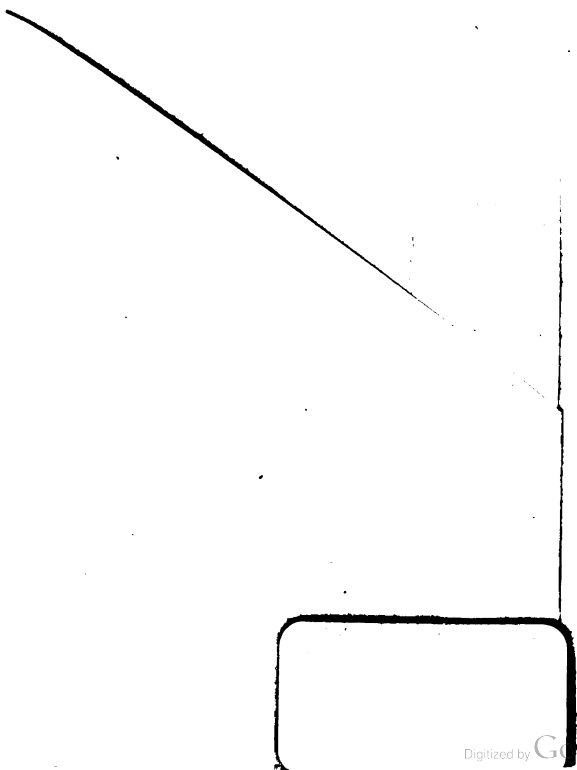
Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>

509



Книга должна быть  
ВОЗВРАЩЕНА НЕ ПОЗЖЕ

0159373





UUCO 8539  
70





*Salov, I.*

*Иванъ Саловъ.*

**И. Саловъ.**

# СЪ НАТУРЫ.

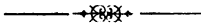
ОЧЕРКИ и РАЗСКАЗЫ.

127169

**СОДЕРЖАНИЕ:**

Шуклинскій Пироговъ. — Дармоѣдка. — Глоты. — Четыре времени года. — Маленькій покойникъ. — Въ засадѣ. — Оболдѣлый. — Лекція въ деревнѣ. — Старый колоколь. — Кавалеръ. — Ласковый баринъ. — Фотій Ивановичъ. — Берендѣевская генераль-майорская школа.

Изданіе книжнаго магазина журнала "Артистъ" БИЛГО



PG 3470  
S25 S2

Рисунки дозволены цензурою. Москва, 12 мая 1893 г.



МОСКВА.  
Типо-лит. Выс. ут. Г-ва И. Н. Кушнеревъ и К<sup>о</sup>,  
Пименовская ул., собств. домъ.  
1893.





## Шуклинскій Пироговъ.

(РАЗСКАЗЪ.)

акъ-то недавно въ мѣстной газетѣ, въ отдѣлѣ хроники, было помѣщено слѣдующее сообщеніе:

„Такого-то марта, около десяти часовъ утра, на маслобойнѣ купца Наумова, одному изъ рабочихъ, запасному рядовому Иванову, машиной раздробило кисть руки и оторвало большой палець. Ивановъ отправленъ на излѣченіе въ Александровскую больницу“.

Сообщеніе это напомнило мнѣ слѣдующій случай.

Это было лѣтъ двадцать тому назадъ, когда у насъ не было еще ни земскихъ врачей, ни земскихъ фельдшеровъ, и когда на весь уѣздъ, въ которомъ я жилъ, былъ всего на всего одинъ только лѣкарь, а городская больница состояла изъ четырехъ-пяти коекъ съ тюфяками, жесткими какъ гранитъ. Больницу эту называли „клоповникомъ“, по изобилію имѣвшихся въ ней клоповъ, и ложиться въ этотъ клоповникъ никто никогда желанія не изъявлялъ. Нечего говорить, что та-

ковое положеніе дѣлъ породило врачей - дилетантовъ, занимавшихся сои атоге лѣченіемъ „низшей братіи“. Въ любой помѣщицкѣй усадьбѣ, въ особенноти же въ средѣ ея женскихъ обитательницъ, можно было встрѣтить такихъ дилетантовъ. Въ одной, напримѣръ, пользовала народъ „баринаова свояченица“, въ другой „сама барыня“, въ третъей—замѣтно увядшая, но все еще молодившаяся, „баринаова дочка“. Дѣлу этому предавались онѣ не только съ участіемъ, но даже съ нѣкоторымъ евангельскимъ увлеченіемъ, и платы, какъ за лѣченіе, такъ и за медикаменты, конечно, не брали. Онѣ принимали больныхъ у себя на дому, перевязывали имъ раны, прикладывали горчичники и мушки, снабжали ихъ нужными медикаментами, иногда даже чаемъ и сахаромъ, а къ тяжко больнымъ ѣздили сами. Народъ любилъ этихъ барынь и охотно довѣрялся имъ. Сами господа помѣщики дѣломъ этимъ не занимались, подшучивали надъ нимъ, считали его почему-то „бабьимъ“—и развѣ иногда только, когда заболѣвалъ у нихъ необходимый работникъ, они принимали въ немъ нѣкоторое участіе и, обратясь къ своимъ женамъ, говорили:—„Матушка, посмотри ты, ради Бога, этого Гараську, что съ нимъ такое? Вотъ уже третій день, подлець, на печкѣ валяется! Дай ему чего-нибудь!“—Веѣ эти барыни-лѣкарки назывались не по имени и отечеству, а по прозванію усадьбъ, въ которыхъ проживали. Такъ, Софья Степановна Стручкова, проживавшая въ селѣ Ерундѣ, называлась „Ерундинской барыней“, а барыня Васса Андреевна Кондарская—„Скачихинской барыней“. Барыни эти пользовались обыкновенно въ своемъ ерундинскомъ окологдѣ и въ своемъ скачихинскомъ районѣ извѣстною медицинскою репомнѣе; приобрѣтали нѣоторую популярность, а иногда даже достигали опьяняющей сла-

вы. Лѣчили онѣ большею частью по лѣчебникамъ сороковыхъ годовъ и, въ большинствѣ случаевъ, всѣ болѣзни приписывали простудѣ, засоренію желудка и худосочию. Лѣчили рвотнымъ, касторкой, алтейной мазью, неизбѣжнымъ вытяжнымъ пластыремъ, мятой, бузиной и разными травяными настойками. Въ экстренныхъ случаяхъ болѣе храбрыя, какъ, на примѣръ, „Ерундинская барыня“—въ настойки эти подмѣшивала „по вкусу“ извѣстныя дозы сулемы и мышьяка.

Къ числу такихъ-то врачей-дилетантовъ принадлежалъ и я, съ тою только разницею, что, памятуя о существованіи въ „Уложеніи о наказаніяхъ“ на какой-то страницѣ, какой-то статьи, не особенно поощряющей подобную форму изліяній челоуѣколюбія—я избралъ себѣ гомеопатію: „Ужъ если не вылѣчу,—соображалъ я,—то ужъ ни въ какомъ случаѣ не уморю!“ И съ бодрымъ духомъ, а главное, съ совершенно спокойною совѣстью, я принялся лѣчить народъ. У меня была собственная своя крохотная аптечка (весьма походившая на сахарницу), наполненная крохотными пузырьками, и имѣлся для „руководства и справокъ“ довольно толковый лѣчебникъ. Я самъ лично приготовлялъ крупинки и, давая крупинки эти глотать пациентамъ, приводилъ ихъ, на первыхъ порахъ, въ немалое смущеніе. Проглотить, бывало, мужикъ крупинку—и стоитъ въ какомъ-то недоумѣніи.—„Что ты?“ спросишь его. А мужикъ, вмѣсто отвѣта, принимался смотрѣть на свою бороду, отряхивать ее, затѣмъ смотрѣлъ на полъ и, наконецъ, вздохнувъ, бормоталъ:—„То ли проглотилъ, то-ли нѣтъ—Господь знаетъ!“—Однако, немного погодя, къ великому моему изумленію, я сталъ замѣчать, что крупинки мои все-таки свое дѣло дѣлали и что пациенты, глотавшіе ихъ, сплошь да рядомъ получали исцѣленіе! Я началъ

нѣсколько вѣрить въ силу своей „сахарницы“, а околodокъ, въ которомъ я врачеваль, безусловно увѣровалъ въ мои медицинскія познанія. Слава моя росла съ каждымъ днемъ! Обо мнѣ стали говорить: ко мнѣ стали появляться больные изъ „Ерудинскаго“ и „Скачихинскаго“ околodковъ; нѣкоторымъ изъ пациентовъ представлялся я въ ночныхъ сновидѣнiяхъ (исключительно, впрочемъ, старухамъ) и, въ концѣ-концовъ, про мои крупинки стали слагаться фантастическiе анекдоты, переходившiе, конечно, изъ устъ въ уста, и анекдоты эти, по несуществованiю еще въ то время института господъ урядниковъ, совершенно благополучно упрочили за мною славу „врача“!

Изъ этой-то медицинской практики я и хочу передать вамъ слѣдующiй случай.

Разъ какъ-то, часовъ въ семь утра, когда я былъ на покосѣ, меня изловили братья Антипины — крестьяне сосѣдняго села Шуклина. Оба брата прiѣхали на одной и той же телѣжкѣ; лошадь была вся въ мылѣ, а лица прiѣхавшихъ выражали такой испугъ, что я самъ даже испугался, взглянувъ на нихъ. Увидѣвъ меня, одинъ изъ братьевъ, по имени Яковъ, бросилъ возжи, соскочилъ съ телѣжки и, едва переводя духъ, подбѣжалъ ко мнѣ.

— Что съ тобой?

— Да что, бѣда стряслась! — проговорилъ Яковъ; — сейчасъ старику нашему на мельницѣ руку оторвало!..

— Лукьяну? — почти вскрикнулъ я.

— Ништо, ему.

— Какъ же это?

— Знамо, какъ! Старикъ торопливый, все хочется ему поскорѣе какъ бы!.. Сталь шестерню подмазывать — остановить бы надоть мельницу-то!.. а онъ, замѣсто того, на всемъ ходу подмазывать зачалъ: руку-то ему и втянуло, да такъ лапу-то



прочь и отсадило!.. Кровью истекъ было, да спасибо Гаврильевна подоспѣла, заговорила!

И, какъ-то особенно отчаянно бухнувшись мнѣ въ ноги, онъ буквально возопилъ:

— Пособи, Бога ради!

Лукьянъ былъ мой пріятель и потому вѣсть о случившемся весьма огорчила меня.

— Ну, братецъ,—проговорилъ я, — и радъ бы радостью пособить, но въ дѣлѣ этомъ я ровно ничего не понимаю.

— Ну, будетъ тебѣ!.. въ книгу свою посмотри... Ради Господа прошу...

— Въ книгѣ нѣтъ про это... На этотъ случай другая книга есть...

— Такъ ты въ другую... И старикъ просить тебя... Богъ знаетъ какъ просить!

— Я и безъ проса сдѣлалъ бы, да не умѣю... а мы вотъ что сдѣлаемъ...

— Ну?

— Я сейчасъ лѣкарю письмо напишу, и ты вмѣстѣ съ старикомъ поѣзжай къ нему въ городъ. Только смотри, сейчасъ же, не мѣшкай—до завтраго не откладывай, не то худо будетъ!

Яковъ стоялъ передо мной безъ шапки, опустил голову, и по всему можно было замѣтить, что поѣздка въ городъ, да еще къ лѣкарю, не особенно-то приходилась ему по вкусу. Онъ какъ будто не совсѣмъ вѣрилъ въ эту необходимость и въ моемъ совѣтѣ усматривалъ лишь одно нежеланіе заняться старикомъ. Онъ словно оскорбился даже и, почесывая въ затылкѣ, соорилъ самое недовольное лицо. Я сѣлъ къ Антипинымъ въ телѣжку и вмѣстѣ съ ними доѣхалъ до дома.

Написавъ письмо врачу, въ которомъ я убѣдительнѣйше просилъ его заняться Лукьяномъ, я передалъ письмо Якову.

— Ну вотъ,—проговорилъ я,—отдай это пись-

мо лѣкарю, и онъ какъ слѣдуетъ займется твоимъ старикомъ. Только смотри, сейчасъ же вези его въ городъ, не то, повторяю, можетъ кончиться скверно...

— Чѣмъ же?—перебилъ меня Яковъ.

— Антоновъ огонь можетъ быть.

— Чего же лѣкарь-то съ нимъ будетъ дѣлать?

— Онъ знаетъ что.

— Текъ.

— Вѣдь кость раздроблена, вѣроятно?

— Знамо, въ дребезги!

— Ну вотъ лѣкарь и осмотришь...

— А ты самъ посмотри, да и научи насъ что дѣлать!—сталъ опять приставать Яковъ.

— Какъ же я научу, когда самъ не знаю...

— Все-таки посмотри, можетъ и придумаешь...

Мы нарочно захватили съ собой, чтобы, значитъ, показать тебѣ...

— Чего захватили?—спросилъ я.

— Да руку-то...

Я ушамъ своимъ не вѣрилъ, но Яковъ обратился къ брату и прибавилъ:

— Ну-ка, Степа, покажь-ка!

Степа принагнулся, закинулъ руку въ карманъ кафтана, вытащилъ оттуда что-то завернутое въ тряпицу, развернулъ ее, и преподнесъ мнѣ оторванную руку Лукьяна.

— Вотъ, погляди-ка,—проговорилъ Яковъ.

Я такъ и ахнулъ!

Однако, разсмотрѣвъ оторванную руку, съ исковерканными пальцами, ободранной кожей и порванными обнаженными жилами, я тотчасъ же убѣдился, что надъ рукой этой поусердствовалъ чей-то ножикъ.

— Рука отрѣзана!—замѣтилъ я.

— Отрѣзана,—подтвердилъ Яковъ.

— Кто же рѣзалъ?

— Мы сами! Моталась она; кости въ ней какъ въ мѣшкѣ гремѣли, ну, старикъ и приказалъ отрѣзать. Заплакалъ таково-то горько и говоритъ: „Рѣжь, Яшка, ни къ чему она теперь!“

И оба брата, тяжело вздохнувъ, отерли навёрнувшіяся на глаза слезы.

— Ты хошь-бы крупинокъ намъ даль какихъ-нибудь!—сталь опять упрашивать Яковъ.

— Не помогутъ крупинки! Тутъ не крупинки нужны, а операцію придется дѣлать, а дѣлать операцію я не умѣю... На это докторъ нуженъ... По всей вѣроятности, у него въ рукѣ осколки остались, ихъ надо вынуть... Придется еще и кость отпилить...

— Зачѣмъ же это?—спросилъ Яковъ.

— Какъ зачѣмъ! Видишь она какимъ остріемъ торчитъ... Наискось лопнула, значитъ и тамъ такой же конецъ острый...

— Такой же, точь въ точь! — подхватилъ Яковъ,—словно шпигоръ высунулся...

— Въ томъ-то и дѣло! Вѣдь кость оставить такъ нельзя, надо ее кожей прикрыть, а какъ ты прикроешь ее, когда она такая острая...

— Это вѣрно!—проговорилъ Яковъ, какъ будто что-то соображая;—подровнять, значитъ, надоть, чтобы не рѣзала!.. А чѣмъ же онъ пилить-то будетъ?

— Да ты не бойся!.. Я вижу, ты боишься!.. Тутъ бояться нечего, потому что операція эта для умѣлаго человѣка—пустое дѣло...

— Нѣтъ, я такъ только...

— У нихъ на это инструменты есть: пилки, ножи разные... все приспособлено! Перевяжетъ ему шелковинкой жилы, чтобы кровь не шла...

— Можетъ и крѣпкой ниткой ничего? — спросилъ Яковъ.

— Не знаю, можетъ быть и ниткой! Ужъ это его дѣло...

— А кожу откуда возьметъ онъ, кость то прикрыть?

— Съ той же руки. Вѣдь онъ немного отпилить руку-то!.. Такъ вотъ прежде чѣмъ отпилить, онъ кожу-то подрѣжетъ и завернетъ, а потомъ и спуститъ ее.

— Чулкомъ, значить!—замѣтилъ Яковъ.

— Ну да. И затѣмъ зашьетъ ее.

— Иголкой?

— Конечно. Вотъ тогда рука и заживетъ, потому что въ ней осколковъ не будетъ, жилы будутъ перевязаны, а кость прикрыта.

— А безъ этого нельзя?

— Нельзя.

— И крупинки не помогутъ?

— Не помогутъ, — проговорилъ я, а вотъ льдомъ руку обкладывать—это необходимо...

— Чтобы завсегда, значить, въ холоду была?

— Да, непременно! Дамъ, пожалуй, тебѣ примочку еще. Но только помни, что къ лѣкарю ѣхать все-таки необходимо.

— А то бы самъ занялся? — проговорилъ Яковъ,—и старикъ тоже просилъ...

— Да какъ же я займусь, когда не умѣю... Ты съума сошелъ.

— Текъ! — проговорилъ Яковъ, и потомъ, вздохнувъ, прибавилъ:—ну, что-жъ, благодаримъ и на этомъ... ничего... и за то спасибо!..

Я далъ Якову арники, объяснилъ какъ поступать съ нею и, еще разъ повторивъ о необходимости немедленной помощи медика, почти насильно выпроводилъ ихъ изъ комнаты.

Братья вскочили въ телѣжку, концами возжей ударили лошадь, и стремглавъ поскакали домой. Я видѣлъ какъ мчались они съ горы, какъ перѣхали мостикъ, завернули въ улицу и какъ, не-

много погода, неслись уже по выгону, направляясь къ селу Шуклину.

Къ старику Лукьяну я давно уже питалъ самыя нѣжныя чувства. Это былъ мужикъ лѣтъ 50, средняго роста, съ благодушнымъ, вѣчно улыбающимся лицомъ, съ прищуренными глазками и такой торопливой походкой, что я насилу поспѣвалъ за нимъ. Хлопотунъ онъ былъ превеликій и сидѣть сложа руки, ничего не дѣлая, положительно не могъ. То, бывало, телѣгу чинить, то сапоги шьеть, то корыто долбить, то печку перекладываетъ!.. Полевыми работами онъ самъ не занимался, ибо передалъ это дѣло сыновьямъ, Якову и Степану, — зато „вокругъ дома“, на мельницѣ, на пчельникѣ, онъ работалъ одинъ, безъ посторонней помощи; развѣ кое-когда только старуха подсобить въ чемъ-нибудь! Помимо всего этого Лукьянъ былъ страстный охотникъ, отличный рыболовъ, птицеловъ и даже недурной сапожникъ. Зимой онъ дѣлался мельникомъ, а лѣтомъ удалялся на пасѣку и превращался въ пасѣчника. Мельница, правда, у него была неважная, тѣмъ не менѣе, однако, прокармливая всю семью Лукьяна, она давала возможность продавать весь хлѣбъ, получаемый отъ собственныхъ посѣвовъ. Такъ же точно и пчельникъ. Состоялъ онъ изъ нѣсколькихъ только десятковъ колодъ, но доходъ, получавшійся отъ продажи меда и воска, оплачивалъ всѣ подати, падавшія на семью Лукьяна. При такихъ постоянныхъ занятіяхъ, казалось, объ охотѣ и помышлять бы нечего; но выходило иначе. Лукьяна доставало на все! Оберетъ, бывало, пчелиныя рои, размѣститъ ихъ по колодкамъ, похлебаеть на скорую руку кашицы, пихнетъ за пазуху ломоть чернаго хлѣба, а немного погода, смотришь — ужъ онъ гдѣ-нибудь возлѣ болота ползаетъ на животѣ и подкрадывается подъ

утокъ! А то на рѣкѣ сидить, окруженный удочками, жерлицами; зорко слѣдитъ за десятками поплавокъ, глазомъ не моргнетъ, — и то-и-дѣло вытаскиваетъ изъ воды серебристыхъ окуней и красноперокъ. То же самое зимой. Дуетъ морозный вѣтеръ, заметаетъ сухимъ снѣжкомъ плетни и гумна, мельница быстро махаетъ крыльями, дрожитъ вся, ходенемъ-ходить, снасти гремятъ, жерновъ гудитъ — и Лукьянъ, весь покрытый мучной пылью, едва успѣваетъ управляться съ мельницей. „Вѣтрянку“ не сравнять съ водяной. Тамъ пустиль воду, оставилъ снасти — и спи себѣ! А тутъ не то. Прихотливый вѣтерокъ то-и-дѣло мѣняетъ и силу, и направленіе. То набѣжитъ онъ вихремъ, зашумитъ, загремитъ колесами, жерновъ словно вылетѣтъ хочеть, а то, наоборотъ, затихнетъ, упадетъ, и только-что гремѣвшія снасти, словно утомленные, еле-еле поскрипываютъ на своихъ осяхъ. Тутъ дремать нельзя. И вотъ, среди грохота и стона этой мельницы, Лукьянъ суетится какъ угорѣлый. То ковшъ ослабитъ, то жерновъ притужитъ, то махи на вѣтеръ поставитъ, то на полувѣтеръ; а между тѣмъ мука не ждетъ: толстымъ рукавомъ течетъ она изъ-подъ жернова и переполнила уже мѣшокъ; надо убрать его и замѣнить другимъ. И Лукьянъ, усталый и измученный, едва успѣваетъ выполнять все это. Но чуть вѣтеръ упадалъ, чуть мельница засыпала, какъ ужъ Лукьянъ двери на замокъ, ружье на плечо и — маршъ на гумна. Обойдетъ ихъ и, смотришь, матерой русакъ съ бѣлыми пазанками и широкимъ лбомъ виситъ уже у него за спиной! И такъ вездѣ и во всемъ! Водки Лукьянъ не пилъ, но зато „чайничать“ былъ великій охотникъ. Чай онъ пилъ всегда съ медомъ и усидѣть ведерный самоваръ было для него нипочемъ: только, бывало, потъ льетъ съ него!.. Характера онъ

былъ самаго веселаго, самаго уживчиваго, говорилъ красно и подчасъ такъ много, что бывало слушаешь и удивляешься: откуда только у него берутся всѣ эти веселыя и хорошія слова? Семейнинъ онъ былъ прекрасный; старуху и снохъ своихъ любилъ; первую величалъ „барыней“, а послѣднихъ „лебедками“, и веселымъ и уживчивымъ характеромъ своимъ сумѣлъ связать семью такими узами дружбы и любви, что въ домѣ его ни ссоръ, ни раздоровъ не существовало. Жилъ Лукьянъ опрятно, ѣлъ „сладко“, одѣвался чисто, всего у него было вдоволь, дѣти его уважали, не лѣнились, не пьянствовали и потому весьма понятно, что домъ Лукьяна считался лучшимъ въ селѣ Шуклинѣ, а самъ Лукьянъ—мужикомъ „настоящимъ“, разумнымъ и домовитымъ.

Излишне говорить, что съ Лукьяномъ сблизила меня болѣе всего охота. Познакомились мы съ нимъ на охотѣ,—охотились въ тотъ день удачно,—а послѣ охоты я зазвалъ его къ себѣ, выпыли мы съ нимъ самовара два чаю—и съ тѣхъ поръ дружба наша сдѣлалась неразрывною.

Итакъ, происшествіе, случившееся съ Лукьяномъ, сильно встревожило и огорчило меня. Нѣсколько разъ я собирался съѣздить въ село Шуклино, чтобы узнать отъ семейныхъ Лукьяна о положеніи его здоровья, но, частью рабочая пора, частью лѣнь какъ-то мѣшали все осуществленію моего желанія. Раза два, однако, встрѣчаясь на базарѣ съ шуклинскими крестьянами, я спрашивался у нихъ, живъ ли Лукьянъ? — и оба раза получалъ въ отвѣтъ: „ничего, живъ!“ Я сталъ успокоиваться, а вскорѣ меня успокоили еще больше „Ерундинская барыня“ и „Скачихинская барышня“. Обѣ онѣ, зная мои дружескія отношенія къ Лукьяну, заѣхали какъ-то ко мнѣ, весьма мило потребовали, чтобы я угостилъ ихъ шоко-

ладомъ, и вотъ за этимъ-то шоколадомъ сообщили мнѣ, своему „celeberrimo collegae“ (прежде онѣ величали меня carissimus collega, но со временемъ сновидѣній, стали надо мной подтрунивать и carissimus передѣляли на celeberrimus), что сейчасъ онѣ встрѣтили Якова, который объявилъ имъ, что Лукьянъ не только живъ и здоровъ, но даже совершенно поправился, что онѣ бодръ, веселъ и боли въ рукѣ не чувствуетъ ни малѣйшей! Я спросилъ - было своихъ любезныхъ собесѣдницъ: не вернулся ли Лукьянъ изъ города? но онѣ отвѣтить мнѣ на это не могли, на томъ основаніи, что имъ, какъ выразились онѣ сами, „даже и въ голову не пришло спросить объ этомъ Якова“. Я успокоился окончательно; а извѣстно, что когда русскій человѣкъ успокоится, да вдобавокъ окончательно, то сдвинуть его съ мѣста является уже дѣломъ крайне не легкимъ! Въ такомъ успокоительномъ положеніи я провелъ еще недѣли двѣ...

Наконецъ, я взялъ да и собрался.

Мнѣ заложили бѣговья дрожки и я отправился въ Шуклино съ цѣлью, конечно, навѣстить семью Лукьяна, такъ какъ повидаться съ нимъ самимъ я еще не рассчитывалъ. День былъ прелестный, теплый, но не жаркій. Бѣлыя прозрачныя облачка тонули въ синевѣ неба, то разбѣгаясь барашками, то вытягиваясь пеленой, какъ легкое подвѣнечное покрывало. Успѣвшая выколоситься рожь колыхалась волнообразно, пестрилась сѣдыми отливами колосьевъ; отливы эти бѣжали по полю одинъ за другимъ, какъ бы догоняя другъ друга, и словно таяли вдали... Греча была въ полномъ цвѣту; бѣлыми квадратами выдѣлялась она въ темной зелени яровыхъ полей и насыщала воздухъ ароматомъ меда. Я ѣхалъ и наслаждался...

Часа черезъ полтора я былъ уже въ Шуклинѣ.



По случаю праздничнаго дня улицы нестрѣли народомъ. Старики сидѣли на завалинкахъ, а молодежь водила хороводы, пѣла пѣсни и веселилась на славу.

— А что Лукьянъ?—спросилъ я встрѣтившагося мнѣ знакомаго крестьянина,—живъ, что-ли?

— Живъ, ничего...

— Поправляется?

— Поправляется слышь?

Я обогнулъ церковь, миновалъ дома причетниковъ, повернулъ въ переулокъ, въ которомъ жилъ Лукьянъ, а немного погода подѣзжалъ уже къ его избѣ. Смотрю—и что же? Лукьянъ сидитъ на завалинкѣ, правая рука его лежала на перевязи, а лѣвая гладила какую-то собаченку, ласково положившую къ нему на колѣни свою морду.

— А, пріятель! — кричалъ Лукьянъ, увидавъ меня и махая здоровой рукой;—другъ любезный... Насилу-то вспомнилъ... Сколько лѣтъ, сколько зимъ...

И лицо Лукьяна озарилось самой пріятнѣйшей улыбкой. Онъ оттолкнулъ собаченку, вскочилъ съ завалины и, поспѣшно подойдя ко мнѣ, протянулъ лѣвую руку.

— Здорово, здорово!—бормоталъ онъ, — давно не видались! давно, давно...

— Ну, что рука?—спросилъ я, привязавъ къ плетню лошадь.

— Рука, братъ, тю-тю,—поминай, какъ звали!

И, приподнявъ больную руку, прибавилъ:

— Вотъ чего осталось! Ровно у быка булдышка \*). Теперь съ лѣваго плеча стрѣлять-то придется...

— Знаю я, что кисти-то нѣтъ, а тебе много-

---

\*) Булдышкой называется часть бычачьей ноги между колѣномъ и копытомъ.



вориль я, — ты мнѣ про руку-то расскажи. Она какъ?

— Она ничего теперь...

— Зажила?

— Зажила. Допрежь все гной сочился, а теперь затянуло, какъ быть должно!.. Ну что, — прибавиль онъ, — какъ поживаешь?

— Ничего.

— По дупелямъ-то ходиль?

— Нѣтъ.

— Что такъ? а слышь, пропасть ихъ...

Вышелъ Яковъ. Масляное лицо его (извѣстно, что у мужиковъ по праздникамъ всегда лица масляныя) выражало радость, губы раздвигались въ какую-то глупую улыбку и выказывали рядъ бѣлыхъ, какъ сахаръ, зубовъ. Онъ поздоровался со мной и, кивнувъ на старика головой, проговорилъ:

— Выходился вѣдь!

— И прекрасно.

— А ужъ мы было хоронить собрались... такъ и чаяли, что безъ старика останемся.

— Съ этихъ-то поръ помирать—больно жирно будетъ!—вскричалъ Лукьянъ весело.

Яковъ подошелъ ко мнѣ еще ближе, потоптался какъ-то, ткнулъ меня въ плечо, и вскрикнулъ:

— А въ городъ-то мы его не возили!—и опять глупо улыбнулся.

— Да ништо возможно было въ городъ ѣхать!—подхватилъ старикъ: — невозможное дѣло, братецъ! Тутъ на печкѣ—и то мѣста не найдешь бывало, а ужъ гдѣ тамъ, въ больницѣ!

— Стало быть сюда лѣкаря привозили?—спросилъ я.

— Ну, —крикнулъ Яковъ, — ништо онъ поѣдетъ къ мужику! Что ты, братецъ, развѣ это возможно!.. Нѣтъ, мы сами...

— Какъ сами!—вскрикнулъ я.

— Такъ: сами отрѣзали.

— Ты съ ума сошелъ?

— Зачѣмъ! Мы все, какъ ты приказывалъ, такъ и сдѣлали...

— Постой, постой!—перебилъ я его,—я приказывалъ тебѣ въ городѣ вести его.

— Ну, рассказывалъ что-ли, все едино! Какъ ты рассказывалъ въ тѣ поры, такъ я и сдѣлалъ. Осколки всѣ выбралъ, и кость отпилилъ, и жилы всѣ перевязалъ, обмылъ все водицей, спустилъ кожицу и зашилъ на глухо! А потомъ твоей примочкой примачивалъ... и все льдомъ, и все льдомъ...

— Чѣмъ же ты осколки-то вынималъ?

— Шиломъ выковыривалъ.

— А кость пилилъ чѣмъ?

— Знамо пилой! У насъ такая пилочка махонькая есть, вострая шельма, да тонкая такая!.. а кожу-то бритвой подрѣзалъ... у солдата Патрицѣшкина бралъ, хорошая бритва, аглицкая, въ Аршавѣ покупана...

И затѣмъ какъ-то легко вздохнувъ, словно бремя сбросилъ съ себя, онъ прибавилъ весело:

— Ну, и ничего... Госнодь послалъ!..

Я ушамъ своимъ не вѣрилъ. Меня разбирала и злость, и досада... Я готовъ былъ обругать этого глупаго Якова, но, вспомнивъ и себя самого, и „Ерундинскую барыню“, и „Скачихинскую барышню“—невольно замолчалъ, словно языка лишился, и только попросилъ Лукьяна показать мнѣ больную руку. Старикъ охотно исполнилъ мое желаніе, поспѣшно размоталъ тряпки и вскорѣ я увидалъ совершенно зажившую „булдышку“, какъ прозвалъ ее Лукьянъ.

— Ну, братъ Яковъ,—проговорилъ я, осмотрѣвъ руку,—отчаянный ты человекъ!

Но Яковъ и вниманія не обратилъ на мои слова.

— Нѣтъ, ты послухай-ка, что старикъ-отъ нашъ сдѣлалъ! — говорилъ онъ снова, толкнувъ меня въ плечо, — я его, стало быть, связать пожелаю, чтобы не барахтался, а онъ замѣсто того сѣлъ за столъ, поставилъ на него, вотъ этакимъ манеромъ, на локоть руку и говоритъ: — „Ну, Яша, постарайся, потрудишься ужъ... аккуратнѣй, мотри!“

Старикъ какъ-то грустно улыбнулся, а дуракъ Яковъ стоялъ возлѣ, засунулъ оба большіе пальца за поясъ рубашки, остальные какъ-то растопырилъ, выпятилъ брюхо, и круглое масляное лицо его словно говорило: „Вотъ, молю, какъ по нашему-то!“

— Ну, будетъ вамъ тутъ балясничать-то! — раздався вдругъ позади меня чей-то старушечій, разбитый голосъ, — самоваръ кипитъ, зови гостя-то въ горницу!

Я оглянулся и увидалъ высунувшуюся въ окно жену Лукьяна — Дарью.

— Что долго не бывалъ? По болотамъ, поди, шатался? — говорила она.

— Нѣтъ, бабушка, недосугъ было.

— Ужъ какъ душа то у меня наболѣлась за это время!.. ахъ, какъ наболѣлась!.. А вотъ ты не пришелъ, небось, потужить-то!.. Не пришелъ провѣдать... А ужъ какъ горько было!..

— Я полагалъ, что онъ въ городѣ!..

— Куда ужъ намъ въ городъ!.. Налъ мужиками въ городахъ-то смѣются, „кацапами“ называютъ... Ну, да теперь, слава тебѣ, Царица Небесная, — услышала, матушка, мои молитвы глупыя... Миновало насъ горе! Слава Тебѣ Господи, слава Тебѣ!..

— Пойдемъ, пойдемъ! — тростилъ между тѣмъ Лукьянъ, толкая меня большимъ плечомъ, — „барыню-то“ мою вѣдь не переслушаешь... тоже ныть-то здоровенная!.. Пойдемъ-ка чайку напьемся!..

Мы вошли въ горницу, засѣли за столъ и принялись за чай.

Возвращаясь домой вечеркомъ, по холодку, я встрѣтилъ на одномъ перекресткѣ „Ерундинскую барыню“ и „Скачихинскую барышню“. Обѣ онѣ мчались въ одномъ и томъ же тарантасѣ, о чемъ-то горячо разсуждая и разсужденія эти сопровождали какими-то особенно энергичными жестами.

— Откуда? — крикнулъ я, поровнявшись съ ними.

— А! Celeberrime collega! — крикнули онѣ въ свою очередь и замолотили по спинѣ кучера зонтиками, приказывая ему остановить лошадей?

— Откуда? — повторилъ я, не слѣзая съ дрожекъ.

— На „консиліумѣ“ были!

— Вдвоемъ?

— Конечно! — кричали онѣ разомъ. — Къ Вертуновскому дьякону ѣздили; говорили — съ ума сошелъ, но оказалось вздоръ! Храмовой праздникъ былъ у нихъ и съ нимъ просто delirium tremens!.. А вы, тоже съ практики?..

Я расхохотался даже.

— Однако, до свиданья, — кричали между тѣмъ барыни, — некогда! У насъ еще въ Осиновкѣ консиліумъ, туда необходимо!.. Пда-съ! вотъ мы какъ!..

И онѣ помчались, обдавъ меня облакомъ пыли.

Все это, однако, „дѣла давно минувшихъ дней“... Теперь не то... Порядки измѣнились... Уѣздъ, о которомъ я только что говорилъ, помимо „казенныхъ врачей“, имѣетъ трехъ земскихъ, 7—8 человекъ фельдшеровъ и, кажется, 3 земскихъ больницы. Земство расходуетъ на все это довольно почтенную сумму денегъ и расходъ этотъ называетъ „народнымъ здравіемъ“. Впрочемъ, года 2—3 тому назадъ, я былъ свидѣтелемъ, какъ

крестьянинъ деревни Покровки, Минай Галкинъ, не дождавшись помощи ни со стороны врача, ни со стороны фельдшера, проживавшаго всего въ верстѣ отъ Покровки, самъ, собственными своими руками, оторвалъ себѣ (не отрѣзалъ, а оторвалъ) отъ ноги отмороженные пальцы. Пальцы эти Минай засушилъ, тщательно завернулъ въ тряпку и спряталъ въ сундукъ.

— Зачѣмъ?—спросилъ я его.

— Чтобъ деньги водились, — говорилъ; — при-  
мѣта есть такая!

Однако, въ успокоеніе читатели, я долженъ сообщить, что и Минай Галкинъ, подобно Лукьяну Антипину, поправился живой рукой и никакихъ огней съ нимъ не было. Ходить онъ, правда, прицапывая на правую ногу... Но мало ли хромыхъ-то на свѣтѣ!..

— „И чортъ ихъ знаетъ, чего только надъ собою не дѣлаютъ эти кацапы!“—восклицають обыкновенно, господа доктора, разсуждая про рѣшимость русскаго мужика.

И точно!..



# Дармогѣдка.

(Разсказъ.)

---

Дѣло было лѣтомъ.

Сидѣлъ я какъ-то у раствореннаго окна своего деревенскаго домика, какъ вдругъ слышу шумъ подѣхавшаго экипажа и вслѣдъ затѣмъ чей-то голосъ зычно кричавшій мнѣ: „здравствуйте, сосѣдъ дорогой!“

Я оглянулся и увидѣлъ сосѣда Фронтасьева.

Подлетѣлъ онъ на лихой тройкѣ, въ тарантасѣ, съ ружьемъ, лежавшимъ на колѣняхъ, и съ породистымъ гордономъ, сидѣвшимъ въ ногахъ.

— Слушайте!—кричалъ Фронтасьевъ, не выходя изъ тарантаса;—вѣдь это, наконецъ, свинство...

— Что такое?—удивился я.

— Какъ что? Сколько времени мы съ вами знакомы, а вы ко мнѣ до сихъ поръ даже носа не показали!.. Вѣдь это, чортъ знаетъ, наконецъ...

Я началъ было извиняться, но Фронтасьевъ перебилъ меня,

— Знаю,—кричалъ онъ,—напередъ знаю всѣ

ваши оправдательныя рѣчи: будете говорить, что въ деревню вы прїѣзжаете на короткое время, что каждый день собираетесь... но... всѣ эти штуки мнѣ извѣстны давнымъ-давно и не таковскій я мальчикъ, чтобы вѣрить всей этой ерундѣ!.. Я человѣкъ прямой и прямо въ глаза говорю вамъ, что это свинство! Я золь на васъ, какъ тысяча братьевъ злыми быть не могутъ!

И вдругъ переѣнвивъ тонъ, онъ прибавилъ:

— Я васъ жду.

— Непремѣнно... непременно буду...

Но Фронтасевъ меня не слушалъ и продолжалъ.

— Я, родной мой, человѣкъ холостой, безсмейный, барынь у меня никакихъ, и потому церемоній не полагается! Хотите—въ халатѣ прїѣзжайте, хотите—во фракѣ!.. Для меня безразлично! Мнѣ человѣкъ нуженъ! Понимаете-ли? Человѣкъ, съ которымъ я могъ бы поговорить по душѣ, по-пріятельски, а главное чистосердечно, откровенно и безъ этихъ глупыхъ фанаберій!.. Поговорить, высказаться и затѣмъ распить, конечно, бутылку добраго вина.

— Позвольте, — перебилъ я въ свою очередь, непрерывно бормотавшаго сосѣда; — да вы хоть зайдите по крайней мѣрѣ...

Фронтасевъ словно испугался.

— Ни, ни, ни! — закричалъ онъ, замотавъ головой и отмахиваясь обѣими руками.

— Но вѣдь нельзя же черезъ окно разговаривать...

— Ни, ни, ни!.. — кричалъ Фронтасевъ, съ которымъ, мимоходомъ сказать, я всего только разъ и встрѣтился. — Ни, ни! Не могу, не могу, душа моя... Къ князю на дупелиную „высыпку“ ѣду... къ нему, къ князю, въ имѣніе... далъ честное слово... Я бы и тебѣ предложилъ со мною ѣхать, — прибавилъ онъ, вдругъ съѣхавъ на *ты*, — но я знаю,



что ты съ княземъ незнакомъ, а главное, что ты и самъ не поѣдешь... я вѣдь знаю твой характеръ, продолжалъ онъ грозя мнѣ пальцемъ, — знаю, милѣйшій... Вотъ какъ изучилъ тебя! какъ свои пять пальцевъ, прибавилъ онъ, поднявъ руку и вѣромъ распутивъ пальцы... Однако, я съ тобой заболтался! Не могу, братецъ, слабость! Какъ только дорвусь до задушевнаго человѣка, такъ мгновенно все забываю! Бей меня, рѣжь меня... мнѣ все равно! Какъ дикій конь степей... закусываю моментально удила, глаза закрываю и мчусь! И тогда для меня не существуетъ ни рѣкъ, ни овраговъ, ни горъ... я мчусь! Увижу задушевнаго человѣка — и мнѣ все равно: знакомъ-ли я съ нимъ, вѣтъ-ли... Я прямо къ нему на шею и такъ стисну его въ своихъ объятіяхъ, что кости затрещать!

И вдругъ, обратясь къ кучеру, крикнулъ.

— Проща! Посмотри, который часъ!

И пока Проща вынималъ часы изъ-за пазухи, онъ продолжалъ:

— Такая ужъ натура у меня! Именно — какъ дикій конь степей! Ты меня полюбишь, я знаю! Какъ только раскусишь меня, такъ и полюбишь! И тогда уже мнѣ не придется христарадничать передъ тобой, чтобы заѣхалъ... Самъ пріѣдешь, самъ... Самъ, милѣйшій, самъ...

— Четверь девятого, — раздался голосъ Прощки.

— Что-о?

— Четверь, молъ, девятого...

— А общалъ къ свѣту пріѣхать! — быстро подхватилъ Фронтасьевъ; — ну, ничего! онъ малый хорошій... Я знаю его натуру... немножко лести, немножко французскаго діалекта, а пуще всего скабранный анекдотецъ, и мой князекъ успокоится... Поохотимся, пострѣляемъ... а затѣмъ венгерское вино!.. Ахъ! Какія у него, братецъ, вина! Ахъ, какія!.. Впрочемъ, я, также какъ и ты,

такихъ людей неособенно долюбиваю... Mais que faire... un homme haut placé... при дворѣ бываетъ... près de la cour!.. Ну, довольно тебѣ? на флейтѣ играетъ... Какого-же тебѣ рожна еще!..

— Мнѣ ничего не надо,—проговорилъ я.

— Ну да, я знаю, знаю тебя... И мнѣ вѣдь тоже ничего не надо... Сохрани Богъ!.. Я вѣдь тоже... И онъ подмигнулъ.— Да, да, да!.. Ni foi, ni loi... но... ты меня узнаешь!.. Смотри-же! я жду тебя...

— Хорошо.

— Непремѣнно, слышишь, непременно...

— Хорошо.

— Честное слово?

— Честное слово.

— Ладно.

И, немного поправившись въ тарантасѣ, онъ крикнулъ:

— Пошелъ!

Кучеръ какъ-то метнулся въ сторону, какъ-то повелъ возжами, и тройка рванулась со всѣхъ ногъ.

— Какова пріѣздка-то! — кричалъ мнѣ Фронтасьевъ, — съ мѣста и въ карьеръ!.. И, завернувъ за уголъ сада, исчезъ изъ вида.

Что за человѣкъ былъ мой сосѣдъ Фронтасьевъ, я положительно не зналъ. Я даже не зналъ какъ его зовутъ, ибо, какъ сказалъ уже выше, всего только одинъ разъ встрѣтился съ нимъ. Это было въ камерѣ мирового судьи. Разбиралось дѣло о взысканіи съ Фронтасьева какимъ-то крестьяниномъ ста рублей. Дѣло состояло въ томъ, что Фронтасьевъ продалъ крестьянину лошадь, получилъ деньги, а лошадь оказалась со шпаторомъ и потому къ употребленію негодною. Крестьянинъ просилъ лошадь возвратитъ Фронтасьеву, а уплаченныя деньги взыскать. Дѣло это заинтересовало

меня и я рѣшился прослушать его. Фронтасьевъ божился, клялся, пересыпалъ свою рѣчь французскими фразами, говорилъ, что мужикъ нагло лжетъ, что лошадь была здоровою и въ доказательство своей правоты нагналъ въ камеру, въ качествѣ свидѣтелей, цѣлую толпу конюховъ, вучеровъ и приказчиковъ. Сыпалъ онъ словами, какъ горохомъ! И такой производилъ въ камерѣ шумъ, что судья нѣсколько разъ останавливалъ его, просилъ говорить хладнокровнѣе... но, видя, наконецъ, что слова его не дѣйствуютъ, рѣшился его оштрафовать. Крестьянинъ тоже ссылался на своихъ свидѣтелей, нагналъ тоже всѣхъ своихъ родныхъ и сосѣдей, но такъ какъ родные отъ свидѣтельства были Фронтасьевымъ отведены, а сосѣди въ моментъ привода лошади не видѣли, то дѣло кончилось тѣмъ, что въ искѣ крестьянину отказали. Однако, не смотря на столь благопріятный для Фронтасьева исходъ дѣла, онъ, видимо, былъ въ крайне раздраженномъ состояніи. Лицо его пылало, онъ весь какъ-то дрожалъ и съ какимъ-то презрѣніемъ оглядывалъ не только своего противника, но даже и остальныхъ крестьянъ, сидѣвшихъ въ камерѣ. Только при видѣ меня, или правильнѣе сказать—при видѣ моего костюма, такъ какъ въ то время мы не были еще знакомы, онъ словно обрадовался и, подсѣвъ ко мнѣ, отрекомендовался. Это былъ мужчина лѣтъ тридцати, высокаго роста, стройный, красивый, съ черными усами, такими-же кудрявыми волосами и большущими выразительными глазами. Что-то цыганское и ухарское проглядывало въ его наружности. Стоило только снять съ него щегольской сюртукъ, французскія перчатки, изящно повязанный галстукъ и взамѣнъ этого нарядить его въ однобортный казакинъ съ крючками, въ широкія шаровары, перетянуть блестящимъ ремнемъ, да въ руки

дать гитару, какъ изъ него тотчасъ бы вышелъ самый чистокровный илихой цыганъ. Таковымъ былъ Фронтасевъ по наружности; но каковое имѣло съ у него, вульгарно выражаясь, “нутро” — мнѣ, конечно, оставалось неизвѣстнымъ. Я только зналъ по слухамъ, что по сосѣдству со мной живетъ какой-то Фронтасевъ; что Фронтасевъ этотъ землевладѣлецъ, дворянинъ, холостъ, жительствоимѣетъ въ своемъ селѣ Комаровкѣ, что у него десятинь тысяча земли, конный заводъ, псовая охота, прекрасная усадьба и — больше ничего!

Узнавъ мою фамилію, а слѣдовательно и мое сосѣдство съ нимъ, онъ мгновенно какъ-то преобразился (дѣлалось это съ нимъ вообще быстро, неожиданно) и, забывъ про свое раздраженіе, рассыпался въ любезностяхъ. Онъ объявилъ мнѣ, что весьма радъ и счастливъ познакомится со мною, что въ здѣшней мѣстности положительно нѣтъ хорошихъ, въ смыслѣ душевности, людей; что здѣсь народъ все грубый, неотесанный, помѣшанный на рутинѣ, не трезвый, что вездѣ только водка, да водка и, въ концѣ - концовъ, своей непрерывной болтовней добился-таки того, что судья опять обратился къ нему съ просьбой — не разговаривать и не мѣшать ему заниматься. Фронтасевъ извинился и затѣмъ дальнѣйшее свое повѣствованіе продолжалъ шопотомъ, пригнувшись къ моему уху и даже загородивъ ладонью, со стороны судьи, свои, непрерывно двигавшіяся, губы. Половину шопота этого я, конечно, не разобралъ, но за-то чувствовалъ весьма ясно, какъ толстыя губы его поминутно скользили по моему уху и какъ его дыханіе, словно вѣтеръ, обдавало мое лицо.

Наконецъ, воспользовавшись первымъ перерывомъ засѣданія, я вышелъ изъ камеры, а слѣдомъ за мной и Фронтасевъ. Недалеко отъ крыльца стояла его тройка, та самая, которую вы уже

знаете, и, метнувъ на кучера взглядомъ, Фронтасевъ крикнулъ.

— Подавай!

Тарантасъ моментально подкатилъ къ крыльцу, но не скоро еще дождался своего хозяина, такъ-какъ Фронтасевъ, совсѣмъ уже распростившійся со мною и даже начавшій было спускаться со ступеней, вдругъ круто повернулъ назадъ и, обротясь ко мнѣ, крикнулъ:

— Нѣтъ, каковъ мой-то, противникъ-то мой?.. а?... Каковъ! Меня въ мошенничествѣ обвиняетъ... Правду я говорю?.. Что? Вѣдь продать больную лошадь за здоровую... какъ вы это назовете?.. Я васъ спрашиваю: какъ вы это назовете?.. Вѣдь мошенничествомъ?.. Не такъ-ли?.. Нѣтъ, воля ваша, добавилъ онъ, разведя руками;—вы меня извините, *je vous demande pardon, mais vraiment ces paysans...* Это изъ рукъ вонъ... И что ждетъ насъ въ будущемъ—я право не знаю!.. И, главное, изъ-за чего вся эта исторія? Изъ-за того, что я какъ-то весной этого мужиченку вздулъ! Понимаете-ли—вздулъ!..

— За что?

— За борону. Изволите-ли видѣть: въ числѣ прочихъ нанялъ я на бороновку и этого паршивца, съ условіемъ, чтобы борона имѣла всенепремѣнно 25 желѣзныхъ зубьевъ... Я всѣхъ такъ нанимаю,—иначе нѣтъ смысла въ бороновкѣ! Хорошо-съ! Нанялся, взялъ деньги впередъ, а явился съ бороной, у которой всего 15 зубьевъ! Ну, я конечно не выдержалъ... и въ зубы! Вѣдь вотъ изъ-за чего вся эта исторія... вотъ... вотъ!..

И вдругъ перемѣнивъ тонъ прибавилъ.

— Однако, къ чорту всѣ эти дразги... До свиданья... Очень радъ... И такъ я надѣюсь, что мы будемъ знакомы... пожалуйста, пожалуйста... Во всякое время дна и ночи... всегда, всегда буду радъ...

— Непремѣнно... пробормоталъ я.

— Ну, вотъ и отлично! Надѣюсь, что мы сойдемся... Я такъ радъ... Ну, до свиданья... Смотрите-же, я жду васъ... Я увѣренъ, что я вамъ понравлюсь... непременно... ручаюсь! Eh bien! au revoir!... Лапу вашу!..

Я подалъ ему руку.

— Au revoir, — говорилъ онъ, стиснувъ ее такъ, что даже кости захрустѣли; — au revoir, à bientôt; je vous attends, absolument...

И, вскочивъ въ тарантасъ, онъ умчался...

Такъ совершилось мое знакомство съ Фронтасьевымъ, а теперь буду продолжать свой рассказъ.

Два дня спустя послѣ описаннаго мною разговора съ Фронтасьевымъ черезъ окно, я поѣхалъ въ Комаровку, чтобы „по душѣ и безъ фанаберій“ поговорить съ моимъ новымъ другомъ. Это было весьма красивое село, расположенное по берегу довольно водной и извилистой рѣчки. Благодаря этому низменному расположенію, все село буквально тонуло въ зелени раскидистыхъ ветель. Ветлами этими были обсажены крестьянскіе огороды, гумна, переулки и весь отлогій топкій берегъ рѣчки. Миновавъ довольно широкую улицу, наполненную одѣтымъ по праздничному народомъ, и переѣхавъ благополучно черезъ трепещущій мостикъ, перекинутый черезъ рѣчку, я выѣхалъ на выгонъ и глазамъ моимъ представился темный липовый садъ, окопанный канавой, а затѣмъ и самая усадьба Фронтасьева. Первое, что бросилось мнѣ въ глаза—это небольшой домикъ съ балкончиками и террасками, весь заросшій лозами дикаго винограда и на половину уходившій въ садъ. Окутанный съ одной стороны густою тѣнью сада, а съ другой обильно облитый жаркимъ свѣтомъ, онъ какъ-то особенно эффектно выгляды-

валъ среди зеленой муравы, покрывавшей собою весь обширный дворъ. Прямо передъ домомъ бѣлъ каменный длинный корпусъ коннаго двора, съ вырѣзаннымъ изъ желѣза конемъ на фронтонѣ, а по бокамъ этого корпуса тянулись всевозможныя службы, какъ-то: два-три флигеля, каретный сарай, погреба, ледники и проч. Все это щеголяло порядкомъ, чистотой; все было какъ-то вычищено, выхолено, словно готовилось на выставку!.. Надъ дворомъ, въ раскаленномъ воздухѣ, кружилась стая голубей, то спускаясь почти до земли, то высоко поднимаясь и шумно хлопая своими серебристыми крыльями. На травѣ лежало нѣсколько борзыхъ поджарыхъ собакъ... Вытянувшись во всю длину и раскинувъ хвостъ и ноги, онѣ даже не пожелали обратить на меня своего вниманія и, разомлѣвъ отъ жара, только поглядѣли на меня полуоткрытыми сонными глазами... Я подѣхалъ къ крыльцу и вошелъ въ домъ. Въ передней, на конникѣ, спалъ человекъ. Заслышавъ мои шаги, онъ быстро вскочилъ на ноги и принялся протирать заспанные глаза. Я спросилъ: „дома-ли, баринъ?“ и узнавъ, что „баринъ пошли купаться, но сію минуту вернутся“, — прошелъ въ залу, а потомъ на балконъ. Балконъ этотъ выходилъ въ садъ, и я въ ту же секунду почувствовалъ охватившую меня пріятную прохладу. Передъ балкономъ тянулася прямая и широкая аллея, упиравшаяся противоположнымъ концомъ своимъ въ серебрившійся вдали прудъ. Огромныя старыя липы тѣснились по сторонамъ этой аллеи и заливали ее густою тѣнью. Только изрѣдка, кой-гдѣ прорывался лучъ солнца и яркой полосой падалъ на аллею... Было даже какъ-то сыро и пахло лѣсомъ. Въ углахъ, по оба конца балкона, возвышались кусты сирени и топырились далеко выше рѣшетки. Кусты эти освѣщались солнцемъ и бросали на полъ трепе-

щущее кружево тѣни... Съ одного листка я снялъ шпанскую муху и бросилъ ее на землю... Она упала на спинку, поворошилась, посучила лапками, но скоро оправилась и треща крылышками опять взлетѣла на кустъ... Передъ балкономъ пестрѣли цвѣточныя клумбы, густо засаженныя георгинами, мирабилисами, левкоями и окаймленныя сплошнымъ бордюромъ изъ нѣжно-голубыхъ лобелій... Было такъ хорошо, что я съ особеннымъ удовольствіемъ опустился въ кресло, закурилъ папиросу и принялся ждать своего „друга“.

Ждать пришлось недолго. Не успѣлъ я докурить папиросу, какъ увидѣлъ его въ концѣ аллеи. На немъ былъ бѣлый лѣтній костюмъ, соломенная съ большими полями шляпа и небрежно повязанный шелковый галстукъ. Увидѣвъ меня, онъ остановился, развелъ руками, какъ бы приглашая меня въ свои объятія, и, постоявъ немного, быстро направился къ балкону.

— Мерсі, мерсі! кричалъ онъ издали и на ходу; — наконецъ-то, наконецъ-то!

— Здравствуйте! проговорилъ я, когда онъ началъ всходить на ступени.

Фронтасъевъ мгновенно остановился.

— Что-о?—крикнулъ онъ, вытравивъ глаза;—повтори, повтори, какъ ты сказалъ.

Я повторилъ:—здравствуйте!

— Да ты что же это? Оскорблять меня пріѣхалъ?.. Оскорблять?.. Я тебя спрашиваю?

— Я васъ не понимаю...

— Скажите пожалуйста!.. Онъ меня не понимаетъ!.. Онъ меня не понимаетъ!—кричалъ Фронтасъевъ, всплеснувъ руками,—что же ты, ребенокъ что-ли!.. Скажите на милость! Я его полюбилъ искренно, сердечно... говорю ему *ты*, а онъ мнѣ *вы*!.. Да развѣ это не оскорбленіе!—а? Я тебя спрашиваю?



Я извинился и поправилъ ошибку.

— Вотъ такъ-то лучше, братъ!..

И онъ меня заключилъ въ свои объятія.

— Ну, здорово! здорово!— говорилъ онъ, продолжая меня обнимать и въ видѣ особой нѣжности даже похлопалъ меня по спинѣ ладонью:— здорово, пріятель!.. Очень радъ тебя видѣть и пожалуйста будь какъ дома... Садись-ка! Садись-ка, дружище... Ну что, какъ тебѣ нравится мое гнѣздышко, домикъ мой?.. А, каковъ садина-то, а? аллея-то какова?..

— Прелесть...

— Да, братецъ!.. все крѣпостное право!.. Теперь уже такихъ усадебъ не воздвигаютъ!.. Жизнь и дворянство измѣнилось... Теперь ужъ все хутора какіе-то пошли... Выстроить себѣ дворянинѣ избенку, навалеть на нее соломы, обложить ее кругомъ навозомъ, чтобы зимой не „стыдно“ жить было, не холодно то-есть... и все тутъ! Вотъ оно, братецъ, до чего дошло!.. Про такіе-то хутора мы даже не слыхивали; въ нихъ однодворцы прозябали, а теперь видимъ на каждомъ шагу... Недавно какъ-то ѣду по степи, смотрю — хуторъ... Стой! чей такой? Князя Берендѣева... Фу, ты, дьяволъ васъ побирай!.. Да! Скажи, ты обѣдалъ? пожалуйста *sans cérémonie*...

— Нѣтъ, еще не обѣдалъ.

— И прекрасно! Значить, вмѣстѣ будемъ... А такъ какъ обѣдаю я въ пять часовъ, то мы пока закусимъ... Неправда-ли, хорошо вѣдь это будетъ?

— Недурно...

— Ну, вотъ мы сейчасъ и распорядимся... Ты посиди здѣсь, покури, а я пойду приказать насчетъ завтрака... Ахъ, какъ я радъ, что тебя вижу,—спасибо, большущее спасибо...

И, притянувъ меня къ себѣ, онъ крѣпко поцѣловалъ меня въ губы.

— Спасибо, спасибо!

Затѣмъ онъ убѣжалъ съ балкона.

Полчаса спустя, на тотъ же балконъ намъ былъ поданъ холодный завтракъ, состоявшій изъ куска швейцарскаго сыру, масла, ветчины, нарѣзанной тонкими ломтями, яицъ въ смятку и холодной телятины. Мы принялись за ѣду! Я не знаю, всегда ли Фронтасевъ обладалъ хорошимъ аппетитомъ, или же аппетитъ этотъ явился у него вслѣдствіе купанія, только фль онъ такъ усердно, такъ вкусно и смаковито, что глядя на него и я разошелся. Завтракъ мы запили хорошимъ виномъ и, закупивъ сигары, принялись за бесѣду.

Говорилъ, конечно, Фронтасевъ, а мнѣ только изрѣдка, словно изъ милости, дозволялось вставить два-три слова. Говорилъ онъ такъ много, что я даже перезабылъ половину; помню только, что онъ довольно обстоятельно разсказалъ мнѣ все свое житье-бытье; про свое дѣтство, отрочество, юношество, про какую-то исторію въ университетѣ, за которую его „раба Божія“ выслали вонъ изъ Петербурга и „водворили“ въ селѣ Комаровѣ; какъ вся эта исторія кончилась ничѣмъ, ибо ничего предосудительнаго въ ней не было; какъ служилъ онъ мировымъ посредникомъ и въ концѣ-концовъ кончилъ тѣмъ, что „откровенно сказать, въ душѣ онъ былъ всегда противникомъ эмансипаціи, хотя и кричалъ въ пользу ея, и былъ противъ потому именно, что ничего путнаго отъ нея не предвидѣлъ и не предвидитъ“. Разговоръ этотъ видимо затронулъ его за живое, ибо рѣчь его полилась неудержимымъ потокомъ!.. Онъ закрылъ свои глаза, покраснѣлся, разволновался, и, глядя на него, я убѣдился, что, дѣйствительно, въ эту минуту онъ походилъ на того „дикаго коня степей“, къ которому недавно самъ приравнивалъ себя.

— Я, — кричалъ онъ, — я въ душѣ крѣпостникъ!.. но я тебя спрашиваю: возможно-ли въ то время было высказывать это? Скажу больше! только чтобы это было *entre - vous*, между нами... Мы всѣ были крѣпостниками! (Послѣднюю фразу онъ произнесъ шопотомъ, пригнувшись къ моему уху и искоса поглядывая: нѣтъ-ли по близости человѣка). Всѣ и всѣ въ то же время либеральничали!.. Но, понимаешь-ли, говорить по душѣ... да развѣ это было возможно? Сохрани тебя Господи и помилуй!.. Даже самое благородство наше не позволяло намъ откровенничать! *Noblesse oblige*... ну чего же? Зато, когда я сдѣлался посредникомъ... тутъ ужъ я своихъ политическихъ убѣжденій не скрывалъ и, *franchement*, немножко вспрыскивалъ... на первыхъ порахъ, знаешь, пока народъ не опомнился... А знаешь-ли? спросилъ онъ улыбаясь и какъ-то особенно лукаво прищуривъ глаза; — этимъ самымъ посредничествомъ правительство насъ, дворянъ, сильно подкупило... Понимаешь-ли?.. всѣ бросились... кто въ посредники, кто въ кандидаты и ужъ, *bon-gré — mal-gré*, приходилось потакать... А бросились потому, что поступивши въ посредники и возложивъ на себя знакъ... (о! знакъ этотъ въ то время имѣлъ большое значеніе, что-то такое никогда еще невиданное!) невольно какъ-то чувствовалось, что власть не совсѣмъ еще утрачена... Мужики безъ шапокъ, старшины и старосты въ медаляхъ, писаря на вытяжку... Что ты ни говори, а все-таки невольно сознавалось, что ты еще баринъ, что несовсѣмъ еще погибъ... что ты еще висишь, цѣпляешься за что-то...

И проговоривъ это, онъ какъ-то началъ цѣпляться за воздухъ и, какъ-то скорчившись, изобразилъ изъ себя человѣка за что-то прицѣпившагося.

— А ты долго посредничалъ? — спросилъ я, воспользовавшись этой пантомимой.

— Года два... А знаешь-ли почему я вышелъ?  
— Не знаю.  
— Это потѣха! C'est quelque chose de très curieux! Прелюбопытно... Губернаторъ упросилъ...

— Какъ-такъ?

— Очень просто! Я уже говорилъ тебѣ, что служа я не стѣснялся... Неповиновеніе преслѣдовалъ строго, взыскателенъ я былъ до педантизма... Старшинъ, старость держалъ въ ежевыхъ рукавицахъ... Это дошло до губернатора, вызвалъ онъ меня... „Mon cher, говоритъ, у меня до васъ просьба есть, надѣюсь, что вы не откажете мнѣ!“ — „Ваше превосходительство, говорю, все что могу... съ удовольствіемъ!“ — „Выдьте, говоритъ, въ отставку, такъ нельзя, право, нельзя... теперь, говоритъ, на насъ вся Европа смотритъ... выходите пожалуйста, я, говоритъ, васъ за это къ ордену представлю“... И что же? вѣдь представилъ, получилъ... О! да вѣдь это умница была... свѣтлая голова—даромъ что маленькаго роста... Ну, конечно, получивъ орденъ, я тотчасъ-же исполнилъ свое слово и вышелъ въ отставку...

Но вдругъ, что-то вспомнивъ, онъ вскочилъ на ноги, захохоталъ и положивъ мнѣ на плечо обѣ свои руки, спросилъ слегка потрясая меня.

— А знаешь-ли чѣмъ я теперь занимаюсь?

— Чѣмъ?

— Станового терзаю.

— Какъ такъ?

— Кузнечную артель завелъ.

— Чѣмъ-же тутъ терзаться-то?

— Какъ чѣмъ? Артель-то!?

— Да вѣдь она кузнечнымъ дѣломъ занимается и только?

— И кузнечнымъ-то даже не занимается, потому что спились всѣ! Ну а станового все-таки терзаетъ...

И Фронтасьевъ, бросившись на кресло, залился веселымъ хохотомъ.

Въ это самое время съ боку балкона послышался какой-то шорохъ и чьи-то торопливые легкіе шаги. Я оглянулся и увидѣлъ молоденькую дѣвушку, на цыпочкахъ пробиравшуюся по направлению къ большой аллеѣ. На ней было свѣтлое ситцевое платье, стройно обрисовывавшее ея граціозныя формы, и пунцовый шелковый платокъ, небрежно накинутый на голову. Шорохъ платья не ускользнулъ и отъ слуха Фронтасьева. Онъ бросился къ рѣшеткѣ и закричалъ.

— Куда бѣжишь? Куда, куда?..

Дѣвушка остановилась и, увидѣвъ меня, переконфузилась.

— Куда? куда?

— Купаться, Валеріанъ Николаичъ!

— Поди сюда!

Дѣвушка подошла къ ступенямъ балкона.

— Нѣтъ, сюда, сюда! — продолжалъ Фронтасьевъ, указывая на балконъ.

Дѣвушка вбѣжала на балконъ и остановилась, держа за оба конца накинутый на голову платокъ.

— Рекомендую, — говорилъ Фронтасьевъ, — Мариша! иначе Марина Петровна. Какъ на твой вкусъ? — спросилъ онъ, взявъ дѣвушку за подбородокъ и приподнимая опущенное было лицо.

Марина была поразительно хороша.

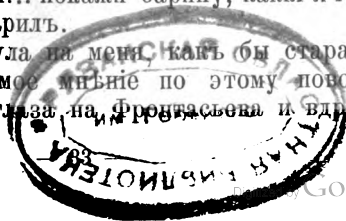
— Какова?

— Ахъ, оставьте пожалуйста, Валеріанъ Николаевичъ; я купаться хочу...

И она вырвалась изъ рукъ Фронтасьева.

— Стой! погоди!.. покажи барину, какія я тебѣ вчера серьги подарилъ.

Мариша взглянула на меня, какъ бы стараясь узнать по лицу мое мнѣніе по этому поводу, затѣмъ перевела глаза на Фронтасьева и вдругъ



убѣжала въ балконную дверь. Немного погодя она вернулась и подала мнѣ небольшой шагреновый футляръ. Я открылъ его и увидѣлъ двѣ серьги, въ которыхъ горѣло по одному крупному бриллианту.

— Двѣсти рублей заплатилъ!—кричалъ Фронтасьевъ.

— Страсть какъ дорого!—прошептала Марина.

— Ну, а теперь ступай купаться, перебилъ ее Фронтасьевъ и ласково потрепалъ дѣвушку по плечу.

Мариша супула футляръ въ карманъ, сбѣжала со ступеньки и, словно вырвавшаяся изъ клѣтки птичка, помчалась по темной аллеѣ. Фронтасьевъ глазъ не спускалъ съ нея, и какая-то счастливая улыбка не сходила съ его красиваго цыганскаго лица. Только тогда, когда дѣвушка скрылась, онъ подошелъ ко мнѣ и проговорилъ:

— А ужъ ежели-бы ты зналъ только, какъ эту самую Маришу возненавидѣли наши барышни, такъ ты бы умеръ со смѣха.

— Еще бы! Такого жениха отбила!—замѣтилъ я.

— А знаешь почему это случилось?—перебилъ онъ меня и, сдвинувъ брови, сдѣлалъ серьезный видъ;—почему я простую дѣвушку, крестьянку, предпочелъ имъ, этимъ манерницамъ? знаешь?

— Влюбился, вѣроятно, отвѣтилъ я;—да и не мудрено влюбиться...

— Нѣтъ-съ, не потому-съ...

— Почему же?

— А потому, крикнулъ Фронтасьевъ, ударяя себя въ грудь,—что я демократъ!

Такого заключенія, признаюсь, я даже не ожидалъ!...

Не успѣли мы распить послѣ обѣда бутылку Монроле и докурить свои сигары, какъ подъ самыми окнами раздался стукъ подѣхавшаго эки-

пажа, безалаберный звонъ двухъ колокольчиковъ и оглушительное громыханіе нѣсколькихъ бубенцовъ и глухарей. Мы подошли къ окну и увидѣли остановившійся у крыльца тарантасъ, а въ тарантасѣ тучную фигуру станowego. Повалившись на правый бокъ, онъ силился поднять лѣвую ногу, чтобы перенести ее на подножку тарантаса, но убѣдившись, что усилія его напрасны, крикнулъ ямщика. Ямщикъ соскочилъ съ козелъ и, ухвативъ станowego за обѣ протянутыя къ нему руки, вытащилъ изъ тарантаса. Немного погодя въ передней послышалось сопѣніе, весьма походившее на шумъ, издаваемый кузнечными мѣхами; Фронтасевъ подскочилъ къ двери, рѣсплахнулъ обѣ половинки и, указывая жестомъ руки на залу, проговорилъ любезно:

— Прошу покорнѣйше, пожалуйста!.. Кому или чему обязанъ я вашимъ посѣщеніемъ?..

Не желая мѣшать ихъ бесѣдѣ, я взялъ шляпу и отправился въ садъ.

На одной изъ боковыхъ дорожекъ, подъ тѣнью старинной липы, шатромъ разбросавшей свои толстые сучья, я увидѣлъ Маришу. Она сидѣла на скамьѣ и что-то вышивала. Сидѣла она какъ-то бокомъ, положивъ одну ногу на другую, и поминутно смотрѣла то на лежавшій рядомъ съ нею узоръ, то на свое вышиваніе. Она такъ была углублена въ свою работу, что даже и не замѣтила моего приближенія. Тѣнь отъ листьевъ прозрачными пятнами падала на ея платье, на ея головку, дрожала, колебалась и словно осыпала ее роємъ мотыльковъ. Выбившаяся изъ подъ шпилекъ прядь волосъ падала роскошнымъ локономъ на съѣхавшій съ ея головы платочекъ... Я просто заглядѣлся на нее...

Наконецъ, я рѣшился прервать молчаніе и, подойдя къ ней, спросилъ, могу-ли я сѣсть съ

нею рядомъ. Она вздрогнула, испуганно вскочила и, увидѣвъ меня, успокоилась.

— Ахъ, какъ вы испугали меня,—вскрикнула она, приложивъ руку къ сердцу;—вотъ испугалась-то!... Даже сердце замерло...

— Ну, простите и позвольте посидѣть съ вами...

— За что-же прощать!—проговорила она переконфузившись;—что вы, Господь съ вами... напротивъ, я очень рада! А гдѣ-же Валеріанъ Николаевичъ?

— Онъ тамъ, дома! Къ нему кажется становой пріѣхалъ...

— Толстый?—спросила Мариша;—красный?

— Да, и толстый, и красный.

— Значить, онъ!... Охъ, ужъ мнѣ этотъ становой!—прибавила она, покачавъ головой.

— А что, не нравится?

— Не то, чтобы не нравился, а только послѣ него Валеріанъ Николаичъ разстроены всегда бываютъ, даже больны дѣлаются!...

— А вы, должно быть, очень любите его...

— Конечно, люблю,—отвѣтила она, да такъ искренно, такъ просто, что я даже залюбовался этимъ отвѣтомъ;—ежели-бъ не любила, и не пошла-бы къ нимъ.

— За что-же вы полюбили его... за красоту?

— Сначала за красоту, а потомъ, когда узнала, за добрую душу...

— А развѣ онъ добрый?—спросилъ я недовѣрчиво.

— Очень, очень!

И немного подумавъ, она прибавила:

— Многіе полагаютъ, что они злые... только это напрасно... я и сама прежде такъ думала... ну, а теперь разувѣрилась... Если хотите, я даже расскажу вамъ, почему разувѣрилась...

— Расскажите...



— Я всё это рассказываю, всё, потому что хотѣлось бы, чтобы никто не говорилъ про Валеріана Николаича, что они злые... Вотъ это какъ было. Увидѣла я разъ, что Валеріанъ Николаичъ мужика бьютъ, и такъ-то бьютъ, что всего окрovenили даже. Я испугалась, начала плакать, думать и додумалась до того, что порѣшила уѣхать отъ нихъ... „Съ такимъ злымъ чelовѣкомъ, думала я, жить не приходится“. На другой-же день я уложила свои вещи и пошла прощаться. Валеріанъ Николаичъ, конечно, разсердились... начали допрашивать меня: почему и какъ? Я долго молчала, говорить не хотѣла, а потомъ все какъ-то съ языка и сорвалось.. Они даже вспыхнули всѣ! — „Какъ! закричали они, такъ ты думаешь, что я злой, что я тиранъ, что я извергъ!... Такъ вотъ знай-же какой я злой-то!“ Выбѣжали въ переднюю и приказали сейчасъ-же позвать къ себѣ того самого мужика, котораго избили-то... Мужичекъ пришелъ, Валеріанъ Николаичъ позвали его къ себѣ въ кабинетъ, позвали и меня и при мнѣ обняли мужичка, расцѣловали его и прощенья просили. А потомъ на другой день со мной двадцать рублей послали ему... Затѣмъ еще случай былъ... Великимъ постомъ это было, —заговорила она, немного помолчавъ и вмѣстѣ съ тѣмъ замѣтно воодушевляясь;—у мужичка у одного пожаръ случился... все какъ есть сгорѣло!... изба, дворъ, скотина... Ну, вотъ и пришелъ этотъ мужичекъ съ женой, съ дѣтьми малыми и упалъ барину въ ноги... Глядя на него, Валеріанъ Николаевичъ расплакались даже и дали мужичку триста рублей!... Послѣ этого взяли, обняли меня и спрашиваютъ:—„Ну, что, злой я, Мариша?“ А ужъ это по рублю, по три,—поспѣшила она прибавить, всплеснувъ руками,—чуть не каждый день раздають, даже въ

книжку не записываютъ! Отдадутъ — хорошо, а не отдадутъ — не надо! Всякому готовы помочь!... Недавно у нихъ дѣло было у судьи насчетъ лошади, — заговорила она, немного помолчавъ; — сказали, будто они больную лошадь продали, такъ это совершенно неправда. Лошадь я сама знала, сама ѣздила на ней сколько разъ, видѣла какъ покупалъ ее мужикъ, какъ повелъ ее, и лошадь была здорова... Но я все-таки сама себѣ не повѣрила, — думаю, толку въ лошадяхъ я не знаю, спрошу-ка про нее у людей... И кого я ни спрашивала, всѣ божилиеъ даже, что лошадь ничуть не хворала и что ее мужикъ самъ испортилъ... А потомъ узнала я, что все это дѣло по злобѣ затѣяно за то, что Валеріанъ Николаичъ того самаго мужика побили какъ-то!... Я ужъ и говорила Валеріану Николаевичу — „какъ-же вамъ не стыдно, говорю, драться-то!“ — „Онъ, говоритъ, мошенникъ, обманулъ меня, изъ терпѣнія вывелъ! — „А вы бы, говорю, чѣмъ бить-то — усовѣстили-бы его, растолковали-бы ему, что мошенничать не хорошо... Можетъ-быть онъ и понялъ-бы!“ Только все-таки я опять скажу, что человѣкъ они не злой, а напротивъ добрый... а такъ привыкли...

— А съ вами, — спросилъ я, — онъ хорошо обращается?

Марина даже встрепенулась вся.

— Со мной! — чуть не вскрикнула она; — со мной они такъ ласковы, что я даже не знаю какъ и Богу-то молиться за нихъ!

— Должно-быть онъ очень васъ любить?

— Не знаю, — прошептала Марisha. — Трудно узнать, что въ человѣкѣ происходитъ.

— Какой человѣкъ, — замѣтилъ я.

— То есть какъ-же это?

— Иного, говорю, трудно узнать, а другой весь наружи... душа нараспашку... Къ такимъ-

то именно и принадлежит Валеріанъ Николаевичъ...

— И что-же вы узнали?—спросила она, вся насторожившись.

— Узналъ, что онъ сильно любитъ васъ...

— Они развѣ говорили вамъ?—спросила она и даже вспыхнула отъ радости.

— Не говорилъ, но это видно...

— Почему?

— По всему!... по глазамъ, по лицу...

— А мнѣ, кажется, что они не любятъ меня... А такъ нравлюсь я имъ, вотъ и все...— И, немного помолчавъ, какъ-бы припомнивъ что-то, она проговорила.— Недавно, какъ-то, сплели они изъ цвѣтовъ вѣночекъ, надѣли мнѣ на голову, косу распустить приказали, а сами отошли немного и смѣются... Вотъ и серьги брилліантовыя купили все для того-же!... Прикажутъ надѣть ихъ, декольте устроятъ... и любятъ на серъгито... Не знаю, любовь-ли это...—И потомъ вдругъ, какъ-бы желая замаять этотъ разговоръ, она быстро повернулась ко мнѣ и спросила:

— Послушайте! Зачѣмъ это вы мнѣ *ты* не говорите? Мнѣ всѣ господа *ты* говорятъ...

— Съ удовольствіемъ,—отвѣтилъ я; — только съ однимъ условіемъ...

— Съ какимъ?

— Чтобы, въ свою очередь, и вы мнѣ *ты* говорили...

— Ахъ, что вы, какъ это возможно!... Что вы, Господь съ вами...

— А ежели невозможно для васъ, то невозможно и для меня...

— Нѣтъ, я потому, что всѣ господа... Я какъ-то не привыкла, чтобы мнѣ *вы* говорили, даже совѣстно слышать... стыдно, право...

— Ну, а мнѣ стыдно *ты* говорить...

— Одинъ баринъ даже сапоги заставилъ меня стаскивать съ себя... Только Валеріанъ Николаевичъ очень на нихъ за это прогнѣвались... Не повѣрите!... изъ дома даже вытолкали. „Ты, говорить, не дворянинъ, а хуже всякаго хама!“ Ужъ такъ-то испугалась я тогда, такъ-то испугалась!... Стою, а у самой ноги такъ и подкашиваются... вотъ-вотъ упаду, да на полъ грохнусь!... Сердце замерло, голова закружилась, и похолодѣла вся... да спасибо, Валеріанъ Николаевичъ подбѣжали... схватили меня на руки, отнесли въ мою комнатку и уложили въ постель!

И, немного помолчавъ, она проговорила задумчиво, и въ то же время устремивъ въ одну какую-то точку свои чудные, добрые глаза.

— Да! Они очень со мною ласковы... А ужъ чѣмъ я-то заплачу имъ за эти ласки, я и сама не знаю, и придумать не могу! Чувствую, что дармоѣдка я какая-то въ домѣ: что даромъ хлѣбъ ѣмъ, а сдѣлать для нихъ все-таки ничего не могу. Другая экономкой-бы могла быть, а мнѣ и этого нельзя... потому, что ничего не знаю: ни варенья варить, ни посолить чего-нибудь, ни за хозяйствомъ присмотрѣть!... Ничего не знаю!— прибавила она, разведя руками...—ничего!.. И вотъ какъ только придетъ мнѣ въ голову, что я ничего сдѣлать для нихъ не могу, что никакой-то имъ пользы не приношу и что даромъ только хлѣбъ ихній ѣмъ, такъ даже тоска вдругъ нападетъ!.. И въ самомъ дѣлѣ? Ну, что же я сдѣлала для нихъ? Вышила имъ какъ-то двѣ рубашки такимъ-же вотъ шитьемъ, какимъ вотъ эту „мордовку“ себѣ шью; туфли какъ-то подарила; закладку для книгъ съ надписью: *на память* (да наврала еще, — вмѣсто: *на память-то, на память* вышила) и все тутъ!

— А вы даже и грамотѣ знаете?

— Они-же вѣдь затѣяли!.. прежде не знала, а теперь и читать, и писать могу...

— Кто-же васъ учитъ?

— Сами Валерьянъ Николаичъ.

И, помолчавъ немного, она восторженно прибавила:

— Вѣдь вотъ они сколько мнѣ добра-то дѣлаютъ! Подумайте-ка! Сами занимаются со мною! Хотѣла было учителя себѣ нанять, на свои деньги, а потомъ раздумала...

— Почему?

— Да какія-же у меня свои деньги-то! — чуть не съ воплемъ проговорила она, — вѣдь ихнія онѣ!.. Откуда у меня свои-то будутъ! Все, все ихнее, до послѣдней булавки, до послѣдняго крючка... тесемочка какая-нибудь, пуговка, — прибавила она, указывая на перламутровую пуговку, пришитую къ рукаву, — и та даже на ихнія деньги!...

И Марина немощно опустила голову, и складка раздумья прорѣзала ея красивый, почти дѣтскій лобъ.

Мнѣ даже тяжело стало...

А солнце между тѣмъ успѣло закатиться за горизонтъ. Яркая полоска зари дрожала, тлѣла и пурпуромъ мелькала въ густой и сочной листвѣ. Зажглась на небѣ яркая звѣзда и словно купалась въ своихъ собственныхъ мягкихъ лучахъ. Небо становилось все синѣе и синѣе и будто поднималось все выше и выше, желая дать какъ можно больше простора утомленной отъ зноя землѣ... И точно! какъ-будто просторнѣе стало!.. И воздуха больше, и дышалось легче! Гдѣ-то чуть слышно сочилась вода и тонкимъ колокольчикомъ звенѣла въ опьяняющемъ ароматномъ воздухѣ. Съ улицы доносился говоръ отрывчатый, короткій... А кругомъ величаво царила тишина... Молчали и мы... Мариша сокрушалась своимъ горемъ, а я сокрушался за нее!...

Не знаю, долго-ли продолжалось-бы это молчаніе (пѣтъ, не молчаніе, а раздумье скорѣ!), если-бы не спугнулъ насъ громъ бубенцовъ и грохотъ экипажа, промчавшагося мимо сада. Мариша очнулась первая. Она быстро встала, собрала свою работу и, словно проснувшись, провела рукою по лицу.

— Должно быть уѣхалъ!—проговорила она.

И мы молча пошли по направленію къ дому.

Фронтасьева мы застали въ залѣ. Онъ былъ въ крайне возбужденномъ состояніи: блѣдность покрывала его лицо, онъ весь словно дрожалъ, между тѣмъ какъ глаза быстро перебѣгали съ одного предмета на другой. Онъ даже не замѣтилъ нашего прихода и продолжалъ ходить изъ угла въ уголъ.

Мариша испугалась глядя на него.

— Что съ вами, Валеріанъ Николаевичъ?—спросила она робко.—Успокойтесь, Бога ради...

Фронтасьевъ остановился, глянуть на насъ и, не отвѣтивъ на вопросъ, снова зашагалъ по комнатѣ.

— Вотъ такъ-то и намедни было...—шепнула она мнѣ.

— Что съ тобой?—спросилъ я въ свою очередь.

— А то,—проговорилъ Фронтасьевъ, моментально остановившись,—что я взбѣшенъ...

— Кѣмъ это?

— Да вотъ этимъ самымъ толстобрюхимъ-то!.. Представь! такъ серьезно поставилъ дѣло, что даже приказалъ; понимаешь-ли?—приказалъ разогнать артель... А? приказалъ!.. и кому-же? Мнѣ—Фронтасьеву... а?..

И онъ опять принялся ходить по комнатѣ.

Водворилось молчаніе, только шаги Фронтасьева нарушали его. Мариша молча присѣла на кончикъ стула и чуть не со слезами на глазахъ

смотрѣла на ходившаго. Наконецъ, она рѣшилась заговорить.

— Только себя беспокоите...—послышался ея нѣжный, полный любви голосъ.—Вѣдь сами знаете, какъ вамъ это вредно! И есть изъ-за чего беспокоиться. Я-бы на вашемъ мѣстѣ давно-бы всѣхъ этихъ кузнецовъ разогнала. Развѣ это артель? Какая это артель? Точно—артель, только не кузнецовъ, не честныхъ работниковъ, а лѣнтяевъ, да пропойцевъ какихъ-то! Намедни перепились и стряпуху избили, весь сарафанъ на ней изорвали, всю косу выдрали, глазъ подбили... Они и дѣлать-то ничего не умѣютъ и не хотятъ ничего дѣлать! Вы ихъ поите, кормите... а они вамъ замѣсто спасибо-то лошадь испортили! Стали ковать ее, да съ пьяныхъ то глазъ и заковали... Сердечная, до сихъ поръ на ногу-то ступить не можетъ... У тарантаса ресору починить взялись, а вышло, что не съумѣли, только хуже сдѣлали. Чего-же держать-то ихъ, деньги то на нихъ тратить... Ужъ ежели вамъ своихъ денегъ не жалко, такъ лучше-же честнымъ людямъ помочь... Училище-бы выстроили; а то избенку-бы какую-нибудь для старушекъ престарѣлыхъ... Вѣдь у насъ сколько такихъ-то!.. Намедни къ старой просвирнѣ зашла какъ-то, такъ жалко смотрѣть на нее... Старушка древняя-раздревняя... Ни обѣда себѣ состряпать не можетъ, ни печку истопить... Пришла я, а она сидитъ себѣ въ уголочкѣ, да какую-то старую сухую корку сосетъ.—„Что, моль, бабушка, какъ живется?“ А она съ голоду-то даже слова вымолвить не могла! Губами то ворочаетъ, а голосу нѣтъ. Извѣстно, какое ея житье-то... Коли вспомнить кто объ ней—ну, и сыта она, и печка у нея натоплена, а не вспомнить—такъ и съ голоду помретъ. Опять и то сказать: у

всякаго свое дѣло есть... Иной разъ и радъ-бы другой сбѣгать къ ней, да накормить ее, а глядишь—свое дѣло за руки держить... Какъ бы хорошо-то было вотъ этакимъ-то уголокъ построить... А то кузнецы... Разбойники они— больше ничего!

Фронтасевъ слушалъ, слушалъ эту пѣвучую и звонкую рѣчь, полную самыхъ обыденныхъ истинъ, выхваченныхъ прямо изъ жизни, и вдругъ расхохотался.

— А что,— вскрикнулъ онъ, обращаясь ко мнѣ, — вѣдь она правду говоритъ!...

— Извѣстно,— правду! вскрикнула въ свою очередь Мариша и вся словно встрепенулась, словно ожила какъ-то... Куда и печаль дѣвалась!

Послѣ описаннаго, я вскорѣ уѣхалъ изъ деревни и года полтора не видѣлъ Фронтасева. Мнѣ опять довелось встрѣтиться съ нимъ, но уже не въ деревнѣ, а въ городѣ.

Въ дворянскомъ собраніи былъ балъ въ пользу бѣдныхъ, устраивалъ его, если не измѣняетъ мнѣ память, „дамскій комитетъ“. Говорилось про этотъ балъ весьма много, а писалось еще больше. Дамы готовились къ нему съ нервнымъ нетерпѣніемъ, съ нервной дрожью и допекали мужей костюмами. Семейныхъ сценъ мнѣ видѣть не привелось, да я бы даже не позволилъ себѣ и коснуться ихъ, но, ради характеристики, не могу умолчать о слѣдующемъ маленькомъ фактѣ, подтверждающемъ ту дамскую нервозность, о которой я только-что упомянулъ. Встрѣчаюсь я съ одной молоденькой дамочкой на улицѣ... „Поздравьте, говоритъ, я на балѣ буду. Вчера напечатали рассказъ моего мужа, а сегодня за рассказъ этотъ я получила изъ редакціи 15 рублей. Платье у меня есть, передѣлаю его, подкуплю кружевъ, брошу два, три цвѣтка и... я на балѣ! А теперь спѣшу въ гостиный



дворь!" И счастливая, вся сияющая, она торопливо пожала мнѣ руку и полетѣла въ гостиный дворъ. Про столь мелкіе факты въ газетахъ не говорилось, за-то въ нихъ описывалась дороговизна костюмовъ, готовившихся въ высшихъ дамскихъ кружкахъ, и упоминалось даже про какое-то платье, выписанное изъ Парижа и стоившее баснословныхъ денегъ. Нечего говорить, что все это вмѣстѣ взятое возбуждало страсти, а во мнѣ возбудило любопытство, и я поѣхалъ въ собраніе.

Я вошелъ въ залитой огнями залъ въ промежутокъ танцевъ, въ ту самую минуту, когда дамы въ роскошныхъ костюмахъ расхаживали по залу, помахивая вѣерами, а кавалеры (большею частію изъ военныхъ) отирали платками пылавшія отъ духоты лица. Было шумно, оживленно и тѣсно... повсюду слышалась веселая болтовня, веселый смѣхъ... слѣдовательно—балъ удался! Въ толпѣ гулявшихъ я встрѣтилъ и ту барыньку, о которой говорилъ. Юное личико ея дышало радостію, счастьемъ; улыбка не сходила съ ея розовыхъ губокъ, и только мужъ, авторъ напечатаннаго разсказа, почему-то настойчиво тянувшій себя за усъ, немного не гармонировалъ веселому настроенію своей молоденькой жены. Направо, за колонадой, возвышалось алегри съ красиво уставленными и разложенными выигрышами, а налѣво буфетъ съ плодами и прохладительными напитками. Всѣмъ этимъ завѣдывали, конечно, юныя представительницы „комитета“. Онѣ любезно зазывали къ себѣ своихъ знакомыхъ, а знакомыхъ, конечно, была масса, любезно предлагали свои услуги, мило шутили, еще милѣе остряли и весьма наивно опустошали въ пользу бѣдныхъ кошельки подходившихъ. Отдавъ дань красотѣ и благотворительности и презентовавъ одной пріятельницѣ выигранный мною крошечный фла-

кончикъ съ духами, я направился было въ боковую залу, какъ вдругъ у одной изъ колонъ увидѣлъ Фронтасьева. На немъ былъ изящный черный фракъ, бѣлый какъ снѣгъ галстукъ, черный жилетъ, широко раскрывавшійся на груди, и панталоны, живописно обрисовывавшія его стройныя и мускулистыя ноги. Черные кудри какой-то гривой разметались на головѣ и придавали его блѣдно-матовому лицу такую оригинальную красоту, что всѣ невольно засматривались на него. Онъ такъ и выдѣлялся изъ остальной толпы кавалеровъ! Выдѣлялся и ростомъ, и манерами, и взглядомъ. . . сознавалъ это и словно потѣшался! Въ рукахъ у него былъ цѣлый ворохъ всевозможныхъ выигрышей, а рядомъ съ нимъ красивая, эффектная дама, блиставшая брилліантами и бросавшаяся въ глаза развязностію манеръ и грузинскимъ типомъ лица. Выразительные темные глаза этой барыни, полные блеска, такъ и прожигали моего красиваго „друга“. — Разговоръ шелъ оживленный, бойкій, пестрѣвшій каламбурами, остротами и даже, позволительными конечно, двусмысленностями.

По всей вѣроятности, разговоръ этотъ кончился бы нескоро, если бы оркестръ не заигралъ вальсъ. Фронтасьевъ встрепенулся, бросился по направленію алегри, передалъ „барышнѣ-благотворительницѣ“ всѣ свои выигрыши, объявилъ, что онъ „великодушно жертвуетъ ихъ въ пользу обогащенныхъ сегодняшнимъ баломъ нищихъ дѣтей“, возвратился къ своей дамѣ, плотно обхватилъ ее талію и вихремъ закружился по паркету. Опьяняющіе звуки вальса опьянили и другихъ! Не прошло минуты, залъ закружился, заволновался, завертѣлся и, какъ громадный калейдоскопъ, заигралъ радужными цвѣтами и отливами.

— Дружище! — закричалъ Фронтасьевъ по окончаніи вальса.

И, подхвативъ меня подъ руку, повелъ въ буфетъ.

— Пойдемъ, ради Бога пойдемъ! бормоталъ онъ, задыхаясь и обмахивая платкомъ свое разгорѣвшееся лицо. — Силь нѣтъ никакихъ!.. Пойдемъ, освѣжимся...

И войдя въ буфетъ онъ крикнулъ:

— Человѣкъ! флаконъ!

— Какого прикажете-съ? спросилъ мигомъ подбѣжавшій человѣкъ.

— Какъ ты глупъ, братецъ!.. Точно не знаешь, какое я пью.

— Слушаю-съ!

Немного погодя, мы сидѣли уже за столомъ и пили Мопороле.

— Ну, что же подѣлываешь?—спросилъ я его.

— Нѣтъ ничего,—проговорилъ онъ, жадно глотая холодное искристое вино и торопливо отирая салфеткой усы.—Лѣтомъ хозяйничалъ, а осенью отправился въ Москву и Питеръ. Прожилъ тамъ мѣсяца два, три и опять въ деревню, въ Комаровку!.. Вчера вотъ сюда пріѣхалъ... векселишка тутъ запутался одинъ, знаешь— „товаромъ сполна получилъ“... надо было обмѣнять его... а завтра домой, въ свои родныя палестины... Да вотъ нечаянно попалъ на балъ, и меня запытали въ распорядители танцевъ... Да! вскрикнулъ онъ вдругъ,—ты что же это, сосѣдь любезный, въ деревню-то не пріѣзжалъ лѣтомъ... а? позволь тебя спросить?

— Нельзя было...

— Жаль, очень жаль! А мы съ Маришей ждали тебя... Представь, она было вѣдь чуть-чуть не сбѣжала отъ меня...

— Неужели?

— Да, да, да, да! И не только что „чуть-чуть“, а даже настоящимъ образомъ!.. Это было вскорѣ послѣ твоего отъѣзда. Уѣзжалъ я куда-то изъ

Комаровки... возвращаюсь домой... хлопъ!.. нѣтъ Мариши... „куда, какъ, когда?“ спрашиваю. Никто не знаетъ и никто не видалъ даже какъ ушла... Я къ ней въ комнату! На столикѣ ключи лежатъ... Я отперъ комодъ — цѣло все: платье, бѣлье... Отперъ шкатулку—тоже самое! и даже бриллиантовья серьги не взяты! Что за чортъ, думаю!.. жду день, два—нѣтъ! Закладываю тройку, сажусь въ тарантасъ... лечу! а родитель ея въ удѣльномъ лѣсу полѣсовымъ служить... прилетаю, распахиваю дверь караулки, смотрю: моя Марина сидитъ подь окномъ и чулочекъ вяжетъ... „Какъ, что, почему?“ — Она въ слезы... „Не могу, говорить, Валеріанъ Николаевичъ, тяжело мнѣ было покидать васъ, а не могу... Силъ моихъ нѣтъ, изстрадалась, говоритъ, душа моя!“ — „Да что же за причина?“ — допрашиваю... молчить, не говорить... Наконецъ-то кое-какъ допытался... И представь, какую она причину подвела... Ну, отгадай, какую? Я тебя спрашиваю—ну, какую?

— Не знаю!

— Представилось ей, извольте-ли видѣть, что она у меня въ домѣ дармоѣдка... Я тутъ, конечно, не вытерпѣлъ и расхотелся... „Только-то?“ спрашиваю. — „А этого, говоритъ, развѣ мало!“ Ну, тутъ ужъ я распорядился, разумѣется, по своему: взялъ ее въ охабку, усадилъ въ тарантасъ, тройка помчалась, и я опять водворилъ ее на прежнее мѣсто жительства... Нѣтъ, какова идея то?.. Дармоѣдка... а? „Не могу, говоритъ, терзаетъ это меня!“ А я говорю ей: „вздоръ! — ѣшь, пей, спи, ничего не дѣлай, но жить изволь у меня!“

И, наполнивъ выпитые стаканы, онъ продолжалъ:

— Я ее съ собой бралъ...

— Куда?

— И въ Москву, и въ Питерь!.. Конечно, от-

дѣльный номеръ!.. все было крыто, шито, а все-таки бралъ. Въ горестяхъ она, изволишь-ли видѣть, находилась, такъ я хотѣлъ ее разсѣять... развлечь.

— Въ какихъ же это горестяхъ?—спросилъ я. Фронтасевъ пригнулся ко мнѣ и, припавъ къ уху, прошепталъ.

— Ребеночекъ прошлымъ лѣтомъ родился у насъ, пожилъ съ недѣлку и Богу душу отдалъ!.. Она и начала тосковать...

И затѣмъ уже вслухъ прибавилъ.

— Я ей говорю: — да что ты, глупая, съ ума сошла! Тебѣ же, говорю, легче! *Moï personnellement j'étais content parce que...* ну, самъ понимаешь! какое же положеніе этихъ незаконнорожденныхъ — вѣдь самое непріятное!.. А она, напротивъ, истосковалась... Вотъ я ее и потащилъ...

— Ну что же, развлеклась?—спросилъ я.

— Куда тебѣ! хуже еще!.. Представь, Петербургъ не понравился! И знаешь почему? „Колокольного звона, говорить, не слышно, и потомъ, видишь ли, очень въ лицо заглядываютъ“.

И Фронтасевъ весело захохоталъ.

— Впрочемъ, теперь она успокоилась немного!— проговорилъ онъ, выпивъ залпомъ стаканъ;— вѣдь я, знаешь ли, по ея просьбѣ школу маленькую устроилъ.

— Ахъ, устроилъ-таки?

— Да, да... вмѣсто той артели-то!.. Да, да! И школу, и пріютъ для этихъ старыхъ дурь и дураковъ... Она даже первый и починъ-то сдѣлала... Продала тихонько серьги и деньги отдала на школу. Въ школѣ она съ мальчишками возится, а въ пріютѣ со старухами... Но что за способности у нея!—вскрикнулъ онъ, всплеснувъ руками, затянутыми въ бѣлыя перчатки, — это удивляться

надо!... Представь! Въ какихъ-нибудь полтора года она надѣлала такихъ успѣховъ, что по-русски пишетъ правильнѣе, чѣмъ я самъ.

— Не умѣешь ты цѣнить ее!—проговорилъ я.

— Какъ?—вскрикнулъ Фронтасевъ и вскочилъ даже со стула;—какъ! Я? Да я ей даже ключи отъ денегъ отдалъ...

— Не деньги ей, а любовь твоя нужна!

— А я развѣ ее не люблю!—прошепталъ онъ опять на ухо;—люблю, братецъ...

— Любишь, но по своему и не такъ, какъ любить она. Въ тебѣ главную роль кровь играетъ, а въ ней—душа, сердце... Она для тебя красавица, а ты для нея все, часть ея собственной жизни.

И, немного погодя, я спросилъ шопотомъ, чтобы никто не слыхалъ.

— А что, тебѣ никогда не приходила мысль жениться на ней?

Фронтасева словно кольнулъ кто-нибудь.

— Миѣ, Фронтасеву! дворянину! *Mais tu plaisantes, mon cher...* Ты шутишь, дружище...

— А помнишь, какъ ты себя демократомъ-то назвалъ.

— Демократъ! демократъ!—горячился онъ.—Ну да, я демократъ, это вѣрно... но согласись самъ, иногда,—я не говорю всегда,—но иногда нельзя же и въ демократизмъ не подпустить немножко аристократизма...

— Такъ же, какъ и во время твоего посредничества,—перебилъ я,—ты сиропилъ консерватизмъ либерализмомъ..

— Нельзя, нельзя иначе... Сегодня полиберальничай, а завтра притисни!.. Такъ вездѣ и во всемъ... Нельзя, нельзя иначе. Что дѣлать... „Всѣ мы люди, всѣ мы человѣки“--проговорилъ онъ вульгарнымъ тономъ;—не я первый, не я послѣдній! Возь-

ми любого и ты найдешь въ немъ массу проти-  
ворѣчій! массу! понимаешь ли? массу, массу...  
Однако, мы съ тобой поговоримъ еще объ этомъ,  
поговоримъ... Тамъ, въ деревнѣ, на свободѣ... мы  
поговоримъ до сыта... и разговоръ этотъ разбе-  
ремъ до самыхъ мельчайшихъ деталей... А те-  
перь, au revoir, до свиданья... Сейчасъ quadrille  
monstre...

И, крѣпко пожавъ мнѣ руку и даже наградивъ  
воздушнымъ поцѣлуемъ, онъ бросился было въ  
залъ, но тутъ же воротился..

— Да, вотъ что!—проговорилъ онъ, а затѣмъ,  
приклонившись къ моему уху, прошепталъ:— ты  
пожалуйста, однако, не наводи ее на мысль о же-  
нитьбѣ...

Я даже разсмѣялся.

— И потомъ,—прибавилъ онъ громко,—ты какъ  
тамъ ни подтрунивай, а я все-таки либераль... и  
на вещи эти смотрю совершенно иначе... Повѣрь  
мнѣ, коли человѣкъ сошелся съ женщиной, по-  
любили другъ друга, такъ, право, безразлично...  
будутъ они повѣнчаны или нѣтъ...

— Валеріанъ Николаевичъ! Валеріанъ Нико-  
лаевичъ!—кричалъ кто-то изъ сосѣдней залы.—  
Кадриль начинается...

— Бѣгу, бѣгу, pardon! И онъ выбѣжалъ изъ  
буфета.

Немного погодя, проходя мимо залы, я услы-  
халъ голосъ Фронтасьева.

— Messieurs, cherchez vos dames!—кричалъ онъ,  
заглушая оркестръ...

Я взглянулъ на Фронтасьева и увидалъ его среди  
зала, стоящимъ на одной ногѣ и какъ-то особенно  
живописно воздѣвшимъ обѣ руки кверху.

— Господа въ пользу бѣдныхъ вытанцовыва-  
ютъ!—съехидничалъ кто-то.

— —

Весной я отправился въ деревню, конечно сейчас же поѣхалъ въ Комаровку. Только возобновить разговоръ о „массѣ гнѣздящихся въ чловѣкѣ противорѣчій“, а слѣдовательно и „разобрать этотъ предметъ до мельчайшихъ деталей“ — мнѣ не привелось, ибо Фронтасьевъ, какъ нарочно, по какимъ-то дѣламъ былъ это время въ Москвѣ. Обстоятельство это, конечно, не особенно огорчило меня, ибо взамѣнъ того я вдоволь наговорился съ Маришей. Она была все такая же юная, прелестная... полная жизни и чарующей простоты. Мнѣ показалось, что и платице-то было на ней то же самое, въ которомъ я видѣлъ ее въ первый разъ; тотъ же платочекъ небрежно накинутый на прелестную дѣтскую головку. Она даже вскрикнула отъ радости, увидѣвъ меня, и словно взявъ не вѣрила глазамъ своимъ.

— Вы ли это! давно ли?—говорила она... И меня за обѣ руки, пожалала ихъ.

Цѣлый день я провелъ съ нею и даже не замѣтилъ какъ прошло время. Мы вмѣстѣ завтракали, вмѣстѣ обѣдали, вмѣстѣ гуляли по саду и даже пили чай подъ той самой липой, подъ которой она когда-то изливала мнѣ свою тоску. Она показала мнѣ школу, объявила, что сама обучаетъ дѣтей русской грамотѣ, показала пріютъ, въ которомъ, между прочимъ, помѣщалась и та старуха-просвирня, о которой она рассказывала Фронтасьеву, и доброе личико ея дышало такою радостію и такимъ счастіемъ, что я не могъ достаточно налюбоваться ею... Только выходя изъ пріюта, построеннаго возлѣ церкви, она почему-то задумалась и какъ-то тяжело вздохнула. Я послѣ узналъ, что въ оградѣ подъ тѣнью плакучей ивы была могилка ребенка.

— А вы слышали про мое горе-то?—спросила она, когда мы возвратились домой.



— Да, Валеріанъ Николаевичъ говорилъ мнѣ...

— Что дѣлать!.. А ужъ какъ я радовалась-то... Вѣдь мальчикъ былъ... какъ увидала я его въ первый разъ, такъ даже воскресла словно! Такъ мнѣ легко стало, весело... Ну, думала, наконецъ-то Богъ послалъ!.. Вырощу его, сдѣлаю изъ него хорошаго человѣка, слугу вѣрнаго, и пусть его служитъ Валеріану Николаевичу по гробъ жизни... и думала, коли не я, такъ хоть сынъ полезнымъ будетъ!.. И вотъ не удалось... Возмечтала — и Господь наказалъ!

— Вотъ эта такъ любить!—размышлялъ я, возвращаясь домой почти-что ночью, — себя отдала человѣку, жизнь свою, всю душу свою, облагородила его, натолкнула на доброе дѣло, заставила людей хоть сколько-нибудь примириться съ нимъ и все-таки сокрушается, что ничѣмъ не можетъ отплатить ему за его ласки, что она „дармоѣдка“.

— Много пріятнѣе стало!—прервалъ вдругъ кучеръ мои размышленія, закуривъ трубку и сплунувъ сквозь зубы.

— Что пріятнѣе?—спросилъ я.

— Ъздитъ сюда!

— А что?

— Кормятъ теперь!.. Оздячивай—сколько влѣзеть!..

— А прежде?

— А прежде не жрамши!.. Слоняешься, слоняешься, бывало, по флигерямъ-то!.. Томъ индо возьметъ...

— Кто-же это устроилъ?

— Извѣстно, дѣвушка домовая, Марина Петровна... Они все... Теперича народъ не нахвалится на нее... Житье хорошее пошло! Ъда сытная... Щи съ солониной... каша... квасъ... хлѣбомъ хоть облопайся... — разсуждалъ онъ, возмутительно рас-

тягивая свою рѣчь и поминутно слезывая. — Сала  
даютъ, баранину... Сколько этой свинины насо-  
лено, посмотрѣлъ я... цѣлыхъ два чана наворо-  
чено... пироги по праздникамъ, рыба... капусту  
предлагаютъ... горохъ... хочешь съ-квасомъ ѣшь  
его, хочешь съ масломъ... какъ тебѣ угодно...

— Тебѣ бы натрескаться только!.. — разозли-  
ся я.

— Да вѣдь...



# ГЛОТЫ \*).

(РАЗСКАЗЪ.)

Горя въ народѣ море...  
*Поговорка.*

Былъ какой-то праздникъ и, по всей вѣроятности, весьма большой, ибо юрасовскій пономарь, взобравшись на свою колокольную, до того весело отзванивалъ во всѣ колокола, что невольно заставлялъ подпрыгивать всѣхъ слышавшихъ эту музыку. Трезвонъ этотъ такъ и разлетался по селу Юрасову, то замирая, то усиливаясь... Было часовъ 12 утра. Народъ успѣлъ уже пообѣдать и вышелъ на улицу... Теплый лѣтній день парилъ землю... нѣжно-голубое небо пестрилось тающими и легкими какъ пухъ облачками... въ воздухѣ дрожали лучи солнца. Разодѣтые парни и дѣвки съ пѣснями разгуливали по улицамъ и грызли сѣмечки... Возлѣ волостного правленія, крытаго соломой и обсаженнаго нѣсколькими тощими,

---

\*) Глотами деревня прозвала тѣхъ стариковъ, которые, имѣя широкую глотку, орудуютъ всѣми общественными дѣлами, шумятъ и орутъ на сходкахъ, вмѣшиваются въ семейныя дѣла, хозяйственныя и даже вліяютъ на вологской судь.

словно обгрызанными ракетами, шумѣла толпа юрасовскихъ стариковъ и глотовъ. Было замѣтно по всему, что толпа эта собралась по какому-то особенно важному дѣлу и что-то такое творила. Предположеніе это подтверждалось тѣмъ болѣе, что на крылечкѣ правленія, придерживаясь одною рукою за колонку, а другою подбоченясь, стоялъ самъ волостной старшина, съ надѣтымъ на шею знакомъ, а рядомъ съ нимъ волостной писарь, только-что покончившій чтеніе какой-то бумаги. Знакъ старшины ясно доказывалъ, что его степенство находилось при отправленіи служебныхъ своихъ обязанностей. И дѣйствительно, это было такъ! Ибо какъ разъ возлѣ самаго крылечка, и, такъ сказать, у ногъ господина старшины, приводился въ исполненіе надъ крестьянскимъ парнемъ Григоріемъ Потрясовымъ приговоръ юрасовскаго волостного суда. Григорія пороли. Домашнее правосудіе приговорило его къ наказанію розгами, но такъ какъ идти въ лѣсъ за розгами для хромого сторожа было и далеко и тяжело, то осужденнаго пороли просто въ два кнута, изъ коихъ одинъ принадлежалъ самому старшинѣ, а другой, щеголеватый, съ сафьянными кистями и мѣдными кольцами, мѣстному уряднику. Григорій метался, бился, изгибался, сился вырваться изъ-подъ сыпавшихся на него ударовъ, но такъ какъ на шеѣ у него сидѣлъ сотникъ и крѣпко распетлялъ ему руки, а на каждой ногѣ помѣщалось по мужику, то излишне говорить, что всѣ усилія Григорія Потрясова оставались тщетными и только возбуждали въ зрителяхъ хохотъ да массу насмѣшекъ. Правосудіе торжествовало. Собственно Потрясовъ былъ приговоренъ только къ двадцати ударамъ, но такъ какъ отсчитывать ихъ было положительно некому, то и пришлось пороть безъ счета. Тутъ же находилась и мать Потрясова—Арина. Ста-

руха металась отъ одного старика къ другому, бросалась имъ въ ноги, бросалась къ ногамъ старшины и вопила о помилованіи. Голосъ ея то трещалъ какъ-то, то переходилъ въ рыдающія глухія ноты... На зрѣлище это собралась и вся интеллигенція села Юрасова. Тутъ были и лавочники съ своими женами, и трактирщики, и кабатчики, и даже земскій фельдшеръ подъ руку съ своей супругой. Вся эта толпа плотнымъ кольцомъ окружила мѣсто экзекуціи и, прислушиваясь къ свисту кнутовъ и воплямъ старухи Арины, видимо была довольно совершавшеюся карой. Только дамы, стоявшія немного поодоль, выражали нѣкоторое соболѣзнованіе и видимо были на сторонѣ молодого и красиваго Потрясова.

— Нѣтъ, это жестоко!—говорила трактирщица,—я-бы такъ не могла...

— И за что это, скажите? — спросила фельдшерица.

— Вообразите... за любовь...

— Бѣдный, бѣдный!—вздохнули дамы.

— А по вашему какъ бы надо-ть? по головкѣ что-ли гладить?—вмѣшался трактирщикъ.—Нѣтъ, ужъ это шалите... Всякая жена для мужа сдѣлана только, для законнаго... Нѣтъ, ноня строго, по военному, потому, баловство большое пошло...

Наконецъ порка кончилась.

Потрясовъ всталъ, надѣлъ штаны и, пошатываясь, собрался было идти, какъ вдругъ старшина остановилъ его.

— Ты это куда, любезный?—крикнулъ онъ.

Потрясовъ молчалъ.

— Куда, молъ?

— Куда глаза глядятъ!—проворчалъ Потрясовъ.

— А порядковъ не знаешь?

— Какихъ еще?

— Не знаешь, что за ученье-то благодарятъ добрые люди.

— Спасибо.

— Спасибо! — передразнилъ его старшина. И схвативъ за воротъ Григорія, подвелъ его къ старикамъ.

— Въ ноги кланяйся, подлець, въ ноги. — „Благодарю, молъ, старички почтенные, что меня, дурака, уму-разуму научили.

И онъ пригнулъ было Потрясова къ ногамъ стариковъ, но тотъ вдругъ рванулся, оттолкнулъ отъ себя старшину и, окинувъ всѣхъ какимъ-то дикимъ взглядомъ, словно вырвавшийся изъ вѣтки левъ, пошелъ прочь отъ волостного правленія. Его подхватила было подъ руку старуха мать, но Григорій оттолкнулъ и ее...

— Оставь! — проворчалъ онъ, — не тронь, я и одинъ дойду...

— Ишь вѣдь звѣрь какой! — крикнулъ старшина.

— Словно волкъ! — подхватили старики.

Потрясовъ шелъ, едва передвигая ноги, задъ рубахи его былъ окровавленъ, всклоченные волосы покрыты пылью, лицо въ грязи, изъ ноздрей сочилась кровь, вся рубаха изодрана и выпачкана... Невыносимая тоска щемила его сердце... На встрѣчу ему надвигалась толпа дѣвокъ и парней, весело распѣвавшихъ пѣсни... Увидавъ ихъ, Потрясовъ быстро повернулъ въ сторону и пошелъ глухимъ переулкомъ, ведущимъ на выгонъ. Онъ сдѣлалъ это, во-первыхъ, потому, что ему тяжело было встрѣчаться съ людьми, а во-вторыхъ, и потому, что ему какъ-то обидно было, что вся эта молодежь, всѣ эти его сверстники, съ которыми онъ росъ, ходилъ въ школу и вмѣстѣ возмужалъ, даже и не помыслили придти на сходку, отстоять его и не дать въ обиду.

— Ишь вѣдь, — бормоталъ онъ, — не заступились небось, а кабы пришли-то на сходку, небось и глоты присмирѣли-бы... Видно только всякъ за себя.

Но едва вышелъ онъ на выгонъ, какъ увидаль, какую-то беспорядочную толпу, съ крикомъ и гамомъ бѣжавшую за телѣгой, наполненной пьяными мужиками. При видѣ этого поѣзда, Потрясовъ въ ту же секунду догадался въ чемъ дѣло... Въ ту же секунду забылъ онъ невыносимую боль и тоску и, какъ кошка, перескочилъ черезъ плетень, огораживавшій гумно, сталъ поджидать, съ замираніемъ сердца, приближавшійся поѣздъ. Оказалось, что то была тоже пытка, и пытка, тѣсно связанная съ той, которую онъ только что пережилъ. На телѣгѣ, въ сообществѣ пьяныхъ друзей своихъ, ѣхалъ не менѣе пьяный крестьянинъ села Юрасова, Протасъ Семеновъ Жохова. Въ корню у него была запряжена лошадь, а на пристяжкѣ собственная жена его Агафья. Жоховъ то и дѣло полосовалъ кнутомъ несчастную бабенку, а толпа мальчишекъ и дѣвченокъ бѣжала слѣдомъ и, махая руками на Агафью, ухала, ахала и лаяла.

Причиною всего описаннаго было слѣдующее происшествіе: дня два, три тому назадъ, въ глухую полночь, жители села Юрасова были страшно перепуганы раздирающими криками, раздававшимися въ избѣ Протаса Семенова Жохова. Крикъ этотъ сперва былъ услышанъ сосѣдомъ Жохова, сосѣди передали о немъ своимъ сосѣдямъ и не прошло десяти минутъ, какъ вся улица толпилась уже передъ избой Жохова. Испугъ овладѣлъ всѣми. И дѣйствительно, было отчего перепугаться! Протасъ Жоховъ, старикъ лѣтъ шестидесяти, считался первымъ богачемъ въ селѣ Юрасовѣ. Онъ имѣлъ нѣсколько кабаковъ, занимался кулачествомъ, торговалъ скотиной, жилъ только вдво-

емъ съ своею молодою женою, отличался суровымъ нравомъ, имѣлъ тѣму завистниковъ, и потому мало-ли что могло случиться съ такимъ человѣкомъ! Народъ прибѣжалъ и первое, что бросилось всѣмъ въ глаза, это то, что передъ запертыми воротами стояла лошадь Протаса, запряженная въ телѣгу. Такъ какъ лошадь оказалась потною и сверхъ того тяжело дышала, то можно было заключить, что Протасъ только-что откуда-то вернулся, что онъ вошелъ въ калитку съ цѣлью отворить ворота, но, будучи чѣмъ-то внезапно пораженъ, калитку заперъ, а ворота не отворилъ. Сосѣди припомнили даже, что Протасъ, выѣзжая сегодня утромъ изъ дома, крикнулъ своей женѣ: — „Ты меня, Агаша, сегодня не жди, я завтра вернусь!..“ Бросились къ окнамъ, но и оконныя ставни тоже оказались запертыми изнутри тяжелыми желѣзными болтами... а между тѣмъ въ избѣ происходила такая возня, сопровождавшаяся крикомъ, стукомъ и шумомъ, что можно было ясно разобрать, какъ летѣли на полъ горшки, чугуны, ухваты; какъ кто-то крикнулъ: „караулъ!“ Раза два что-то стукнулось объ стѣну, словно кто-то ударился объ нее головой, но что именно происходило внутри избы, все-таки никто навѣрное не зналъ. Наконецъ прискакалъ урядникъ. Мигомъ соскочилъ онъ съ лошади, побѣжалъ къ окну и, забарабанивъ по ставнямъ кулакомъ, крикнулъ:

— Отворите!

Но въ этотъ самый мигъ что-то черное скатилось съ крыши, упало прямо на голову урядника, повалило его на землю и затѣмъ пустилось бѣжать по улицѣ.

— Держи! — раздался голосъ Протаса, распахнувшего ставни.

Но держать было некому, ибо упавшій съ крыши до того напугалъ всю толпу и даже самого



урядника, что никто не тронулся съ мѣста и только, когда Протасъ выскочилъ на улицу, истерзанный, растрепанный, обругалъ всѣхъ сволочью и, указывая на убѣгавшаго человѣка, объявилъ, что то былъ Гришка Потрясовъ, толпа опомнилась и бросилась въ погоню.

— Что за человѣкъ?—кричалъ урядникъ, когда Потрясовъ стоялъ передъ нимъ, съ закрученными назадъ руками.—Что за человѣкъ?

— Не узналъ ништо? подшутилъ Потрясовъ.

Но узнать его дѣйствительно было трудно. Выскочивъ изъ избы черезъ трубу, онъ до того перепачкался сажей, что походилъ скорѣе на чорта, каковымъ послѣдній изображается, чѣмъ на обыкновеннаго юрасовскаго обывателя.

— Что за человѣкъ?—продолжалъ допрашивать оправившійся отъ испуга урядникъ.

— Воръ!—крикнулъ Потрясовъ.

Но голосъ его былъ заглушенъ голосомъ Жохова.

— Вретъ онъ, вретъ,—кричалъ Жоховъ съ пѣной у рта;—не воръ онъ, а полюбовникъ жены моей! Вотъ онъ кто!

И какъ Потрясовъ не старался увѣрить толпу, что въ избу Жохова онъ забрался не ради свиданія съ его женой, а съ цѣлью обокрасть старика, однако всѣ его увѣренія остались напрасными. И дѣйствительно, когда юрасовцы съ урядникомъ во главѣ вломились въ избу Жохова, то всѣ убѣдились, что Гришка Потрясовъ нагло лгалъ и что, называя себя воромъ, онъ только скрывалъ настоящую цѣль своего посѣщенія. Но скрыть эту цѣль было весьма трудно, ибо стоило только заглянуть въ уголь и посмотрѣть на сидѣвшую въ томъ углу жену Протаса, Агафью, такъ вранье Потрясова становилось яснымъ, какъ день.

А тѣмъ временемъ старикъ Жоховъ стоялъ сре-

ди избы на колѣняхъ и молилъ стариковъ о заступничествѣ.

— Заступитесь, люди добрые,—взывалъ онъ, отвѣшивая поклоны направо и налево; — каково мнѣ теперь на людей-то смотрѣть! Сами подумайте!... Вѣдь она, подлая, осрамила меня... Вамъ извѣстно... Взялъ я ее изъ нищеты, босую, нагую... Обулъ, одѣлъ ее, женой своей сдѣлалъ, а она, подлая, вотъ какъ отблагодарила меня... Заступитесь...

— Говори, говори,—орала толпа, накидываясь на Потрясова;—говори, подлая душа твоя: зачѣмъ попалъ сюда? Зачѣмъ, сказывай!...

Но какъ ни приставали къ Потрясову, а онъ все-таки стоялъ на своемъ.

— Воръ я, воръ!—кричалъ онъ.—Какъ вора и судите меня... а его, стараго дурака, не слушайте... вретъ онъ, вретъ, старый песъ... Обокрасть я его хотѣлъ, обокрасть, ограбить...

Послѣдствіемъ всего этого было то, что въ описываемый день состоялось слѣдующее опредѣленіе юрасовскаго волостнаго суда: *„По рѣшенію суда, состоявшагося такого-то числа, по принесенной жалобѣ крестьянина Протаса Жохова и судъ постановилъ. Такъ какъ уликами въ любовной связи жены просителя Алафы съ крестьяниномъ Григоріемъ Потрясовымъ является урядникъ, который и составилъ по сему актъ и всѣ сосѣди и такъ какъ Григорій Потрясовъ былъ захваченъ на мѣсть преступленія самимъ Протасомъ Жоховымъ, но не былъ имъ задержанъ потому собственно, что выскочилъ въ трубу, съ которой скатившись упалъ на урядника и нанесъ ему испугъ, то опредѣлили: крестьянина Григорія Потрясова за блудодѣйственные его поступки и на основаніи ст. 102 общаго положенія наказать двадцатью ударами розгами и сверхъ того, ежели крестьян-*

ка Агафья Жохова по истеченіи узаконеннаго срока родить младенца и будетъ похожъ по образцу на Григорія Потрясова, то младенца того считатьъ сыномъ Григорія и обязать его на воспитаніе младенца дать двѣ четверти ржи и телку“ \*).

Такъ какъ приведеніе въ исполненіе этого приговора намъ уже извѣстно, то и возвратимся къ разсказу.

Описываемый день для почтенныхъ юрасовскихъ заправиль былъ однимъ изъ самыхъ удачнѣйшихъ. Помимо дѣла Потрясова, за которое старикъ Жоховъ великодушно поставилъ имъ полведра водки, они разобрали нѣсколько другихъ, такъ что къ концу дня перепились до того, что нѣкоторые, болѣе слабые, валялись на полу, а болѣе крѣпкіе хотя и продолжали сидѣть, но все-таки видимо отяжелѣли. День давно уже погасъ, давно уже тусклыя звѣзды замерпали на темномъ небѣ, а господа глоты все еще не покидали волостной. Тамъ, въ присутственной комнатѣ, за большимъ письменнымъ столомъ, при тускломъ свѣтѣ чадившей лампы, со старшиною во главѣ, они все еще продолжали начатую съ утра пирушку. На небольшомъ столикѣ, приставленномъ къ окну, по стекламъ котораго тихонько царапала ракета, стояло желѣзное ведро, на днѣ котораго осталось еще нѣсколько водки. Старички допивали эту водку и словно тосковали, что она подходила къ концу. Тутъ же на этомъ столѣ красовались ломти ржаного хлѣба, нѣсколько пучковъ сочнаго зеленого лука, ребра объѣденной воблы и большая деревянная солонка, наполненная крупною сѣрватою солью. Пили строго со-

---

\*) Сомнѣвающихся въ возможности такого приговора про-  
шу просмотрѣть № 188 „Саратовскаго Дневника“ 1883 г.  
*Авторъ.*

блюдая очередь... Вонь была заразная, тѣмъ не менѣе, однако, разговорамъ не было конца...

Вдругъ дверь распахнулась и въ комнату вошла Протась Жоховъ.

— Миръ честной компаніи!—крикнулъ онъ весело;—миръ вамъ!

При видѣ его всѣ словно встрепенулись.

— А! Протась Семенычъ!—кричалъ старшина.

— Протась Семенычъ!—кричали старики.

— Милости просимъ, садись-ка, другъ любезный, гостемъ будешь...

И, обратясь къ старику, разносившему водку, старшина прибавилъ:

— Что, водченка-то, не вся еще?

— Есть маленько.

— А коли есть, такъ поднеси гостю дорогому...

— Садись-ка, Протась Семенычъ... Ну-ка, кушай—на,—проговорилъ онъ, подавая Жохову налитый стаканчикъ.

— Кушай, кушай!—зашумѣли старики.

— Постойте, братцы, дайте хоть лобъ-то перекрестить.

Протась Семенычъ перекрестился и проговоривъ: „здравствуйте!“ , выпилъ водку.

— Важно!—прибавилъ онъ, отирая усы. Съ устали-то куда какъ хорошо...

— Съ чего же это ты усталъ то?—спросилъ старшина.

— Да все съ анафемой-то съ своей возился, чтобы ей пусто было!... Сперва покатался на ней съ пріятелями, а опосля на цѣпь приковалъ...

— Ну?—крикнули старики въ одинъ голосъ.

— Вѣрно говорю.

И общій хохоть загремѣлъ по комнатѣ.

— Приковалъ?—спросилъ старшина.

— Приковалъ.

— На цѣпь?

— На цѣпь, по всей формѣ... Завелъ въ амбарушку да такъ къ стѣнѣ и приковалъ. Пущай-ка теперь попрыгаетъ.

— Такъ ихъ и надо, долгохвостыхъ!—крикнулъ старшина. Молодецъ Протасъ Семенычъ! Впередь наука... Это ты правильно поступилъ, потому развратъ пошелъ по свѣту,—прибавилъ онъ, обращаясь къ толпѣ,—что устали потакать развратникамъ. Таперича на счетъ этого самаго разврату большія строгости пошли... Чтобы, значить, ни, ни!... Чуть что—и отвѣчай! Сумѣлъ отвѣтить—ладно, а не съумѣлъ—порка! Хе, хе, хе! Такъ ее шельму, и надоть... Небось охоту-то отшибеть!...

— Поди и Гришка-то тоже почесывается!—подхватили старики, заливаясь пьянымъ смѣхомъ;—тоже спину-то ловко взбудоражили...

— Такъ ихъ и надо подлецовъ! — крикнулъ старшина и столь мощно ударилъ кулакомъ по столу, что даже лампа чуть не упала на полъ.

— А вотъ теперь сътебя магарычъ-бы надоть!—крикнулъ кто-то изъ стариковъ.

— Надо, надо!—подхватили остальные.—Ставка, Протасъ Семенычъ, раскошеливайся...

— Слѣдуетъ!—одобрилъ старшина.

— За что-же это?—удивился Жоховъ.

— Аза самаго за этого Гришку!—пояснилъ старшина.

— Извѣстно за него! — подхватили старики. Вѣдь ты доволенъ судомъ-то нашимъ?

— Знамо, доволенъ, по совѣсти разсудили.

— А коли доволенъ, такъ, значить, и ставь!

— Да вѣдь ужъ я ставилъ!

— Это полведра-то!—крикнулъ старшина.

— Маловато, Протасъ Семенычъ!—загалдѣли старики, обступая Жохова.—Самъ знаешь, какъ

мы тебѣ поусердствовали... Уважь, поставь еще полведерную...

— Ну нѣтъ, старички почтенные! Ужъ это такъ и быть.

— Уважь!

— Не уважу, потому достаточно.

— Еще полведерко...

— Жирно будетъ!—крикнулъ Жоховъ, разсерженный назойливымъ приставаемъ.

— Такъ не ставишь?

— Не поставлю.

— Чтооооо?—заораль вдругъ старшина, и вставъ на ноги, окинулъ старика грознымъ взглядомъ. Тотъ тоже всталъ.—Чтоооо?

— А то, что будетъ съ васъ.

И Жоховъ хотѣлъ было выдти изъ-за стола, но старшина мгновенно схватилъ его за воротъ и сразу-же посадилъ на прежнее мѣсто.

— Нѣтъ, постой, любезный,—кричалъ онъ,— такъ не водится...

— Ну, а ты не очень!—защищался Жоховъ, силясь вырваться изъ мощныхъ рукъ старшины.

— Протась Семенычъ, не бунтуй...

— А ты руки-то пусти!

— Слышишь, не бунтуй!... худо будетъ.

— Нечего стращать-то, не на того напаль!

— Не на того?

— Нѣтъ.

— Ну, а ежели да мы тебя сейчасъ выпоремъ!

— Руки коротки!

— Крикнемъ того-же самага Гришку Потрясова, да и прикажемъ ему выпоротъ тебя?

— Было-бы за что!—кричалъ Жоховъ.

— Причинъ много.

И вдругъ, обратясь къ старикамъ, которыхъ видимо начинало уже раздражать упорство Жохова, старшина крикнулъ:

— Старички почтенные!—Дозвольте объяснить вамъ про этого самаго человѣка... Онъ жену на цѣпь приковалъ... Ништо возможно такую жестокость допускать?... Жену на цѣпь!—Да что-же она—собака, что-ли? Сами разсудите... Вѣдь она хоша и баба допустимъ, а все-же человѣкъ есть!.. Ликъ Божій на себѣ имѣеть... Ништо такъ возможно... Ништо есть такой законъ!... Эй ты, писарь!—крикнулъ онъ, обращаясь къ уснувшему въ углу писарю;—встань-ка, ты, чучело гороховое... Есть такой законъ..?

Но такъ какъ писарь, вмѣсто отвѣта, издалъ только одинъ оглушительный храпъ, то старшина махнулъ рукою и продолжалъ:

— Такого закона, старички почтенные, нѣтъ у насъ!...

— Мучитель ты,—накинулся онъ опять на ото-ропѣвшаго Жохова,—варваръ ты... Знаю я тебя, лысаго чорта... Всѣ тебя знаютъ, каковъ ты гусь... Отъ Творца Небеснаго укроешься, отъ глаза начальственнаго, а вѣдь отъ міра-то не спрячешься... Міръ насквозь видитъ... Міръ знаетъ каковъ ты скотина .. Міръ долго молчитъ, долго терпитъ, а за то ужъ коли доберется, такъ шкуру спуститъ... Ты первую жену свою побоями въ гробъ вогналъ; ты свою родную дочь кушцу въ полюбовницы продалъ! Ты къ своей снохѣ съ паскудствомъ приставалъ, ни днемъ, ни ночью прохода не давалъ ей... Изъ-за чего-же, какъ не изъ-за этого твой родной сынъ ушелъ отъ тебя... Ты и вторую жену-то силой взялъ себѣ, забылъ, что тебѣ шестьдесятъ лѣтъ, а ей всего семнадцать... А теперъ на цѣпь ее...

— Вѣрно, вѣрно!...—орала толпа стариковъ.

— Ты міру-то хуже горькой полыни приходишься,—продолжалъ старшина, поощренный сочувствіемъ стариковъ и все болѣе и болѣе воз-

вышая голосъ.—Вѣдь ты у міра-то на шеѣ сидишь!... Разбери-ка ты себя, каковъ ты человѣкъ-то есть!... Вѣдь тебя повѣсить мало!.. Кто въ селѣ кабакъ открылъ? Ты, подлець! Кто деньги въ ростъ отдаетъ? Ты, мерзавецъ. Кто все село по міру пустилъ? Ты, анафема. Кто лѣтось у общества Кулешовскую землю перебилъ? Ты, сволочь. Ты землю-то по три рубля снялъ, а теперь намъ по десяти отдаешь! Кто осенью моихъ телятъ загналъ, да по рублю съ меня штрафа взялъ? Ты, окаянный. Кто въ голодуху два рубля за пудъ ржаной муки бралъ? Ты, скорпионъ; вѣдь вотъ ты каковъ, Иродь... А теперь жену на цѣпь!... Какъ-же тебя не драть-то, скотину?.. Кровопивецъ вѣдь ты...

Но тутъ поднялся такой шумъ, что даже проснулся самъ волостной писарь и, поймавъ на лету нѣсколько послѣднихъ словъ изъ спича, произнесеннаго старшиной, набросился на Жохова съ стиснутыми кулаками. Какъ будто гдѣ-то плотина прорвалась и вода стремительнымъ потокомъ, ревя и бушуя, ринулась въ зіяющую пропасть! Старики освирипѣли, полѣзли на Жохова, замелькали въ воздухъ кулаки, глаза засверкали зловѣщимъ огнемъ и не прошло пяти минутъ какъ старикъ лежалъ уже на полу.

— Розогъ!—кричалъ старшина.

— Розогъ!—кричалъ писарь.

— Гришку Потрясова сюда!—гремѣли старики.

Но въ этотъ самый моментъ Жоховъ напрягъ свои силы, быстрымъ движеніемъ сбросилъ съ себя сидѣвшихъ на немъ стариковъ, вскочилъ на ноги, но тутъ-же упалъ на колѣни и взмолилъ о пощадѣ.

— Виноватъ, старички почтенные!—вопилъ онъ, кидаясь то въ ту, то въ другую сторону.—Простите, Бога ради,... дьяволъ смутилъ меня... За-



гордился передъ вами, не уважилъ васъ. Простите! Повинную голову не сѣкутъ, не рубятъ... Сплошалъ маленько... дуристъ нашла... Ставлю полведра... посылайте...

— Мало теперь! — раздался крикъ, заглушившій мольбы ползавшаго на колѣняхъ Жохова.

— Мало! — кричалъ старшина.

— Ведро ставлю! — задрожалъ голосъ старика.

— Три! — кричалъ старшина.

— Три! — подхватили старики.

И опять словно гдѣ-то прорвалась плотина!..

А Гришка тѣмъ временемъ все еще бродилъ по окрестностямъ села, избѣгая съ кѣмъ-бы то ни было встрѣчи. Ночь давнымъ давно спустила на землю свой покровъ и окутала имъ всю природу. Было тихо, такъ тихо, что слышалось даже журчанье рѣки, шопоть прибрежнаго камыша, трескъ кузнечика... Тлѣвшаяся полоска зари замѣтно таяла и сливалась съ темной синевою ночного неба... Воздухъ пресыщенъ какою-то тяжелою сыростью... Все было повержено въ меланхолическую тишину... и даже страстная жажда жизни какъ-будто замерла и притупѣла... Гдѣ-то далеко-далеко раздалась пѣсня и вскорѣ замолкла... Гдѣ-то вавакалъ перепелъ, гдѣ-то пискнулъ мышенокъ... и опять все заснуло!.. Торжественная, величавая ночь сторожила и берегла уснувшій мѣръ. Потухла заря и черная земля слилась съ темнымъ небомъ... Словно еще тише стало!.. А Гришка Потрясовъ все ходилъ, да ходилъ, какъ отверженный и людьми и Богомъ. Шелъ онъ вдоль берега рѣки и незамѣтно добрелъ до коноплянниковъ. Густая масса пахучей зелени какъ стѣна возстала передъ нимъ. Машинально перешагнувъ онъ канаву, повернулъ на-лѣво и побрелъ по первой попавшейся ему тропинкѣ. Шелъ онъ поникнувъ головой, я самъ не зная, куда именно вела его тропа.

Однако, пройдя немного, онъ остановился, осмотрѣлся и, узнавъ собственный свой огородъ, вспомнилъ старуху мать. — „Обидѣлъ я тебя сегодня, родная, — прошепталъ онъ — отогналъ тебя, когда ты мнѣ помочь хотѣла... Да вѣдь ты видѣла-же, что я какъ бѣшенный былъ!.. А ужъ плакала-то какъ ты надо мною... Пойти къ ней развѣ?.. утѣшить ее... Пооди не спать еще, меня дожидаячи...“ По Гришка домой, все-таки, не пошелъ... Какая-то томящая печаль, какая-то ноющая и вмѣстѣ съ тѣмъ раздражающая тоска давила его словно камнемъ. Въ головѣ бродили смутныя, болѣзненные мысли, разобраться съ которыми не доставало силъ... А кровь точно тяжелымъ молотомъ стучала ему въ виски.

Вдругъ что-то невнятное долетѣло до его ушей... Онъ остановился, притаилъ дыханіе, настоорожилъ слухъ и замеръ... Ему словно слышались стоны какіе-то, чуть раздавшіеся, чуть дрожавшіе и словно сливавшіеся съ тихимъ шопотомъ ночи. Онъ сдѣлалъ нѣсколько шаговъ и снова остановился... Что это? Пѣсня ли звучала, слезы-ли изливались, собственное-ли его сердце тосковало? Онъ разобрать не могъ... Онъ порывисто пробѣжалъ нѣкоторое пространство и опять сталъ прислушиваться... Дѣйствительно, то были стоны, болѣзненные, безпомощные, какими стонетъ умирающій человѣкъ. Теперь онъ ясно слышалъ ихъ... И онъ бросился по направленію къ нимъ...

— Вотъ они гдѣ, — прошепталъ онъ, — вотъ гдѣ!..

И онъ сталъ вглядываться въ возвышавшееся передъ нимъ строеніе. То былъ крестьянскій дворъ, окруженный сараями и навѣсами... Онъ самъ находился на задахъ этого двора и тотчасъ же узналъ чей это дворъ... Кровь хлынула ему въ голову, сердце забилося... къ одному изъ сараевъ

была прислонена борона; по этой боронѣ онъ вскарабкался на крышу и спрыгнулъ съ нея внутрь двора... Черезъ секунду онъ стоялъ передъ запертою дверью небольшого амбара... Именно изъ этого амбара и раздавались стоны... Гришка словно съ ума сошелъ, словно опалѣлъ... вцѣпился въ тяжелый замокъ, уперся колѣнкой въ дверь, и пробой съ трескомъ выскочилъ изъ косяка...

— Здѣсь?—прошепталъ онъ, бросился въ амбаръ и въ ту же секунду узналъ Агафью.

Они оба словно замерли и, только минутъ пять спустя, очнулись отъ охватившаго ихъ чувства.

— Что ты сдѣлалъ, что ты сдѣлалъ!—шептала Агафья.

— Молчи, Гаша, ради Господа, молчи...

— Бѣги отсюда, убьетъ онъ тебя...

— Постой родная,—шепталъ Гришка,—погоди, молчи...

Загремѣла цѣпь, затрещало что-то, заскрипѣло, тявкнула собака... и вдругъ опять все смолкло.

— Оторваль, — прошепталъ немного погодя Гришка и выбросилъ цѣпь вонъ изъ амбара.

— Пусти, Гриша! Милый, хорошій мой...

— Не любишь ништо?

— Кабы не любила ничего-бы и не было...

— А коли любишь, таѣ и молчи...

И опять все стихло, только жгучіе, страстные поцѣлуи раздавались въ амбарѣ...

— А теперь уходи!—прошепталъ немного спустя Гришка порывисто, нервно и суетливо. Уходи, до-рогая, уходи скорѣе... бѣги куда глаза глядятъ...

— Что съ тобой?

— Сожгу я... все сожгу...

— Гриша! что ты это...

— Бѣги, говорятъ тебѣ!

— Брось, оставь...

— Бѣги, сожгу!..

И не прошло четверти часа, какъ весь дворъ Протаса Семенова былъ объятъ пламенемъ. Красное зарево обогрило темное небо, закрутились искры, огненный столбъ взметнулся къ верху, опрокинулся на сосѣдній дворъ и грозный потокъ, какъ лава, устремился по направленію улицы... Раздался набатъ, раздались стоны... воздухъ огласился крикомъ людей, мычаніемъ коровъ, воемъ собакъ... все всполошилось, ужаснулось... а всепожирающее пламя грохотало и, вздымая черныя облака дыма, летѣло все дальше и дальше, оставляя за собою разрушеніе...

А Гришка Потрясовъ бѣжалъ прочь отъ села... бѣжалъ съ разметавшимися по вѣтру волосами, съ разстегнутымъ воротомъ рубахи, бѣжалъ безъ оглядки, самъ не зная куда, перескакивая черезъ плетни и канавы и не на секунду не останавливаясь... Только добѣжавъ до рѣки, онъ какъ будто вздрогнулъ и отшатнулся... Но продолжалось это не долго. Онъ глянулъ внизъ обрыва и бросился въ обогренную заревомъ воду... Вода заплѣнилась, всплеснулась, поглотила бросившагося, но въ ту же секунду онъ вынырнулъ, и мощныя руки его принялись разсѣкать поверхность воды... Выскочивъ на противоположный берегъ, онъ снова пустился бѣжать... Только добѣжавъ до лѣса и утонувъ въ его мракъ, онъ остановился и оглянулся назадъ. Зарево пожара охватывало полнеба, но ни шума, ни крика не было слышно... Словно горѣло не живое, а мертвое село; словно все, что жило тамъ, или бѣжало отъ ужаса, или же сдѣлалось жертвою пламени... Хоть-бы крикъ одинъ, хоть-бы одинъ призывъ о помощи, только запахъ дыма долеталъ до него... Гришка даже ужаснулся при видѣ этой нѣмой картины пожара и бросился въ глубь лѣса!.. И по мѣрѣ того, какъ углублялся онъ въ его чащу,

зарево словно замирало, а запахъ дыма слабѣль и слабѣль... Торжественная величавая тишина ночи охватила Гришку и онъ ужаснулся этой тишины... Молотъ опять застучалъ по его вискамъ, сердце опять сжалось отъ щемящей тоски, силы его оставили... Онъ упалъ на землю... Но вотъ крикнула какая-то птица страшно, рѣзко, и онъ опять вскочилъ на ноги... На этотъ разъ онъ не побѣжалъ уже... Онъ только прислонился къ дереву, судорожно схватилъ себя за сердце и словно замеръ въ этой позѣ, широко раскрывъ зрачки и словно вдумываясь въ какую-то тяжелую думу...

Черезъ двѣ недѣли въ мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ было напечатано слѣдующее извѣстіе:— „Такого-то числа, въ первомъ часу ночи, въ селѣ Юрасовѣ, отъ поджога произошелъ пожаръ, отъ котораго сгорѣло пятьдесятъ крестьянскихъ домовъ со всеми надворными строеніями. Сознавшаяся въ поджогѣ, крестьянка Агафья Жюхова, арестована. Того-же числа въ Юрасовскомъ лѣсу найденъ повѣсившимся крестьянинъ села Юрасова Григорій Потрясовъ. По обоимъ этимъ происшествіямъ производится строжайшее изслѣдованіе“.

Слѣдователь изъ молодыхъ, но ранній, долго уговаривалъ Агафью сознаться, что поджогъ былъ произведенъ не ею.

- Вѣдь это не ты подожгла,—говорилъ онъ ей.
- Нѣтъ, я...
- Врешь... по глазамъ вижу...
- Чего мнѣ врать-то!
- Вѣдь ты на цѣпи была?
- Кабы на цѣпи-то была, такъ сгорѣла-бы!
- Сама оторвала цѣпи?
- Знаю сама...
- Вѣдь ты въ Сибирь себя ухлопаешь!

— Что-жъ такое!.. Коли виновата, такъ и отвѣчать должна.

— И Гришку не видала въ тотъ вечеръ?

— Не видала.

— Изъ-за чего же ты подожгла-то?

— Знамо изъ того, что съ мужемъ жить не хотѣла.

— Врешь. И когда это ты успѣла лгать научиться! Тебѣ который годъ?

— Восемнадцатый пошелъ...

— А знаешь, чтобы я тебѣ посовѣтовалъ?— спросилъ слѣдователь шопотомъ.

— Что?

Онъ оглянулся, и, убѣдившись, что въ избѣ никого нѣтъ и что его никто не подслушиваетъ, прибавилъ:

— Чѣмъ тебѣ въ Сибирь-то идти, открой-ка настоящаго поджигателя, а сама ко мнѣ въ кухарки... понимаешь?

И слѣдователь потерся плечомъ о роскошное и теплое плечо Агафьи.

— Ну, говори-же...—шепталь онъ;—согласна!... Ничего не пожалѣю, все... понимаешь? все... павой ходить будешь...

Та стояла, потупилась и молчала. Только черныя брови ея сдвинулись какъ-то недоброжелательно и какая-то складка серьезная и суровая сложилась на лбу.

— Ну?—приставалъ юный слѣдователь и ущипнулъ Агафью.

— Нѣтъ, не согласна...

И она уткнула глаза въ землю.

Такъ Агафья и не открыла настоящаго виновника пожара и, съ надеждой на лучшее будущее, пошла въ Сибирь...

А развеселые юрасовскіе глоты шатались себѣ во всю!

На пожарищѣ дымились еще головни; еще курился горѣвшій навозъ; въ воздухѣ стоялъ синеватый смрадъ, разѣдавшій глаза; еще вздутые трупы обуглившихся животныхъ валялись неприбранными; еще недѣйствовавшая пожарная труба не была обратно ввезена въ сарай, а они, эти глоты, пили „мертвую“, словно и не было ничего!..

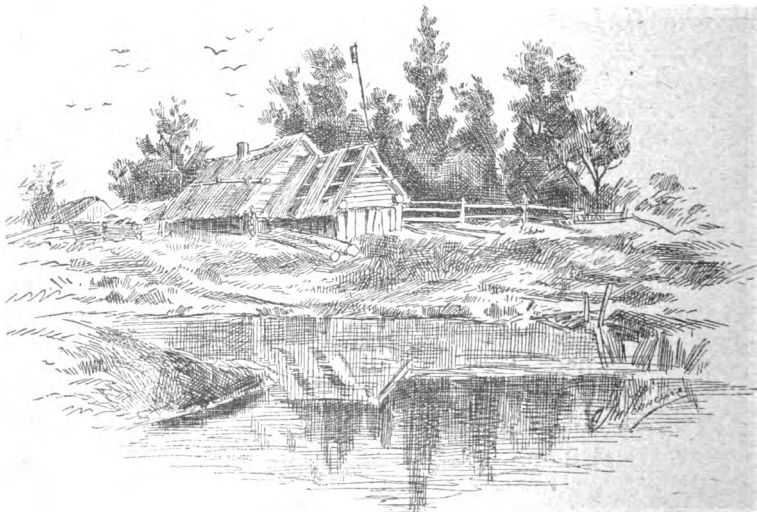
Они такъ и „присутствовали“ въ своей волостной конторѣ! Тамъ ночевали, тамъ отливались, тамъ опохмѣлялись и тамъ-же опять напивались... Только изрѣдка выходили, пошатываясь, на крылечко, цѣплялись за колонку, провѣтривались слегка и опять назадъ въ это присутствіе... гѣсни, плясь, ругань... всего было много!

Оказывается новая статья подвернулась и глоты вцѣпились въ нее, какъ голодные волки въ пойманнаго барана.

Статья эта заключалась въ томъ, что послѣ пожара погорѣльцы обязаны были новыя свои постройки возводить по плану, соответствовавшему требованіямъ пожарнаго устава. Приходилось оставлять переулки, раздвигать надворныя постройки, ставить избы не вдоль улицы, а во дворъ и т. п. Каждому изъ погорѣльцевъ желалось, прежде всего, остаться на своемъ насиженномъ пепелищѣ, а въ случаѣ невозможности, получить наиудобнѣйшее мѣсто для усадьбы. И вотъ, почтенные заправители деревни принялись за дѣло! Пощады не было никому... Они не щадили даже самихъ себя и спивали другъ съ друга все, что только можно было спить! „Плантовая“ (такъ прозвали они водку, спиваемую за усадьбы) лилась обильной рѣчкой, и тотъ, кто ставилъ таковой большее количество, получалъ и лучшую усадьбу. Нечего говорить, что самая удобнѣйшая была отведена Протасу Семенову Жохову. Онъ не пожалѣлъ „плантовой“ и поливалъ ею глотовъ до того обильно, что

одинъ изъ нихъ не выдержалъ и найденъ былъ мертвымъ на какомъ-то огородѣ. За то Аринѣ указали мѣсто на днѣ оврага, куда обыкновенно свозился до тѣхъ поръ навозъ. Впрочемъ, она и не строилась... Схоронивъ своего Гришатку (попъ отказался отпѣвать его и потому Арина сама читала надъ нимъ молитвы), она куда-то исчезла. Думали, что старуху волки съѣли, однако весной дошелъ слухъ, что ее видѣли сперва у Митрофанія, затѣмъ у Тихона Святителя, а потомъ и у Сергія Преподобнаго... Видѣли, какъ она прикладывалась къ мощамъ этихъ святыхъ угодниковъ и, стоя на колѣняхъ, шептала молитвы, въ которыхъ то и дѣло слышалось имя Григорія.

Въ богомолье, значитъ, ударилась... „На божественное стала наворачивать“, какъ говоритъ одинъ мой знакомый...





# Четыре времени года.

РАЗСКАЗЪ.

## I.

Было чудное майское утро... Голубое небо искрилось лучами солнца; легкія, перистыя облачка таяли въ лазурномъ пространствѣ, и трели жаворонковъ сыпались на землю. Лѣсъ стоялъ неподвижно и, отражаясь въ зеркалѣ рѣки, окрашивалъ ее яркимъ изумрудомъ; только тамъ, гдѣ не было этого отраженія, рѣка блестѣла какъ гладко отполированная сталь... Воздухъ пресыщался запахомъ ландышей и фіалокъ, и мечтательный соловей пѣлъ свою страстную пѣснь... Все дышало любовью и напѣвало про любовь...

Трифонъ Иванычъ Загалдѣловъ сидѣлъ подъ развѣсистымъ дубомъ, на самомъ берегу рѣки, и, калачикомъ поджавъ подъ себя ноги, удиль рыбу. Онъ былъ только въ панталонахъ и розовой ситцевой рубахѣ; весь-же остальной костюмъ его, тщательно сложенный, лежалъ поодаль. Онъ держалъ длинное удилище, и, нисколько не обращая вниманія на поплавокъ, широко улыбался. — „Экое время-то, шепталъ онъ; — рай! И куда хворь дѣвалась! И ноги не ломить, и въ поясицѣ ни-

какого затрудненія!... Только все-таки такъ жить нельзя! Любить мнѣ хочется, любить!... Последняя козьявка—и та любить“...

И вдругъ, откинувъ въ сторону удилице, онъ закрылъ лицо руками, пробылъ въ такомъ положеніи минуты двѣ, затѣмъ тряхнулъ головой, развелъ руки, какъ-бы призывая кого-то въ объятія и мечтательно глядя на небо, вскрикнулъ:— „Маша, Маша! да будь-же ты моею!“...

Въ это самое время въ лѣсу слышались то-ропливые шаги, трескъ ломавшихся подъ ногами сучьевъ, ускоренное дыханіе, и на берегъ выбѣжалъ мальчикъ лѣтъ десяти.

— Трифонъ Ивановичъ!—крикнулъ онъ, насилу переводя духъ,—баринъ проснулся... васъ требуетъ...

— Чего тамъ еще?—проворчалъ Трифонъ Ивановичъ.

— Умываться васъ ждетъ...

— А у тебя рукъ-то не было подать?

— Васъ требуетъ...

Трифонъ Ивановичъ обозлился. Онъ обругалъ какъ слѣдуетъ барина, свернулъ удочку, натянулъ на ноги сапоги, подвязалъ манишку, надѣлъ парусинный пиджакъ, фуражку, и, взявъ сачекъ съ наловленной рыбой, пошелъ по направленію къ барской усадьбѣ. Подходя къ дому, онъ обратился къ слѣдовавшему за нимъ мальчику.

— Ты знаешь Марью Павловну?—спросилъ онъ.

— Какую?

— Горничную, что у Протасовскихъ господъ живетъ?

— Это толстая-то, краснощекая-то?

— Дуракъ! Не толстая она, а пышная, роскошная...

— Ну, знаю-съ.

— Такъ вотъ, слушай: сейчасъ я письмо на-

пишу, ты съ этимъ письмомъ валяй въ Протасово на барскій дворъ; скажи, чтобы тебѣ вызвали Марью Павловну, и самымъ секретнымъ манеромъ ей письмо и всучи... Смекаешь?

— Смекать-то я смекаю, только кто-же ножи да вилки-то перечистить?

— Успѣешь!

— Какъ-же, успѣешь! До Протасова-то версты двѣ будетъ...

— Ну, ну!—огрызнулся Трифонъ Иванычъ, и мальчуганъ мгновенно замолчалъ.

Немного погодя, они входили уже на заднее крыльцо господскаго дома, отерли ноги объ валяющуюся на полу рогожу и скрылись въ темныхъ сѣняхъ.

— Гдѣ ты пропадаешь? Гдѣ ты пропадаешь?— кричалъ баринъ, увидавъ Трифона.— Тутъ баринъ умываться собрался, рукава засучилъ, а тебя нѣтъ!

— Для васъ-же старался, — проговорилъ Трифонъ Иванычъ, и подалъ барину леща.

— Лещъ—вскрикнулъ тотъ.

— Такъ точно-съ.

— Икру мечуть?

— Такое ужъ время!—вздыхнулъ Трифонъ Иванычъ.

— Какъ-же его?—Съ кашей, съ лукомъ... а? Какъ ты думаешь?

— Какъ вамъ будетъ угодно-съ.

— Съ кашей, съ кашей! — бормоталъ баринъ.— Спасибо, спасибо... Прости, погорячился!—И баринъ принялся умываться.

Когда барскій туалетъ былъ оконченъ и когда баринъ, подойдя къ зеркалу и любуясь собой, проговорилъ: — „Ну-съ, вотъ мы и прифрантились!“ , Трифонъ Иванычъ вышелъ изъ комнаты и отправился на свой чердакъ. Онъ переселился

на чердакъ съ самой той поры, какъ скворцы, размѣстясь по своимъ скворешнямъ, принялись строить гнѣзда. Онъ перенесъ на чердакъ свою кровать, постлалъ на нее свою постель, поставилъ подъ нее свой зеленый сундукъ, окованный жестью, и зажилъ какъ на дачѣ. Придя на чердакъ, Трифонъ Иванычъ мгновенно преобразился. Лицо его просіяло, глаза заискрились, и, снова открывъ свои объятія, онъ началъ зывать къ Машѣ. Но продолжалось это недолго. Онъ поспѣшно выдвинулъ свой сундукъ, отперъ его, вынулъ почтовую бумагу, перо и чернильницу и, подѣвъ къ столу, принялся писать. Когда письмо было окончено, онъ вложилъ его въ конвертъ, заклеилъ, выглянулъ въ слуховое окно, и увидавъ на дворѣ мальчугана, позвалъ его къ себѣ.

— Вотъ,—проговорилъ онъ передавая ему письмо;— только смотри... Изъ рукъ въ руки!

— Слушаю-съ.

— Да чтобы никто не видалъ. И безпремѣнно чтобы отвѣтъ... безъ этого не уходи.

— А какъ-же вызвать-то?—спросилъ мальчуганъ.

— Солги.

— Ладно.

— Да смотри, самъ-то не болтай!

— Ну, вотъ еще!

— Не то вихоръ надеру...

Мальчикъ выбѣжалъ. Трифонъ Иванычъ проводилъ его глазами, заперъ опять въ сундукъ бумагу, чернильницу и перо, пододвинулъ сундукъ подъ кровать, и, упавъ навзничъ на постель, принялся мечтать. Тутъ, почти надъ его кроватью, помѣстились двѣ ласточки и начинали свивать себѣ гнѣздышко. Онѣ таскали въ своихъ носикахъ глину, соломенки, волоски и все это лѣпили къ одной изъ рѣшетинъ. Теперь онѣ сидѣ-

ли на жердочкѣ, отдыхали и въ то же время любовно щебетали. Трифонъ Иванычъ смотрѣлъ на нихъ и мечталъ о своемъ собственномъ гнѣздышкѣ. Часа два промечталъ онъ, навзничъ лежа на своей кровати, и словно обмеръ; только изрѣдка вырывавшіеся вздохи говорили, что онъ живъ. Наконецъ мальчуганъ вернулся.

— Ну?—вскрикнулъ Трифонъ Иванычъ и мгновенно вскочилъ на ноги.

— Сбѣгалъ!—отвѣтилъ мальчикъ.

— Ну?

— Приказали сказать, что безпремѣнно будутъ-съ.

— Въ семь часовъ?

— Въ семь.

— Безпремѣнно?

— Безпремѣнно, говорятъ, безпремѣнно, —клянйся!

Трифонъ Иванычъ прогналъ мальчугана, бросился снова на кровать и радостно замолотилъ ногами по тюфяку...

Въ седьмомъ часу, когда вся семья помѣщика сидѣла на балконѣ и, вдыхая благоухающую прохладу вечера, пила чай, Трифонъ Иванычъ подошелъ къ барину.

— Дозвольте, сударь, ко всенощной!—солгалъ онъ.

— Что это, братецъ, какое богомолье напало?—вскрикнулъ баринъ.

— Не былъ давно-съ... Совѣстно даже...

— Ступай.

Трифонъ Иванычъ поблагодарилъ барина и въ ту-же секунду бросился на чердакъ. Тамъ онъ опять отперъ свой сундукъ, вынулъ лучшую пару, шелковый жилетъ, галстукъ съ готовымъ бантомъ, лайковые штиблеты и часы съ цѣпочкой. Онъ хотѣлъ было захватить съ собою свой са-

фьянный бумажникъ, хранившійся все въ томъ-же сундукъ, въ особой шкатулочкѣ, запрятанной на самое дно, но раздумалъ и снова залеръ сундукъ.

Одѣлся онъ живо... Онъ напوماдилъ слегка волосы, попрыскалъ на себя духами, которые какъ-то стащилъ у барина, надѣлъ шляпу и, взявъ въ руки гибкую тросточку, слѣзъ съ чердака. Онъ былъ видимо взволнованъ. Сердце его билось ускоренно, ноги дрожали и дыханіе спиралось въ груди. Когда онъ очутился на дворѣ, онъ оглянулся во всѣ стороны, и убѣдился, что за нимъ никто не слѣдитъ, направился въ лѣсъ, на то мѣсто, гдѣ онъ утромъ удилъ рыбу и куда теперь должна была придти Марья Павловна.

Трифонъ Иванычъ пришелъ на мѣсто свиданія цѣлымъ полчаса раньше назначеннаго времени. Но онъ сдѣлалъ это не безъ цѣли. Ему необходимо было оправиться отъ овладѣвшаго имъ волненія, сосредоточиться, собраться съ мыслями и хоть сколько-нибудь обдумать планъ дѣйствій. Но волненіе, какъ нарочно, не покидало его. Сердце его попрежнему билось ускоренно, дыханіе спиралось, онъ попрежнему дрожалъ и никакого плана придумать не могъ. А между тѣмъ объясненіе предстояло нелегкое. Оно было нелегкимъ, во-первыхъ, потому, что Трифонъ Иванычъ былъ все-таки женатымъ, хотя съ женой и не жилъ; во-вторыхъ, потому, что у него были двѣ дочери, а въ третьихъ, и потому, что, будучи сорока пяти лѣтъ, онъ какъ-то отвыкъ отъ любовныхъ объясненій. Но все это не такъ еще беспокоило Трифона Иваныча, какъ беспокоилъ его собственный носъ. Носъ у него былъ дѣйствительно необыкновенный: круглый, синій, и съ какими-то бородавками; въ немъ не было даже ничего похожего на носъ; онъ даже не походилъ на носы животныхъ,

какъ это бываетъ у иныхъ людей, а просто имѣлъ видъ какой-то картофелины, случайно приросшей къ его лицу. Трифонъ Иванычъ робѣлъ и съ нетерпѣніемъ ждалъ сумерекъ...

А Маша пришла на свиданье вся убранная цвѣтами, какъ сама весна. Трифонъ Иванычъ взглянулъ и замеръ... Это была роскошная, полная дѣвушка лѣтъ тридцати, съ красными, пылавшими щеками, съ колыхавшеюся высокою грудью и тяжелой косою, спускавшеюся чуть не до пятъ. На ней былъ малороссійскій костюмъ, и костюмъ этотъ рельефно обрисовывалъ роскошныя формы дышащей здоровьемъ красавицы... И формы эти ошеломили Трифона Иваныча...

Наконецъ онъ немного оправился.

— Марья Павловна, — заговорилъ онъ, незамѣтно поднося къ носу платокъ, какъ-бы упиваясь запахомъ духовъ: — Марья Павловна! Рана, давно таившаяся въ моемъ сердцѣ, скрывавшаяся въ глубинѣ души моей...

Но Марья Павловна строго перебила его.

— Вы, пожалуйста, — проговорила она, — эти пустилки выбросьте вонъ изъ головы. Вы, кажется, совсѣмъ о другомъ писали мнѣ... о своихъ дочеряхъ...

Оборотъ этотъ не понравился Трифону Иванычу, но откашлявшись, онъ все-таки проговорилъ:

— Такъ точно-съ.

— Такъ вотъ объ нихъ и будемъ говорить, — порѣшила Марья Павловна. — Вы чему-же желаете обучать ихъ? — спросила она.

— Рукодѣлю, Марья Павловна.

Марья Павловна разостлала на землю платокъ и сѣла. Трифонъ Иванычъ сдѣлалъ то-же самое.

— А имъ который годъ? — спросила она опять.

— Старшей девять-съ, а младшей восемь...

— Да, это самое время начинать, — замѣтила

она, и немного помолчавъ, прибавила:—Только... какъ-же это устроить... Вы знаете... вѣдь я при мѣстѣ... при должности нахожусь...

— Марья Павловна!—чуть не вскрикнулъ Трифонъ Иванычъ:—развѣ нельзя оставить это мѣсто!... Для своихъ дѣтей я ничего не пожалѣю... Вѣдь они у меня словно сироты, такъ нешто я ихъ заброшу-съ?... Достаточно и того, что мать родная ихъ бросила! А я себя до этого не допущу и очень хорошо понимаю, какъ мнѣ поступить. Звѣрь, и тотъ своихъ птенцовъ не покидаетъ, а даже, напротивъ, къ своему ремеслу приучаетъ, а вѣдь во мнѣ душа есть. И я такъ размышляю: чѣмъ вамъ при этомъ теперешнемъ вашемъ мѣстѣ находиться и разные барскіе капризы исполнять, не пріятнѣе-ли особую квартирку имѣть?—Къ примѣру, у нашего дьячка... У него какъ есть цѣлая половина флигеля пустуетъ-съ, и онъ отдастъ ее съ великимъ даже удовольствіемъ. Передъ окнами палисадничекъ, цвѣтничекъ можно разбить-съ... Комнатки тоже самое чистенькія... допустимъ, что крошечныя, да вѣдь ихъ отдѣлать повеселѣе и тогда жить можно какъ угодно-съ! Обойцами веселенькими оклеить, занавѣсочки, картиночки... Въ первой комнаткѣ у васъ прихожая была-бы... вѣшалочку прибили-бы... Во второй зальца... диванчикъ, креслица; а за перегородочкой спальню-бы устроили... окно заколотили-бы и мухи-бы не беспокоили... А для своихъ дѣвчонокъ я-бы машину швейную купилъ-бы... И стали-бы мои дѣвочки каждый день приходять къ вамъ, а я-бы радовался, что все-таки онѣ къ работѣ приучаются, а не зря по улицамъ вѣшаются...

А Марья Павловна сидѣла съ опущенными глазами, слушала, крутила фартукъ и хоть-бы слово проронила... Только грудь ея, готовая, ка-



жется, выскочить изъ стѣснявшаго ее костюма, словно заколыхалась и заволновалась... Трифонъ Иванычъ замѣтилъ это и пріосанился. Онъ пододвинулся еще ближе и заговорилъ съ воодушевленіемъ:

— Марья Павловна! Мои дѣвочки мнѣ дороги, я на все готовъ-съ... Я рѣшился!.. Таперича вы отъ своей барыни семь рублей получаете-съ... такъ вѣдь, кажется?

— Осьмушку чаю и фунтъ сахару,—добавила Марья Павловна.

— Такъ точно-съ. А я десять рублей дамъ-съ и этого самаго чаю кушайте сколько вамъ угодно-съ, хоша-бы самоваръ цѣлый день кипѣлъ!... Дьячиха вамъ будетъ обѣдъ готовить и вся провизія моя-съ. Марья Павловна! вѣдь я отецъ своимъ дѣтямъ... Я за нихъ отвѣчать долженъ!... Такъ неужто-же я допущу себя до того, чтобы мнѣ за нихъ и вдругъ глазами хлопнуть?! Я этого не допущу-съ, а напротивъ, всячески стараться готовъ не конфузить себя, а, напротивъ того, благодарность заслужить-съ.

И затѣмъ, немного помолчавъ и страстно взглянувъ на Марью Павловну, все еще сидѣвшую съ опущенными глазами, онъ прибавилъ какимъ-то дрожащимъ голосомъ:

— Конечно, Марья Павловна, можетъ быть у васъ соображенія другія... можетъ быть, замужъ желаете, какъ другія прочія барышни... Только этого рекомендовать не могу-съ, такъ какъ при обыкновенномъ бракосочетаніи вся эта любовная эссенція пропасть должна. Самъ на своей собственной шкурѣ испыталъ это-съ. Какъ ужъ, кажется, влюбленъ былъ, по ночамъ отъ волненія рубахи на себѣ раздиралъ... А какъ повѣнчались, какъ только этотъ медовый мѣсяцъ честь-честью проводили, такъ и пошло все хуже, ху-

же и хуже!... А года четыре спустя достигли такихъ результатовъ, что ни я на нее смотрѣть не могъ, ни она на меня!...

Тѣмъ временемъ солнце опускалось уже за горизонтъ и весь лѣсъ наполнился неуловимыми тѣнями. Гладь рѣки горѣла яркимъ багрянцемъ и прозрачный туманъ колебался надъ ея поверхностью. Мелкая рыбка выскакивала, на поверхность воды и словно серебряная монета мелькала на солнцѣ. Съ села доносился глухой ревъ стада, отдаленное блеяніе овецъ... гдѣ-то въ лугахъ трещаль коростель... Воздухъ былъ полонъ ароматовъ. Тихо шепталъ прибрежный камышъ... Шепталъ вмѣстѣ съ нимъ и влюбленный Трифонъ Иванычъ.

— Что же, что-же?— шепталъ онъ.

А Марья Павловна сидѣла и все молчала. Только грудь ея волновалась какъ-то еще быстрѣе, да яркій румянецъ еще пуще разгорѣлся на ея щекахъ... Онъ придвинулся ближе... его плечо коснулось ея плеча и дрожь пробѣжала по его тѣлу... Онъ прижался къ ней, обнявъ дрожавшую рукою ея станъ и, прильнувъ губами къ ея плечу, затрепеталъ, какъ трепетала та осинка, возлѣ которой они сидѣли...

## II.

Наступило лѣто... Благоухающую, влажную теплоту весны смѣнилъ душливый и сухой лѣтній зной. Въ воздухѣ стояла пыль и мгла; пахло гарью и солнце горѣло въ этой мглѣ, какъ раскаленное безлучное ядро. Молчавшая дотолѣ рѣка огласилась крикомъ и хохотомъ купающихся. Запыленный лѣсъ стоялъ неподвижно, и банная духота разливалась въ его листьѣ. Сочные, пестрѣвшіе цвѣтами луга давно были скошены и хрупкое сѣно

сметано въ стога. Весеннія болота пересохла, иловатое дно ихъ потрескалось и словно было устланно битыми черепками. Птицы умолкли, попрятались; и только одни воробьи шумно чирикали, перелетая стайками съ мѣста на мѣсто и купаясь въ горячей пыли. Духота стояла невыносимая; цѣлый мѣсяць не было ни капли дождя. Народъ упалъ духомъ, и то, что посулила ему благодатная весна, отнимало знойное лѣто. Попу не давали отдохнуть: его возили по полямъ, „поднимали“ образа и молились о дождѣ. А дождя все не было.

Жарко было и Марьѣ Павловнѣ. Окна ея новой квартиры въ домѣ дьячка были постоянно закрыты ставнями, и полумракъ, пронизываемый золотыми струнами проникавшаго сквозь щели солнца, царилъ въ ея комнатахъ. Только по вечерамъ, когда наступала прохлада, ставни растворялись, комната освѣщалась лампой, и только тогда, объ эту пору, можно было видѣть счастливую и довольную Марью Павловну. Въ эту пору она обыкновенно сидѣла за самоваромъ, и въ эту же пору являлся къ ней счастливый и довольный Трифонъ Иванычъ. Онъ словно помолодѣлъ за это время. Хмурое лицо его словно оживилось, на губахъ играла вѣчная улыбка, глаза горѣли огнемъ, и даже носъ и тотъ словно поблѣднѣлъ и похорошѣлъ. Трифонъ Иванычъ каждый вечеръ навѣщалъ Марью Павловну; пилъ вмѣстѣ съ нею чай, ужиналъ и катался какъ сыръ въ маслѣ. Зато какъ только наступало утро и какъ только раскаленное солнце выползало изъ-за горы, заслонявшей собою востокъ, такъ ставни снова затворялись и снова полумракъ тщательно оберегался въ комнатахъ. Цѣлый день Марья Павловна ходила въ легкихъ распашенкахъ и, утомленная жаромъ, лѣниво занималась дочерьми Трифона Иваныча. Тѣмъ не менѣе, однако, дѣвочки аккуратно являлись къ ней, спи-

вали какіе-то лоскуты, что-то рѣзали ножницами, и когда даже и это утомляло Марью Павловну, онѣ уходили въ палисадникъ и поливали цвѣты... Нечего говорить, что Трифонъ Иванычъ чуть не дышалъ на нее, смотрѣлъ ей въ глаза, по глазамъ этимъ читалъ ея желанія, предупреждалъ ихъ и только страшился одного — измѣны... Но онъ боялся говорить съ нею объ этомъ и только иногда въ письмахъ упоминалъ о своемъ опасеніи. Однажды онъ писалъ ей: „Одно я вамъ скажу, что я за всякимъ вашимъ шагомъ, за всякимъ вашимъ движеніемъ слѣжу и буду слѣдить...“ Но Марья Павловна подняла его на смѣхъ, обругала ревнивцемъ, и Трифонъ Иванычъ успокоился, но ненадолго... Онъ все боялся, что Марья Павловна покинетъ его, измѣнитъ ему, и онъ опять писалъ ей: „Вѣдь я кажица никакой нибусть уротъ и черты моего лица нѣтъ противнаго, если одно только есть, нѣкоторый бѣлый волосъ, то я по матери пошелъ, у ней двадцати-двухъ-лѣтъ голова была сѣдая, а другая часть лица, то это временно, потому что былъ укушенъ жаломъ пчелы“. Но Марья Павловна успокоила его и насчетъ этого, и Трифонъ Иванычъ былъ счастливъ. Онъ не жалѣлъ ничего, лишь-бы только угодить ей. Онъ оклеилъ комнаты дешевенькими, но миленькими обоями, повѣсилъ на окна кисейныя занавѣсочки, купилъ обитый ситцемъ мягкій диванъ, такія-же четыре кресла, столъ переддиванный, комодъ и простѣнное зеркало. Стѣны онъ украсилъ картинками и даже повѣсилъ свой портретъ рядомъ съ портретомъ Марьи Павловны. За перегородкой, единственное окно которой не растворялось даже и по вечерамъ въ предупрежденіе отъ мухъ, была спальная, и все, что только требовалось для полнѣйшаго комфорта этой комнаты, все было приобрѣтено. Пуховикъ и подушки чуть не достига-

ли до потолка, а кисейный пологъ съ розовыми бантами живописно драпироваль кровать. За покупкой всего этого Трифонъ Иванычъ ѣздилъ въ городъ вмѣстѣ съ Марьей Павловной. Цѣлыхъ два дня они пробыли въ городѣ, ходили вмѣстѣ по лавкамъ, по магазинамъ, по модисткамъ и до того увлеклись этимъ дѣломъ, что чуть было не забыли про швейную машину, необходимую для обученія дочерей Трифона Иваныча. Они уже выѣхали изъ города, какъ вдругъ вспомнили объ этомъ и вернулись, чтобы купить машину.

Несмотря однако на столь нѣжныя отношенія, установившіяся между Марьей Павловной и Трифономъ Иванычемъ, они все еще продолжали говорить другъ другу „вы“.

— А вотъ я вамъ, Марья Павловна, гостинчикъ принесъ, проговорить бывало Трифонъ Иванычъ, и нѣжно улыбаясь, преподноситъ ей то апельсинъ, то блюдечко съ земляникой, то душистую, сочную канталупу.

Рѣдко приходилъ онъ къ ней съ пустыми руками.

Разъ какъ-то баринъ обратился къ нему.

— Что это, братецъ, проговорилъ онъ, — у меня какъ будто флаконъ съ духами пропалъ?

— Не могу знать-съ.

— Ужъ не Андрюшка-ли?.. Ты, братецъ, понаблуди-ка за нимъ... а?

— Слушаю-съ.

— И мыла одного куска нѣтъ...

— Завалилось, можетъ быть, куда-нибудь...

— Нѣтъ, ты понаблуди-ка... А потомъ доложи...

— Слушаю-съ.

Наконецъ, народъ добился-таки себѣ дождя... Съ полудня начали набѣгать облачка, а часамъ къ четыремъ въ „гниломъ углу“ небосклона (такъ прозвалъ народъ юго-западъ) показалась свинцо-

вая туча. Туча эта постепенно росла, темнѣла и часамъ къ пяти вечера загородила собою весь западъ. Словно гора какая-то выросла она и рѣзкимъ чернымъ откосомъ сползала къ югу. Засновали ласточки, чуть не касаясь земли; встрепенулись грачи и съ крикомъ закружились надъ лѣсомъ... Налетѣлъ вихорь, собралъ съ улицы сухой навозъ, щепки, тряпки, бумажки, и, втащивъ все это въ себя, помчался въ поле... Шумно пролетѣла стайка воробьевъ, круто шарахнулась въ сторону и уткнулась въ ометь соломы. Солнце закатилось за тучу, обагрило ея края, и преждевременныя сумерки затопили окрестность. Стало прохладно... Дьячекъ растворилъ ставни, и Марья Павловна распахнула окно... Пришелъ Трифонъ Иванычъ и, закуривъ благовонную регалию, которую стащилъ у барина, подсѣлъ къ окну. Цвѣтничекъ словно ожилъ: мирабилисы развернули свои чашечки и насыщали воздухъ ароматомъ; высокія штабы махровой мальвы, плотно унизанныя цвѣтами, замаскировывали загородъ палисадника... Вдалекѣ гремѣлъ громъ и гулко потрясалъ землю... Изрѣдка вспыхивала молнія, и черная туча словно мигала огненными глазами... Все притихло, притаилось и замерло... Даже пыль на улицѣ, и та улеглась; и какъ пролетѣвшій вихорь извертѣлъ ее ивернями, такъ эти иверни и остались... Но тишина эта продолжалась недолго. Налетѣлъ вѣтеръ, порывистый, сильный, пригнулъ мальвы, сбросилъ съ забора дьячковскую жилетку и, хлопнувъ ставней, разбилъ окно. Марья Павловна вскрикнула даже. Въ воздухѣ что-то задрожало, загремѣло и туча повисла надъ селомъ... Мелькнула молнія разъ, другой, третій, и громъ загрохоталъ...

— Вы, Трифонъ Иванычъ... — начала было Марья Павловна, но блеснула молнія, треснулъ громъ,

и Марья Павловна съ крикомъ закрыла лицо руками... А вслѣдъ за молніей посыпался дождь — рѣдкій, но крупный какъ жемчугъ, забарабанилъ по стекламъ, по широкимъ листьямъ мальвъ... Мелькнула еще молнія, комната словно вспыхнула, прокатился громъ — и рѣдкій, крупный дождь превратился въ ливень.

Всю ночь лилъ онъ и только къ свѣту пересталъ, обильно смочивъ потрескавшуюся отъ зноя землю. Утро было превосходное, блестящее и теплое... Народъ словно ожилъ... Случился воскресный день, и все село, разодрѣвшись по праздничному, густыми толпами хлынуло въ церковь. Отправилась туда-же и Марья Павловна... Ей хотѣлось больше всего щегольнуть нарядами, и она надѣла на себя лучшее свое платье. Платье это было кисейное, шитое по послѣдней модѣ и обильно украшенное лентами и кружевами. Она стянулась даже въ корсетъ, почему роскошная грудь ея сдѣлалась еще роскошнѣе и только кружевное „модести“ слегка затушевывало ее сверху легкой дымкой. Чтобы не помять и не запачкать платья, она стала на лѣвомъ клиросѣ.

Марья Павловна была въ какомъ-то особенномъ молитвенномъ расположеніи и потому не отрывала глазъ отъ иконъ. Она такъ была увлечена молитвой, что даже не замѣтила, какъ пропѣли „Херувимскую“. Только когда дьячекъ, протянувъ „отложимъ попеченіе“, изсякалъ дребезжавшей октавой, а дьяконъ бокомъ выступалъ изъ сѣверныхъ дверей алтаря, она догадалась, что это былъ „великій выходъ“, и поспѣшила опуститься на колѣни.

Опускаясь, она нечаянно взглянула на правый клиросъ и вдругъ зардѣлась румянцемъ. На клиросѣ, и тоже преклонивъ колѣна, стоялъ какой-то юный брюнеть, кудрявый, съ розовыми щеками,

черными влажными глазами и чуть пробивавшимися усиками. Юношу этого Марья Павловна никогда еще не встрѣчала и не знала, кто онъ такой: но взгляды ихъ встрѣтились и она переконфузилась... Послѣ „выхода“, когда дьяконъ, встрѣчая въ царскихъ вратахъ священника, пробасилъ говоркомъ: „священство твое да помянетъ Господь Богъ“... она, вставая, опять взглянула на юношу, и опять взгляды ихъ встрѣтились... — „Нахаль!“ подумала Марья Павловна, и надувъ губки, рѣшила на правый клиросъ больше не смотрѣть. Однако, подходя къ кресту, они какъ-то сошлись, и черные влажные глаза юноши опять-таки мелькнули въ смущенныхъ глазахъ Марьи Павловны. — „Баранъ!“ подумала Марья Павловна и на этотъ разъ уже не на шутку разсердилась на этого неизвѣстнаго ей „курчаваго барана“.

Изъ церкви возвращалась она вмѣстѣ съ дьячкомъ. „Баранъ“ опять подвернулся и, увидавъ дьячка, подлетѣлъ къ нему фертомъ.

— Константину Ивановичу! — крикнулъ онъ, метнувъ своими глазищами на Марью Павловну.

— Здравствуйте! Помолились? — спросилъ дьячекъ.

— Помолился-съ, славу Богу! Только ужъ очень много барышенъ у васъ хорошенькихъ-съ: глаза разбѣгаются!

И проговоривъ это, онъ обогналъ дьячка и, какъ ястребъ, козырнулъ въ толпу разодѣтыхъ бабъ и дѣвокъ.

— Здравствуйте, дѣвушки красныя, молодушки распрекрасныя! — раздавался его голосъ; — наше вамъ нижайшее! Не будетъ ли вашего желанія принять меня въ компанію?

Раздался хохоть, визгъ, и „баранъ“ словно утонулъ въ морѣ красныхъ головъ.

— Баранъ, какъ есть баранъ, — проворчала



Марья Павловна, и немного погодя, спросила дьячка:—это кто такой?

— А это нашъ кабатчикъ новаго сидѣльца себѣ нанялъ.

Это былъ въ полномъ смыслѣ слова деревенскій ловеласъ. На немъ была тонкаго сукна поддевка, надѣтая на распашку, ситцевая рубаха навывпускъ и плисовые штаны, заправленные за голенища щегольскихъ сапогъ съ лаковыми отворотами и мѣдными подковками на высокихъ каблукахъ. Въ лѣвомъ ухѣ блестѣла сережка, на пальцѣ серебрянное кольцо, а фуражка, ухарски надѣтая на бекрень, чуть держалась на топырившихся черныхъ кудряхъ. Марья Павловна глазъ не сводила съ этой фуражки, метавшейся среди красныхъ платковъ деревенскихъ красавицъ, и какъ-то презрительно улыбалась.

А дома ждалъ ее Трифонъ Иванычъ.

— Съ праздникомъ, Марья Павловна,—говорилъ онъ, нѣжно улыбаясь и подавая ей цѣлый пакетъ только-что испеченныхъ сухарей.

Она была не въ духѣ.

— Это еще что такое?—спросила она.

— Сухариковъ къ чаю принесъ—отвѣтилъ онъ.

— У господъ стянули?

— Можетъ и за вами, Марья Павловна, этотъ самый грѣшокъ водился!—замѣтилъ Трифонъ Иванычъ, шаловливо подмигнувъ глазомъ.

— Извините-сь, никогда!—перебила его Марья Павловна.— Точно, — прибавила она съ достоинствомъ, — барынины сорочки носила, не скрываюсь, а чтобы воровать—никогда!

Однако, сухари очень ей понравились, и она скушала ихъ съ удовольствіемъ.

— Мерси васъ!—проговорила она, вставая изъ-за чайнаго стола.

Прошло дня два, Марья Павловна отправилась

какъ-то гулять. Она пошла по направленію къ лѣсу и на самой его опушкѣ встрѣтилась съ „бараномъ“. Онъ раскланялся съ нею какъ съ знакомой, однако нислова не сказалъ и прошелъ мимо. — „Свинья!“ — подумала Марья Павловна и продолжала идти. Но прежде чѣмъ углубиться въ лѣсъ, она оглянулась. „Баранъ“ стоялъ подбоченясь и смотрѣлъ на нее... — „Какъ есть свинья!“ — порѣшила Марья Павловна и больше уже не оглядывалась.

Нѣсколько дней спустя она опять отправилась въ лѣсъ, и — опять „баранъ“. Только на этотъ разъ онъ съ нею раскланялся и тотчасъ-же вступилъ въ разговоръ.

— Гулять изволите? — спросилъ онъ ее.

— Какъ видите — отвѣтила Марья Павловна съ достоинствомъ.

— День понича даже очень хорошій-съ, можно сказать.

— Ничего...

— Дозволите сопутствовать-съ?

— Какъ хотите... дорога не для меня одной проложена.

— Слушаю-съ.

И они пошли вмѣстѣ. „Баранъ“ велъ себя сдержанно, говорилъ деликатно, почтительно, и это понравилось Марьѣ Павловнѣ. Изъ его разсказа она узнала, что онъ мѣщанинъ, что зовутъ его Гавриломъ Миронычемъ, что прошлый годъ былъ на призывѣ, но вынулъ счастливый нумеръ, и что теперь уже солдатчины не боится; онъ признался ей, что сидѣльцемъ онъ сдѣлался поневолѣ, собственно ради куска хлѣба, но что пламенное желаніе его — открыть трактирное заведеніе съ продажей питей распивочно и сдѣлаться хозяиномъ этого трактира; чтобы въ трактирѣ имѣлся, конечно, билліардъ, иллюстрированная газета „Нива“

и при этомъ хоть какая-нибудь „лядащая шарманка“. Въ яркихъ краскахъ расписалъ онъ ей всю выгоду такого заведенія, скорую и вѣрную наживу и, въ концѣ концовъ, даже немножко прослезился, сокрушаясь о неимѣнии достаточнаго капитала къ осуществленію этой операціи.

Прогуляли они довольно долго. „Баранъ“ проводилъ Марью Павловну до дома, даже подхватилъ ее подъ руку, когда та начала подниматься на ступени крыльца, и затѣмъ, вѣжливо раскланявшись, пошелъ своей дорогой.

О прогулкѣ этой Марья Павловна ни слова не сказала не только Трифону Иванычу, но даже и никому другому; она была очень довольна, что никто не былъ свидѣтелемъ этой прогулки и что никто не видалъ его проводовъ. Зато послѣ этой прогулки Марья Павловна сдѣлалась до того любезною и обворожительною по отношенію къ Трифону Ивановичу, что положительно привела его въ восторгъ. И дѣйствительно, она какъ-то и помолодѣла, и похорошѣла. Она перестала затворять свои ставни, перестала ходить въ своихъ распашенкахъ, по цѣлымъ днямъ валяться на диванѣ, и даже съ какимъ-то особеннымъ рвеніемъ и любовью принялась за обученіе вѣранныхъ ея попеченію дѣвочекъ. Швейная машина непрерывно трещала въ ея квартирѣ, и дѣвочки почти весь день сидѣли за работой. Разъяснивъ имъ, что именно онѣ должны были стачать и подрубить, она садилась къ окну и принималась за чтеніе Монтепэна. Она успѣла уже за это время прочесть „Алису“, „Двоеженца“ и теперь принималась за „Дѣтей ада“. Излишне говорить, что всѣ эти книги ей приносилъ заботливый Трифонъ Иванычъ, а тотъ, въ свою очередь, получалъ ихъ изъ рукъ своего барина, очень старавшагося о распространеніи въ народѣ романовъ Монтепэна.

— Романы эти,—говорилъ онъ Трифону Ивану, —облагородятъ твой умъ и возвысятъ тебя до пониманія изящнаго.

Занялась Марья Павловна и своимъ цвѣтничкомъ. Она тщательно прополола его, болѣе высокія растенія подвязала къ колышкамъ, а стелющіяся изящно разложила по бордюру. Мальвы продолжали цвѣсти роскошно... Когда Трифонъ Иванычъ увидалъ этотъ цвѣтничекъ, приведенный въ порядокъ пухленькими ручками его „милашки“, онъ даже растаялъ отъ удовольствія. Онъ прикладывалъ свой сизый носъ то къ одному, то къ другому цвѣточку, вдыхалъ въ себя его аромат и отъ умиленія зашуривалъ глаза.

Но вотъ онъ пришелъ какъ-то къ ней мрачный и недовольный.

Она выбѣжала встрѣчать его въ сѣни и, увидавъ его, всплеснула руками.

— Что съ вами, Трифонъ Иванычъ? — вскрикнула она.

Но онъ молча вошелъ въ комнату. Увидавъ, что его дѣвочки усердно занимались работой и что старшая строчила на машинѣ какую-то машинку, онъ выгналъ ихъ вонъ и молча опустился въ кресло.

— Что съ вами?—повторила Марья Павловна.

— А то, что этотъ дьяволъ-то въ городъ собрался...

— Какой дьяволъ?

— Да баринъ-то! Я было навралъ ему:— „поясница, молъ, болитъ, сударь!“—А онъ мнѣ на это:— „и отлично, говоритъ, съ докторомъ посоветуешься“.

— А надолго?—спросила Марья Павловна.

— А чортъ его знаетъ! На недѣлю, говоритъ.

И дѣйствительно, на другой-же день Марья Павловна, занимавшаяся подъ трескъ машины чте-

ніемъ „Дѣтей ада“, вдругъ была испугана громомъ экипажа. Она подбѣжала къ окну и увидѣла промчавшійся тарантасъ. Въ тарантасѣ, на грудѣ подушекъ, сидѣлъ баринъ, а на козлахъ, рядомъ съ кучеромъ, Трифонъ Иванычъ. Онъ мрачно заглянулъ въ окна, и густыя брови его сурово сдвинулись.

А погода между тѣмъ стояла до того роскошная, что Марья Павловна почтикаждый вечеръ ходила гулять. Она ходила въ лѣсъ, въ поле... И въ лѣсу, и въ полѣ было одинаково хорошо: въ лѣсу разливался запахъ грибовъ, а въ полѣ цвѣла рожь и насыщала воздухъ тонкимъ ароматомъ печенаго хлѣба. Марья Павловна, впрочемъ, долго не могла разобратъ, чѣмъ это пахнетъ въ полѣ, и только внимательно принявшись, она подыскала это сходство запаха. Дѣйствительно, пахло ржанымъ хлѣбомъ.

Иногда, во время этихъ прогулокъ, она встрѣчалась съ „бараномъ“. Онъ попрежнему былъ сдержанъ, почтителенъ и почти каждый разъ толковалъ о трактирчикѣ, о билліардѣ, и съ каждымъ разомъ черные какъ уголь глаза его съ голубоватыми бѣлками, длинными черными рѣсницами разгорались все сильнѣе и сильнѣе... Но однажды, гуляя въ лѣсу съ Марьей Павловной во время сумерекъ, онъ словно взбѣсился... Ни слова не говоря, обнялъ Марью Павловну, да такъ и впился своими пухлыми розовыми губами прямо въ ея губы... Марья Павловна готова была на куски растерзать его за это нахальство, но онъ упалъ передъ нею на колѣни, схватилъ ея руки и молилъ о прощеніи. Она взглянула на эти черные глаза, на эти кудри, завитыя кольцами, на это юное лицо, полное страсти, на эту грудь высокую, мощную — и не устояла, простила! И долго еще шаги ихъ раздавались по лѣсу, и долго еще влюбленный шопотъ ихъ вторилъ шелесту

окутанныхъ мракомъ деревьевъ. Наконецъ они простились.

— Только ты меня не провожай! — воскликнула Марья Павловна.

— Слушаю-сь... Я тутъ прямо черезъ рѣчку, вплавъ — проговорилъ „баранъ“.

— То-то, чтобы никто не зналъ, не видалъ.

— Будемъ поберегаться, Марья Павловна.

— А вотъ сюда, въ лѣсъ, — это ты приходи почаще...

— Съ великимъ удовольствіемъ; только главная причина — не всегда я свободенъ-сь...

— А когда можно-то?

— Съ прекращеніемъ торговли къ вашимъ услугамъ-сь.

— Это значить часовъ въ одиннадцать вечера? — спросила Марья Павловна.

— Около этого-сь.

Она задумалась.

— Не подходитъ-сь? — спросилъ „баранъ“.

— То-то и горе...

— Трифонъ Иванычъ, должно, предятствуютъ-сь?

— Да, чай пить приходитъ онъ объ эту пору...

— Такъ опосля чаю не угодно-ли-сь?

Марья Павловна возвратилась домой одна. Она весело вбѣжала въ комнату, и сбросивъ съ себя накидку и шляпку, принялась зажигать лампу; а какъ только лампа была зажжена, такъ съ улицы послышался шумъ экипажа. Она взглянула въ окно и во мракѣ ночи успѣла разглядѣть знакомый тарантасъ.

Такъ прошло лѣто...

### III.

Съ наступленіемъ осени, страсти Трифона Иваныча начали значительно остывать. Онъ какъ-то

рѣже сталъ навѣщать Марью Павловну, а когда и приходилъ, то какъ-то все хмурился и охаль. Онъ даже жалованье платилъ ей не такъ аккуратно, какъ прежде. Разъ какъ-то Марья Павловна, въ виду наступившей осени, попросила его купить ей толстое драповое пальто и глубокия калоши. Онъ обѣщалъ, но на другой же день прислалъ ей записку, въ которой писалъ слѣдующее: *Я сознаю, что сухая ложка ротъ деретъ, а ее какъ помочишь во щажъ и всушу, тогда она хотко пойдетъ, ну а всегки и противъ это скажу: невозможна, чтобы и ложка постоянно была бы во щажъ, вотъ я вамъ объясню, невозможна вамъ дѣлать, что вы захотите, а могу откровенно сказать по возможности моей што только могу и чемъ только возможна, темъ пособлю.* Марья Павловна въ клочки разорвала эту „дурацкую“ записку, но все-таки добилаь, что Трифонъ Иванычъ купилъ ей и пальто, и калоши. Отношенія его къ Марьѣ Павловнѣ измѣнились до того даже, что онъ пересталъ таскать у барина сухари, мыло, духи и зачастую приходилъ къ ней съ пустыми руками. Причиною этого охлажденія была, во-первыхъ, дождливая, сырая погода, грязь и слякоть, мѣшавшіе ему съ прежнею аккуратностью совершать свои эротическія экскурсіи, а во-вторыхъ, и здоровье. Съ наступленіемъ осени онъ снова почувствовалъ и ломоту въ ногахъ и „затрудненіе“ въ поясицѣ. Ноги онъ натиралъ „универсальной мазью Иванова“, а къ поясицѣ ставилъ банки. Мазью онъ рассчитывалъ „разбить кровь“, а банками „оттянуть ее“; но кончилъ тѣмъ, что весь перепачкался, а все-таки ничего не разбилъ и не оттянулъ, и „затрудненіе“ такъ-таки и осталось затрудненіемъ. Помимо всего этого, прощоголявъ всю весну и все лѣто въ модныхъ лаковыхъ ботинкахъ, онъ себѣ набилъ та-

кія мозоли, что теперь, кромѣ резиновыхъ ка-лошъ, не могъ носить никакой обуви. Да и вообще говоря, все пошло какъ-то не такъ, какъ весной...

Свой чердакъ онъ покинулъ уже давнымъ давно,—одновременно съ той пѣвуньей ласточкой, которая гнѣздилась надъ его кроватью. Теперь Трифонъ Ивановичъ поселился въ небольшой комнаткѣ въ корридорѣ; это была его обычная комната. Въ комнаткѣ этой имѣлась печь съ теплой лежанкой, и Трифонъ Ивановичъ не сходилъ съ нея. вмѣсто ласточки завелся въ углу сверчокъ и монотоннымъ скрипомъ своимъ наводилъ тоску.

Погода стояла отвратительная. Грязныя тучи низко ползли надъ землей, ползли непрерывной вереницей одна за другою и моросили мелкимъ дождемъ. Вѣтеръ тоскливо завывалъ въ трубахъ и хлопалъ печными заслонками. Ненастье это началось съ среднихъ чиселъ августа, помѣшало убрать хлѣбъ съ полей и гноило его въ копнахъ. Народъ опять принялся молиться... Молился, молился, а дождь все не переставалъ! Самъ „ба-тюшка“, и тотъ удивлялся.—„Это удивительно!“ говорилъ онъ и пожималъ плечами. А дождь продолжалъ свое дѣло. Копны проросли, покрылись изумрудной зеленью, и трудно было отодрать одинъ снопъ отъ другого. Вода на поляхъ стояла озерами, дороги сдѣлались непроѣздными и всѣ сообщенія прекратились... Какая ужъ тутъ любовь!.. И Трифонъ Иванычъ заваливался на свою лежанку и закутывался въ свой бѣличій тулупчикъ.

Въ одинъ изъ такихъ-то ненастныхъ дней Трифонъ Ивановичъ вздумалъ провѣрить свои деньги. Онъ выдвинулъ изъ-подъ кровати зеленый сундукъ, окованный жестью, отперъ его, досталъ шкатулочку, и вынулъ изъ шкатулочки засаленный



сафьянный бумажникъ, забрался на свою лежанку и принялся считать. Долго перелистывалъ онъ кредитные билеты, муслилъ пальцы... сосчиталъ разъ, другой, третій и наконецъ остолбенѣлъ въ ужасѣ. Онъ не вѣрилъ самъ себѣ... — „Быть не можетъ!“ — шепталъ онъ, и снова муслилъ пальцы, и снова принимался считать... Онъ даже поблѣднѣлъ весь, задрожалъ и хотѣлъ было тотчасъ-же бѣжать къ Марѣ Павловнѣ, но почему-то раздумалъ, молча заперъ въ сундукъ свою шкатулку съ бумажникомъ и какъ убитый рухнулся на лежанку.

Онъ сказался больнымъ и цѣлыхъ два дня не выходилъ изъ комнаты. Сердобольная барыня нѣсколько разъ навѣщала его, спрашивала о болѣзни; но онъ только моталъ головой и ничего не говорилъ. Заходилъ какъ-то и самъ баринъ, но и ему тоже онъ отвѣтилъ тѣмъ-же мотаніемъ головы... Однако, дня три спустя онъ свѣсилъ ноги съ лежанки, подумалъ немного, и, пославъ сказать барину, что ему требуется сходить къ фельдшеру, принялся одѣваться. Онъ надѣлъ вмѣсто салогъ глубокія резиновыя калоши, натянулъ на плечи старенькій сюртукъ, закутался въ драповое теплое пальто, намоталъ на шею шарфъ, заткнулъ уши ватой и, распустивъ громадный дождевой зонтъ, отправился на село. Однако квартиру фельдшера онъ миновалъ и продолжалъ идти дальше. Дождь лилъ какъ изъ ведра, грязь была по колѣно, и, съ трудомъ вытаскивая изъ нея свои ноги, онъ шелъ и соображалъ: „Нѣтъ, довольно, довольно!.. Такъ и скажу: довольно!.. покорно, молъ, васъ благодарю, а теперь дѣвчатамъ ходить холодно и грязно... довольно!“ И разсуждая такимъ образомъ, онъ добрелъ до дьячковскаго домика. Взобравшись на крылечко, онъ сложилъ зонтъ и скрылся въ сѣняхъ.

Навстрѣчу ему выбѣжала Марья Павловна и бросилась къ нему въ объятія. Она была въ одной юбкѣ, въ какой-то кофточкѣ, и грудь ея была почти обнажена.

— Насилу-то!—вскрикнула она и поспѣшно ввела въ залу.

Тамъ, въ залѣ, дѣвочки Трифона Иваныча стояли передъ корытомъ и рубили капусту. Весь уголъ залы былъ заваленъ еще нетронутыми бѣлыми кочнами.

— А я, какъ видите, хозяйствомъ занимаюсь,—говорила Марья Павловна какъ-то особенно громко и весело.—Вчера огурцы солила, а теперь капусту рубимъ. Нельзя-же!.. Надо о зимѣ подумать!.. А не подумаешь,—продолжала она,—такъ и выдетъ, пожалуй, какъ въ той баснѣ, въ которой про стрекозу да про муравья рассказываютъ... Помните?

— Помню, помню!—проговорилъ Трифонъ Иванычъ.

А Марья Павловна, стоя передъ нимъ, подпрыгивала и, размахивая юбкой, напѣвала: „Ты все пѣла,—это дѣло, такъ ступай-же попляши!..“ И затѣмъ, вдругъ бросившись къ Трифону Иванычу на колѣна и обнявъ его правой рукой, принялась лѣвой ласково похлопывать его по небритой щекѣ. Трифонъ Иванычъ, не ожидавшій подобной выходки, сперва изумился, потомъ ему показалось, что отъ Марьи Павловны пахнуло водкой, и затѣмъ, замѣтивъ направленные на него вдумчивые, изподлобья, взгляды дочерей, онъ поспѣшилъ встать.

— Позвольте-съ, Марья Павловна,—проговорилъ онъ сухо;—извините-съ, у меня ноги болятъ!

И затѣмъ, обратясь къ дочерямъ, онъ нѣжно обласкалъ ихъ, какъ никогда, погладилъ по головкамъ, поцѣловалъ и проговорилъ:

— Шу, дочки, вы теперь одѣвайтесь и домой ступайте.

Потомъ онъ собственными руками одѣлъ ихъ въ какія-то лохмотья, и собственными-же руками повязавъ имъ такими же лохмотьями головки, выпроводилъ домой. Онъ былъ взбѣшонъ нахальной выходкой Марьи Павловны, онъ весь дрожалъ отъ гнѣва, но... возвратясь въ „зальцу“ и увидавъ Марью Павловну, полулежавшую въ креслѣ съ закинутыми подъ голову руками, онъ вдругъ воспламенился животною страстью... Однако онъ сдержался и проговорилъ:

— Марья Павловна, отъ васъ сегодня водкой пахнетъ.

— Да вѣдь вы-же приучили меня!..—отвѣтила та, покачивая ногой.

— Точно-съ! Но, вѣдь это со мной когда въ компаніи.

— Васъ ужъ теперь и не дождешься! А хотите?—спросила она, вскочивъ на ноги.

— Чего это-съ?

— За компанію? У меня есть!

И не успѣлъ Трифонъ Иванычъ глазомъ моргнуть, какъ на столѣ стояла уже и водка, и закуска. Онъ растерялся... Сперва онъ подсѣлъ къ столу какъ-то бокомъ, на уголь стула, не выпускалъ изъ рукъ шалки, все еще хмурился; но выпивъ двѣ-три рюмки, положилъ шапку на столъ, закурилъ папироску, а выпивъ еще, потянулся къ Марьѣ Павловнѣ.

Та даже отскочила отъ него.

— Нѣтъ, нѣтъ,—говорила она, отталкивая его отъ себя;—нѣтъ, вы теперь недобрый; нѣтъ, вы разлюбили меня, надоѣла я вамъ...

— Позвольте-съ!—бормоталъ Трифонъ Иванычъ, шлепая по полу грязными калошами и натываясь на капустные вилки...

— Прежде, бывало, и подарочки,—продолжала

Марья Павловна, увертываясь, — и все такое... а теперь... Нѣтъ, нѣтъ...

— Позвольте-съ...

— Бывало, никогда съ пустыми руками не приходили, а теперь и самихъ-то васъ не вижу. Поджидала, чтобы огурцы вмѣстѣ купить — нѣтъ васъ! Капусту привезли — нѣтъ васъ! Картофель — нѣтъ!.. Безъ дровъ сижу, и опять васъ нѣтъ! Хозяйка за квартиру требуетъ... а гдѣ я возьму? Хотѣла ужъ сама къ вамъ идти, да думаю себѣ: какъ пойдешь? То-ли понравится, то-ли нѣтъ? Съ дѣвочками наказывать, неловко какъ-то!.. Ну, и порѣшила не ходить. Пушай-же, думаю, у него безстыжіе глаза будутъ, а не у меня!

— Позвольте-съ...

Но Марья Павловна не слушала Трифона Иваныча; она упала на диванъ и, закрывъ лицо руками, громко зарыдала.

Трифонъ Ивановичъ сознавалъ, что онъ кругомъ виноватъ.

Только часа въ два ночи онъ возвратился домой. Онъ былъ замѣтно пьянъ, щеки его горѣли румянцемъ, глаза искрились и весь онъ былъ словно олицетворенный символъ блаженства.

Зато утромъ, проснувшись, онъ опять пришелъ въ ужасъ. Онъ даже боялся оторвать голову отъ подушки, боялся вспомнить о вчерашнемъ. Онъ лежалъ и налитыми кровью глазами уперся въ стѣну. Онъ смотрѣлъ на пятно раздавленного клопа, смотрѣлъ на него упорно, продолжительно, и вдругъ это пятно превратилось въ гнѣздо ласточки. Онъ отлично видѣлъ это гнѣздо... Онъ видѣлъ, какъ изъ этой крошечной чашечки высовывалась гляцевитая крошечная головка, ростренькій носикъ, пара безпокойныхъ черныхъ глазокъ, — видѣлъ сдержанный страхъ птички за цѣлость дорогого ей гнѣзда. И вдругъ ему сдѣ-

лалось и обидно, и стыдно... „Да нешто это то, что мы?—думалъ онъ;—вѣдь это Божья птичка, безгрѣшная, чистая... Вѣдь это мать своимъ дѣтямъ!.. Обѣ эти птички—и мать и отецъ—заботятся о своихъ дѣтяхъ... а мы хуже скота послѣдняго!“ И вдругъ, соскочивъ съ лежанки, онъ принялся ходить изъ угла въ уголь.

Вошелъ истопникъ и началъ топить печь.

— Здравствуйте, Трифонъ Ивановичъ!—проговорилъ онъ.

— Здравствуй.

— Все ли въ добромъ здоровьи?

Но Трифонъ Иванычъ даже и вниманья не обратилъ на этотъ вопросъ. Онъ прошелся раза два по комнатѣ и потомъ, вдругъ остановившись передъ истопникомъ, проговорилъ:

— Панкратъ!

— Чего изволите, Трифонъ Ивановичъ?

— Какъ по твоему: человѣкъ—хуже свиньи?

— Какое-жъ сравненіе!—вскрикнулъ истопникъ;—много хуже, Трифонъ Ивановичъ! Куда ему до свиньи! Главная причина,—продолжалъ словоохотливый Панкратъ,—свинья, какъ она родилась свиньей, такъ она свиньей и подохнетъ. А человѣкъ... сами посудите... ангельчикомъ родится, крошечнымъ, безгрѣшнымъ; а какъ въ гробъ—ну, и совсѣмъ ужъ онъ не тотъ! Возьмемъ къ примѣру хоть меня,—продолжалъ онъ:—нешто я такимъ народился? Ничуть не бывало! Я когда родился, то никакихъ за мной провинностей не было... свѣтлая какъ есть душа была... А теперь такимъ мерзавцемъ сдѣлался, что, кажется, въ Сибири мнѣ и то мѣста мало!.. Самимъ вамъ извѣстно! Два раза въ острогъ сидѣлъ, разъ въ арестантскихъ...

— Это правда!—замѣтилъ Трифонъ Ивановичъ.

— Извѣстно, правда.

— Я тоже такой...

— Тоже?—обрадовался истопникъ;— ну вотъ, вотъ...

— Когда я жилъ на чердакѣ, — продолжалъ Трифонъ Иванычъ, — надъ кроватью у меня ласочка гнѣздо свила, и все лѣто я смотрѣлъ за нею. Видѣлъ, какъ она гнѣздышко слѣпила, какъ яички снесла, какъ дѣтей высидѣла, какъ выкормила ихъ и какъ потомъ летать приучила. Не повѣришь ли, все-то лѣто провозилась она съ ними, да не одна, и самецъ тоже самое... все лѣто минуты отдыха не знали...

— А вотъ ваши-то дѣвчонки, — перебилъ его истопникъ, — чуть не нагишомъ бѣгаютъ.

— Вѣрно!

— Вы вотъ на теплой лежанкѣ спите, а онѣ на голомъ полу.

— Вѣрно!

— Вы чайку накушались, да и къ милашкѣ...

Трифонъ Иванычъ нахмурился.

— Знаешь нешто?

— Какъ-же не знать-то, Трифонъ Иванычъ! Все намъ извѣстно... Сколько всякаго добра перетаскали...

— Да, братецъ, много перетаскалъ...

— Чего не много!.. Поди сотни въ три вѣхало?

Но Трифонъ Иванычъ словно не слышалъ этого вопроса.

— Теперь пошабашиль!—проговорилъ онъ;— обрыдла она мнѣ... И я таперича имѣю желанію отнять у нея всѣ свои подарки...

— А что-жъ? И отлично!—проговорилъ истопникъ.

— А коли добромъ не отдасть—судиться буду!

— Отлично!

— Только главная причина, — не знаю, выго-

рить-ли,—разсуждалъ Трифонъ Иванычъ; — все вѣдь это подарено ей, значить, отдано...

— Да, да, да...—соображалъ истопникъ;—все одно, какъ ея собственное...

— То-то и оно!

— Это точно, точно... Какъ словно ей принадлежащее...

И Трифонъ Иванычъ, мрачный и угрюмый, зашагалъ по комнатѣ и хоть бы слово проронилъ. Только когда истопникъ, затопивъ печь, кряхтя поднялся на ноги, онъ спросилъ его:

— Такъ, значить, нельзя, по-твоему?

— Чего это?

— Судиться-то?

— Зачѣмъ нельзя?—удивился тотъ и даже глаза вытаращилъ отъ удивленья. Судиться безпремѣнно слѣдуетъ! Какъ возможно не судиться!..

— Да вѣдь я самъ же виноватъ?

— Что-жъ такое? А все-таки судиться-то надо... Нешто возможно безъ суда?

— Правда, правда!—перебилъ его Трифонъ Иванычъ.—Судиться надо.

И немного подумавъ, прибавилъ:

— Ты умный человекъ, Панкратъ. Я тебѣ очень благодаренъ... Спасибо!

Результатомъ этого разговора было то, что Трифонъ Иванычъ въ тотъ-же день, выпросивъ у барина лошадь, отправился въ сосѣднее село, къ проживавшему тамъ „аблакату“. Онъ подробно рассказалъ послѣднему всѣ подробности дѣла и попросилъ совѣта.

— Помилуйте, какъ-же не судиться-то!—вскричалъ тотъ;—васъ ограбили, а вы будете молчать!

— Это точно-съ, ограбили какъ есть!..

— Непремѣнно судиться!

— Что-же мнѣ дѣлать теперь?—спросилъ Трифонъ Иванычъ.

— Подайте прошеніе судья, а потомъ судья назначить разборъ дѣла...

— Ужъ вы потрудитесь, ваше высокоблагородіе...

— Что такое?

— Прошеньице написать...

— Извольте, извольте...

И „аблакать“ за пять рублей написалъ ему просьбу.

Однако, прежде чѣмъ подать это прошеніе судья, Трифонъ Иванычъ все-таки порѣшилъ потолковать по душѣ съ Марьей Павловной, въ надеждѣ, что, можетъ быть, дѣло обойдется и безъ суда. Для этихъ объясненій онъ выбралъ Михайловъ день, т. е. день храмового праздника въ селѣ. Онъ справедливо соображалъ, что Марья Павловна будетъ въ этотъ день въ болѣе религіозномъ настроеніи и потому скорѣе пойдетъ на взаимное соглашеніе. Только предположеніе это оказалось неосновательнымъ. Марья Павловна до того была обворожительна въ этотъ день, до того изящно одѣта и до того любезна, что какъ только Трифонъ Иванычъ, войдя къ ней, увидалъ ее, такъ въ ту же минуту даже забылъ про настоящую цѣль своего посѣщенія. На столѣ его ожидала уже закуска. Тутъ была и водка, и колбаса, и сардинки; а немного погодя появился и пирогъ, да такой пышный, ароматичный и горячій, что у Трифона Иваныча даже слюнки потекли. А Марья Павловна суетилась вокругъ своего гостя и, усаживая его, говорила: „Садитесь-ка, садитесь-ка, гость дорогой, покушайте-ка стряпни моей“.

И Трифонъ Иванычъ, даже не заикнувшись о дѣлѣ, пробылъ у нея весь день, обѣдалъ съ нею, послѣ обѣда отдыхалъ на ея роскошной постелѣ, затѣмъ пилъ чай, ужиналъ, выпилъ преизрядно и только поздно ночью возвратился домой.

На слѣдующій день, рано утромъ, его разбудилъ знакомый намъ мальчуганъ и подалъ записку.



Трифонъ Ивановичъ хотя и находился еще въ безсознательномъ положеніи, хотя опухшіе глаза его и были еще заспаны, но онъ все-таки узналъ по почерку, что записка была отъ Марьи Павловны. Онъ посиѣвшиль прогнать мальчика, вскочилъ съ лежанки, осѣдлалъ свой носъ очками и принялся за чтеніе. Въ письмѣ этомъ Марья Павловна просила его прислать ей за три мѣсяца жалованье, котораго она еще не получала, и расплатиться за взятые ею огурцы, капусту и картофель, а сверхъ того уплатить по счету въ лавочку.

Трифонъ Ивановичъ даже вскрикнулъ.

— Да вѣдь это еще пятьдесятъ цѣлковыхъ!

И скомкавъ записку, онъ поспѣшно одѣлся и выбѣжалъ вонъ изъ комнаты.

Немного погодя онъ былъ уже у Марьи Павловны. Онъ прибѣжалъ къ ней блѣдный, взволнованный, со стиснутыми кулаками, и, громко хлопнувъ за собою дверь, заперъ ее на крюкъ.

Что происходило у нихъ—неизвѣстно. Только вышедшій въ сѣни изъ своей половины дьячекъ вмѣстѣ съ своими гостями и женой были вдругъ поражены раздавшимися за дверью криками Марьи Павловны. Она кричала неистово, взвизгивала и осыпала кого-то проклятiями. Всѣ ясно слышали, какъ въ кого-то летѣли стулья, скамейки, какъ кто-то крикнулъ: „карауль, помогите!“ Всѣ бросились было бѣжать на этотъ крикъ, но дверь съ шумомъ распахнулась, изъ нея вылетѣлъ Трифонъ Ивановичъ, а вслѣдъ за нимъ показалась на порогѣ и сама Марья Павловна. Лицо ея горѣло, глаза были налиты кровью, рукава засучены, и потрясая въ воздухѣ громаднымъ утюгомъ, она кричала съ пѣной у рта:

— А! Судитесь! Ладно!.. Судись, дьяволь!.. Только не тебѣ, поганцу, судитесь со мной! И швырнувъ утюгъ прямо въ лицо Трифона Ивановича,

она прибавила какимъ-то особенно брезгливымъ голосомъ:—не съ твоимъ носомъ!

Послѣдняя фраза нанесла Трифону Иванычу самый смертельный ударъ въ сердце. Всѣ удары, которые сыпались на него тамъ, въ комнатѣ, при помощи стульевъ и скамеекъ, были ничто въ сравненіи съ послѣднимъ. Ударъ этотъ напомнилъ ему то, о чемъ онъ, ослѣпленный любовью, пересталъ было думать и о чемъ пересталъ даже сокрушаться. Онъ закрылъ свое окровавленное лицо руками и чуть не рыдая бросился вонъ изъ сѣней.

Въ тотъ-же день, вечеромъ, когда Марья Павловна собиралась уже лечь въ постель, дверь ея спальни легонько скрипнула и въ отверстіе просунулась чья-то кудрявая голова. Это былъ „баранъ“.

— Съѣздить-съ!—прошепталъ онъ, озираясь;—осмотрѣль-съ!

— Что-же?—спросила Марья Павловна.

— Биллиардикъ ничего-съ, невеликъ, но фигуристъ!.. При немъ карамболь, пирамидка, десятка два кievъ и за все за это два четвертныхъ билета... Дать можно-съ...

А Марья Павловна стояла, смотрѣла на „барана“ и хохотала.

— Ты чего озираешься-то, —спрашивала она, —кого боишься-то?

— Трифонъ Иванычъ, можетъ...

Но Марья Павловна перебила его.

— Прогнала я его, твоего Трифона-то Иваныча; въ шею прогнала...

— И отлично поступили-съ!—крикнулъ „баранъ“; — потому что главная причина, какъ видно, отъ нихъ больше ничего предстоять не можетъ-съ!..

И онъ бросилъ свою шапку на столъ.

#### IV.

Когда на слѣдующій день, рано утромъ, Трифонъ Иванычъ вышелъ на крыльцо, то былъ пораженъ представившейся ему картиной. Рыхлый, пушистый снѣгъ успѣлъ за ночь буквально засыпать всю окрестность. Онъ навалилъ четверти на двѣ, и вся барская усадьба словно утопала и нѣжилась въ этомъ пушистомъ лонѣ. Трифонъ Иванычъ даже съ трудомъ дверь отворилъ, и отворяя ее, отгребъ цѣлую кучу снѣга. Ему было жаль ступить на крыльцо, жаль было помять и потоптать ногами этотъ дѣвственный, чистый снѣгъ. Такъ онъ и остановился въ дверяхъ. Засыпанная снѣгомъ усадьба поразила его. Цѣлыми сугробами лежалъ этотъ снѣгъ на крышахъ, словно шапкой нахлобучилъ скворешню и словно ватой разукрасилъ садовую рѣшетку и самый садъ. Ни единый слѣдъ не пачкалъ этой бѣлой поверхности; ни единый грязный комъ земли не выглядывалъ изъ-подъ этой шубы... Тишина царила, царила въ полномъ смыслѣ слова, и ни единый звукъ не нарушалъ ее. Голубое небо, раскинувшееся шатромъ, какъ-будто оберегало эту тишину, а заалѣвшая на востокъ заря окрашивала всю эту бѣлизну мягкими розовыми тонами...

Долго любовался этой картиной Трифонъ Иванычъ, долго стоялъ онъ на порогѣ двери... Наконецъ вздохнулъ какъ-то, пощупалъ рану, нанесенную ему утюгомъ, свой носъ, чѣмъ-то оцарапанный, еще разъ вздохнулъ и молча возвратился въ свою комнатку.

Истопникъ былъ уже тамъ и, сидя на корточкахъ передъ печкой, раздувалъ огонь. Вмѣстѣ съ дровами онъ натащилъ въ комнату и снѣгу; снѣгъ этотъ успѣлъ растаять и пестрилъ полъ мокрыми пятнами.

— Съ зимой васъ!—проговорилъ онъ, увидавъ Трифона Иваныча. Онъ увидалъ въ то же время и синякъ подъ его глазомъ, но сдѣлалъ видъ, что не замѣтилъ.

— Спасибо,—отозвался Трифонъ Иванычъ.

— Снѣжку Господь послалъ достаточно-съ!—продолжалъ истопникъ;—насилу до дровъ-то докопался!... Такъ все и выровняло... Можетъ, теперь и зимній путь установится... Давай Богъ, а то ужъ эта грязь-то надоѣла, признаться...

Но на этотъ разъ Трифонъ Иванычъ былъ неразговорчивъ, и Панкратъ такъ и ушелъ, не добившись отъ него ни слова.

Часовъ въ восемь баринъ проснулся и раздался звонокъ.

Трифонъ Иванычъ взялъ рукомойникъ съ лаванкой, перекинулъ черезъ плечо полотенце и пошелъ на зовъ.

— Ба-ба-ба!... да вы съ праздникомъ!?—вскрикнулъ баринъ, увидавъ синякъ;—честь имѣю поздравить! Гдѣ Богъ послалъ?

— Въ потьмахъ на дверь наткнулся!—отвѣчалъ мрачно Трифонъ Иванычъ. А когда баринъ одѣлся, подошелъ къ нему, закинулъ руки назадъ и проговорилъ:—Дозвольте на порошу сходить...

— Синякъ полѣчить, что-ли? — подшутилъ баринъ.

— Никакъ нѣтъ-съ... Пороша мертвая...

— Ступай, ступай...

— Ужъ дозвольте на цѣлый день-съ...

— Ладно, ступай!...

Полчаса спустя, Трифонъ Иванычъ ѣхалъ уже на маленькихъ саночкахъ въ одну лошадку и саночками этими прокладывалъ первый зимній путь. Но Трифонъ Иванычъ опять-таки солгалъ барину. Съ нимъ не было ни ружья, ни патронташа;

онъ не обращалъ вниманія на попадавшіеся ему заячьи слѣды; даже не крикнулъ, случайно поднявъ зайца съ логова, и ѣхалъ вовсе не на охоту, а въ камеру мирового судьи. Онъ ѣхалъ и, припоминая все пережитое имъ, удивлялся собственному своему увлеченію. „Диви бы красавица была, размышлялъ онъ, а то какъ есть коровица, какъ есть наша судомойка Анисья, что у насъ въ домѣ полы моетъ!“

Мировой жилъ на собственномъ своемъ хуторѣ, одиноко стоявшемъ въ степи, и тамъ-же помѣщалась и камера. Но и на хуторѣ слѣда не было. Онъ стоялъ тоже весь засыпанный снѣгомъ, и Трифонъ Иванычъ первый проложилъ къ нему слѣдъ. Онъ привязалъ свою лошадь, взошелъ на крыльцо, обчистилъ снѣгъ съ валеныхъ сапогъ и еще на крыльцѣ снялъ шапку. Онъ почувствовалъ робость и потому, прежде чѣмъ отворить дверь, незамѣтно перекрестился. Войдя въ сѣни, онъ увидалъ женщину, раздувавшую сапогомъ чадившій самоваръ.

— Господинъ мировой судья у себя будутъ?— спросилъ онъ не безъ робости.

— Дома, почиваютъ!—отвѣтила женщина, и указавъ на дверь, прибавила:—взойдите, тамъ и повремените.

Съ часъ времени просидѣлъ Трифонъ Иванычъ въ передней. Наконецъ, судья проснулся. Онъ вышелъ въ калатъ, въ туфляхъ на босую ногу, и протиралъ сонные отеки глаза; косматые волосы его торчали на головѣ шапкой и въ волосахъ этихъ кое-гдѣ виднѣлся пухъ.

— Вы что?—спросилъ онъ, поправляя сползавшія кальсоны.

— Къ вашей милости, ваше высокоблагородіе.

— Съ прошеніемъ?

— Такъ точно-съ.

И онъ дрожавшею рукою подаль прошеніе. Мировой прочиталь его, сунуль въ карманъ халата и крикнуль во все горло: „Матрена, чаю!“

— Когда прикажете явиться, вашескоблагородіе?— осмѣлился спросить Трифонъ Иванычъ.

— Повѣстка будетъ.

— Явите божескую милость,— бормоталь Трифонъ Иванычъ, принявъ самый плачевный видъ;— какъ-есть ограбили, съ малыми дѣтьми безъ куска хлѣба оставили...

— Хорошо, хорошо...

— Нанималъ собственно для обученія ремеслу, а она вонъ что надѣлала...

— Хорошо, хорошо...

И снова уцѣпившись за кальсоны, мировой, шлепая туфлями, ушелъ въ другую комнату.

Лицо мирового понравилось Трифону Иванычу; оно показалось ему добрымъ, ласковымъ, и онъ вышелъ на крыльцо значительно ободреннымъ. Немного погодя онъ выѣзжалъ уже изъ воротъ и направилъ лошадь по своему-же собственному слѣду. „Ну, подумаль онъ,— проторилъ дорожку!“

Отѣхавъ отъ хутора съ версту, онъ увидѣлъ ѣхавшія ему навстрѣчу сани. Мужичья лохматая лошаденка еле тащила ихъ по глубокому снѣгу; кто-то стоялъ въ передкѣ саней и неистово махаль надъ ней возжами. Они поровнялись, и успокоившееся было лицо Трифона Иваныча вдругъ покрылось мертвою блѣдностью. Въ саняхъ, закутанная въ красный платокъ и шубку, сидѣла Марья Павловна, а въ передкѣ стоялъ „баранъ“. Они разѣхались молча, какъ-бы не замѣтивъ другъ друга, и каждый продолжалъ свой путь. Однако, нѣсколько отѣхавъ, Трифонъ Иванычъ не вытерпѣлъ, оглянулся и увидѣлъ, что сани подѣзжали тоже къ усадьбѣ мирового.

„И она тоже“! — подумаль онъ и какъ-то вдругъ упаль духомъ.

Наконецъ, онъ дотащился до села... А тамъ народъ все еще продолжалъ праздновать Михайловъ день. Пестрыми толпами двигался этотъ народъ по улицамъ, по базарной площади, и шумно галдѣлъ у кабака. Раздавались пѣсни, хохоть, ругань, шелканье орѣховъ и звуки гармоника. Но Трифонъ Иванычъ даже и вниманья не обращалъ на все это. Ему было не до праздника, и шумный разгулъ только еще болѣе усиливалъ его тоску и хмурилъ его и безъ того уже хмурое лицо.

Недѣли двѣ спусти пришла повѣстка, и Трифонъ Иванычъ окончательно оробѣлъ.

— Ну, братъ, — проговориль онъ, — обращаюсь къ истопнику: — на судъ требуютъ...

— Требуютъ?

— Да, повѣстку получилъ.

— Доброе дѣло, Трифонъ Иванычъ...

— Что-то, братъ, того... робость беретъ... какъ-бы не того...

— Это вы, Трифонъ Иванычъ, не повадились еще, а вотъ по мнѣ — какъ хошь меня суди, а мнѣ это все единственно. — И немного помолчавъ, онъ прибавиль: — Слышно, замужъ выходитъ?...

— Кто?

— Да милашка-то ваша. За сидѣльца, вишь, за нашего... Молодой такой, кудрявый, красивый... черезъ недѣлю, вишь, и свадьба назначена... Трактирное заведеніе хотять открыть, биллиардъ купили... И ухмыльнувшись, онъ прибавиль: — Все на ваши денежки поди!...

— Такъ вѣтъ-же, вретъ! — вскрикнулъ Трифонъ Иванычъ. — Вретъ, бестія! Все отниму, все, до послѣдняго гроша, до послѣдней юбки, ничего не оставлю!...

— Все и надо отнять...

— Все, все отниму...

Извѣстіе, что Марья Павловна выходитъ замужъ и открываетъ трактирное заведеніе, не то чтобы огорчило, но взволновало и взбѣсило его. Онъ сознавалъ, что разыгралъ дурака, и, сознавая это, порѣшилъ во что бы то ни стало выдти изъ этого глупаго положенія.

Наконецъ наступилъ и день разбора. Трифонъ Иванычъ еще наканунѣ отпросился у барина подъ предлогомъ, что ему необходимо съѣздить къ лѣ-карю, и чуть не съ разсвѣтомъ отправился къ мировому. Онъ явился туда чуть не въ лохмотьяхъ. На немъ было какое-то рваное пальто въ запла-тахъ, подпоясанное какою-то бичевкой, рваные рыжіе сапоги, а на шеѣ засаленный шерстяной платокъ. Точно Любимъ Торцовъ былъ онъ въ этомъ костюмѣ; точно нищій, полузамерзшій и окоченѣвшій отъ холода, только-что возвратив-шійся съ церковной паперти. Онъ даже не брил-ся нѣсколько дней, не умывался, чтобы казаться болѣе жалкимъ, болѣе несчастнымъ и тѣмъ са-мымъ возбудить къ себѣ участіе судьи. Онъ какъ-то согнулся, какъ-то дрожалъ, хрипѣлъ и немощ-но потряхивалъ головой.

Въ сѣняхъ камеры онъ встрѣтился съ тѣмъ самымъ адвокатомъ, который сочинялъ ему про-шеніе, и обрадовался ему какъ родному.

— Что, судиться пріѣхали?—спросилъ его ра-зодѣтый франтомъ адвокатъ.

— Такъ точно-съ, привелъ Богъ на старости лѣтъ...

— По тому дѣлу?

— Да, по тому, по которому прошеніе мнѣ на-писали... Помилуйте, вѣдь ограбили-съ, вамъ хо-рошо самимъ извѣстно... хоть побираться сту-пай.—И потрясая своими лохмотьями, прибавилъ—



вотъ-съ, все тутъ-съ... перемѣниться нечѣмъ... Меня-то, сударь, ограбила-съ, а сама трактирное заведеніе открываетъ...

— Неужели?—удивился адвокатъ.

— Истинно вамъ докладываю-съ!... А на какія денежки, позвольте спросить?... Биллиардъ купили-съ, права, вишь, всѣ выправили, а вѣдь нонѣ, сами изволите знать, права-то не дешевы-съ!..— И вздохнувъ, онъ прибавилъ.—А все-таки, доложу вамъ, страхъ беретъ...

— Почему это?—спросилъ адвокатъ.

— Какъ почему-съ? Человѣкъ я не привычный, средю никогда не судился... Опять и то беспокоить: то-ли пожалѣютъ, то-ли нѣтъ. Иногда вѣдь, сударь, и такъ случается, что правъ человѣкъ, а глядишь, виноватымъ остался.

— Ужъ съ вами-то этого никдимъ образомъ не случится—перебилъ его адвокатъ;—стоитъ только взглянуть на ваше почтенное лицо, на ваши сѣдины, на ваше рубище, и все дѣло ваше становится яснымъ...

— Такъ вы думаете, сударь, что судья уважить меня?—спросилъ Трифонъ Иванычъ немного ободрившимся голосомъ.

— Конечно, конечно!...

Войдя въ камеру, Трифонъ Иванычъ былъ удивленъ при видѣ дьячка, дьячихи, лавочника и многихъ другихъ знакомыхъ ему людей. Ему даже какъ-то стыдно сдѣлалось передъ ними за свой костюмъ, и онъ не зналъ какъ смотрѣть на нихъ. Удивились не мало и тѣ, при видѣ Трифона Иваныча въ этихъ лохмотьяхъ. Они словно не узнали его и какими-то изумленными глазами оглядывали его съ ногъ до головы. Камера была набита народомъ, и Трифонъ Иванычъ былъ отчасти доволенъ этимъ, ибо, смѣшавшись съ толпой, онъ все-таки могъ укрыться отъ этихъ изумленныхъ

взглядовъ, словно насквозь прожигавшихъ его. Марьи Павловны все еще не было.

Наконецъ явился судья, надѣлъ на себя знакъ, и плотно усѣвшись въ кресло, принялся выкликать всѣхъ участвовавшихъ по дѣлу Трифона Иваныча. Но каковъ-же былъ ужасъ послѣдняго, когда онъ увидалъ, что вмѣсто Марьи Павловны выскочилъ изъ толпы знакомый адвокатъ, и громко проговоривъ:— „я за нее!“, представилъ судьѣ довѣренность... Трифонъ Иванычъ чуть не упалъ отъ волненія и немощно ухватился за оконный косякъ. Но ему недолго пришлось стоять у окна: судья вызвалъ и его и пригласилъ къ столу.

Очутившись передъ столомъ, впереди всѣхъ и у всѣхъ на виду, Трифонъ Иванычъ чувствовалъ, что онъ стоитъ какъ на горячихъ угляхъ. Однако, немного погодя, онъ понялъ, что Марья Павловна предъявила къ нему встрѣчный искъ, а въ доказательство своей невинности въ возводимомъ на нее обвиненіи въ захватѣ чужого имущества, просила о вызовѣ, въ качествѣ свидѣтелей, дьячка, дьячихи, пономаря, лавочника и многихъ другихъ.

Свидѣтели были удалены изъ камеры и разборъ дѣла начался. Мировой прочиталъ прошеніе Трифона Иваныча, затѣмъ прошеніе Марьи Павловны, и потомъ, обратясь къ Трифону Иванычу, спросилъ:— „Что вы имѣете сказать на это“?

— Всего ограбили, вашескоблагородіе, съ малыми дѣтьми но міру пустили... — пробормоталъ онъ.

— Затѣмъ съ васъ взыскиваютъ за три мѣсяца жалованье—30 руб. Должны вы?—спросилъ судья.

— Ничего не долженъ-съ...

— Вы цѣлыхъ три мѣсяца не платили жалованья моей довѣрительницѣ, — проговорилъ адвокатъ.

Трифонъ Иванычъ даже разсердился.

— И не за что было платить! — вскрикнулъ онъ. — Я нанялъ ее для обученія ремеслу, а замѣсто того мои дочери капусту рубили...

— Такъ вы ей отказали? — спросилъ опять адвокатъ.

— Не отказалъ, а платить не за что!

— Почему же вы не отказали ей отъ должности? — спросилъ судья.

— Жаль ее было, вашескоблагородіе, вотъ и не отказывалъ.

— Потомъ, — проговорилъ судья, — съ васъ взыскиваетъ она за капусту, за картофель, по счету въ лавочку, за огурцы...

— Ничего не долженъ-съ...

— Такъ, стало быть, вы заплатили за все это? — спросилъ его адвокатъ.

— Зачѣмъ-же я буду платить, коль она того не заслужила!? — разсердился опять Трифонъ Иванычъ.

Адвокатъ обратился къ судѣ.

— Я прошу васъ, г. судья, — проговорилъ онъ, — все показанное Трифономъ Ивановымъ записать въ протоколъ, а затѣмъ допросить выставленных мною свидѣтелей и прочесть тѣ письма Трифона Иванова, которыя я имѣлъ честь представить вамъ.

Услыхавъ, что письма его находятся въ рукахъ судьи, Трифонъ Иванычъ окончательно растерялся.

Стали вызывать и допрашивать свидѣтелей. Адвокатъ метался, рисовался, горячился, обращался съ разспросами къ свидѣтелямъ, а Трифонъ Иванычъ стоялъ и хоть-бы слово выговорилъ. Онъ опять почувствовалъ, что подъ ногами у него горячіе угли и что угли эти прожгли до костей его ноги.

Потъ ручьями катился по его небритому и не-

мытому лицу, капаль на его лохмотья, и онъ едва успѣвалъ отирать его грязнымъ изорваннымъ платкомъ.

Наконецъ, допросъ свидѣтелей кончился. Всѣ они показали, что Марья Павловна состояла съ Трифономъ Иванычемъ въ любовной связи, что жили они, какъ мужъ съ женою, и что всѣ вещи, находящіяся въ ея квартирѣ, были подарены ей въ разное время Трифономъ Иванычемъ. Затѣмъ принялись за чтеніе писемъ.

— Я попрошу васъ, г. судья, проговорилъ вдругъ адвокатъ, подлетѣвъ къ столу и указывая на одно изъ писемъ, — прочесть только эти строки, изъ которыхъ вы изволите усмотрѣть, что самъ Трифонъ Ивановъ сознаетъ дѣйствительность совершеннаго имъ дара. Я прошу васъ объ этомъ, г. судья, потому только, чтобы не затруднять васъ чтеніемъ бесполезныхъ любовныхъ объясненій этого стараго ловеласа.

И мировой судья прочиталъ слѣдующія строки: *„Можетъ вы боитесь и сумлеаетесь, што я вамъ подарилъ, то назадъ отниму, но нѣтъ Марья Павловна, это все едино будетъ при васъ. Я не могу жить безъ васъ, безъ моего друа, покуда у меня есть еще горячіе слѣды и крофъ не остыла. А затѣмъ до свиданья! Лети мое письмо туда, кто приметъ безъ труда; вручи тому, кто сердцу милъ моему! Другъ вашъ навсегда Трифонъ Загалдъловъ“.*

— Вы писали это письмо? — спросилъ его судья.

Но Трифонъ Иванычъ ничего не отвѣчалъ. Онъ только попросилъ дозволить ему сѣсть, и когда сторожъ, по приказанію судьи, подалъ ему стулъ, онъ чуть не замертво опустился на него.

Адвокатъ между тѣмъ не дремалъ и началъ свою рѣчь. Онъ принялъ живописную позу, отставилъ одну ногу впередъ, выпятилъ грудь коле-

сомъ, заложилъ руку за жилетъ, и откинувъ назадъ кудрявые волосы, разразился громомъ и молніею. Говорилъ долго, громко, внятно, сопровождалъ свою рѣчь пояснительными жестами; то опускалъ голосъ, то поднималъ; то закатывалъ глаза подъ лобъ, то металъ ими въ разныя стороны, и наконецъ закончилъ эту рѣчь слѣдующими словами:— „Но, господинъ судья,—проговорилъ онъ, указывая пальцемъ на Трифона Иваныча,—не думайте, что предъ вами дѣйствительно сидитъ человѣкъ ограбленный, человѣкъ лишенный куса хлѣба, теплаго угла, и что эти лохмотья, прикрывающія теперь его тѣло, суть единственная его одежда... Нѣтъ, господинъ судья, передъ вами не нищій, не ограбленный, а лжець, наглый лжець, думавшій лохмотьями обмануть правосудіе! Но ложь не укрылась даже и подъ этими лохмотьями, и драное платье лжеца обнажило его низкую, грязную душу, его лакейскіе инстинкты и побужденія. Быть можетъ, господинъ судья, ваши благородныя чувства отвернутся съ негодованіемъ и отъ тѣхъ цѣлей, которыя преслѣдовались и моею довѣрительницею, т. е. цѣлей наживы?... Вѣрно-съ, я самъ возмущенъ ими... Но спрашивается: могла-ли она любить безкорыстно этого урода и нравственнаго и физическаго? Нѣтъ, тысячу разъ нѣтъ!... И вотъ ради этого-то будущаго своего благосостоянія, ради ассюрированія этого неизвѣстнаго будущаго, она рѣшилась пожертвовать своимъ добрымъ именемъ. Она, такъ сказать, бросилась босикомъ въ холодную, обледенѣвшую грязь, чтобы потомъ, добившись теплой обуви, не морозить своихъ ногъ. Но страстный пылъ развратника, воспламенившійся весной, осенью погасъ, любовь его притупилась, проснулась жадность скареда, и онъ требуетъ возврата того, чѣмъ купилъ себѣ любовь! Я очень хоро-

шо вижу, г. судья, что оба они, и моя довѣрительница, и этотъ жалкій лжець, порядочные скоты и мерзавцы, но тѣмъ не менѣе, положая руку на сердце, не могу не сознаться, что все же довѣрительница моя должна пользоваться большими симпатіями, чѣмъ этотъ лакей. Но,—прибавилъ адвокатъ какъ-бы сконфузясь и опуская глаза,—это уже не мое дѣло. Фемида, богиня правосудія, изображается съ завязанными глазами, но въ рукахъ у нея есть вѣсы, и вѣсы эти такъ чувствительны, что малѣйшая пылинка вліяетъ на положеніе стрѣлки!“—И затѣмъ, расшаркавшись, адвокатъ наклонилъ голову и проговорилъ скромно:—Я кончилъ, г. судья.

— Ну, коли такъ, то и я кончу!—вскрикнулъ вдругъ Трифонъ Иванычъ, и вставъ со стула, вытянулся во весь ростъ.

Всѣ вздрогнули и изумились выходкѣ лакея. А онъ тѣмъ временемъ подошелъ къ столу судьи, вынулъ изъ-за пазухи свой кожаный бумажникъ и, отсчитавъ ту сумму, которая взыскивалась съ него Марьей Павловной, передалъ судѣ. Затѣмъ онъ повернулся, раскланялся на всѣ четыре стороны, сдѣлалъ глубокой поклонъ адвокату и молча вышелъ...

Бѣдный Трифонъ Иванычъ прохворалъ всю зиму: съ нимъ сдѣлалась горячка. Его перенесли изъ дома во флигель, положили тамъ на печь, и лежа на этой печи, онъ все кричалъ въ бреду:— „Караулъ, ограбили, осрамили!“

А тѣмъ временемъ Марья Павловна хозяйствовала уже въ своемъ трактирчикѣ, подъ вывѣскою „Отрадное пристанище“. Она давно уже вышла замужъ за „барана“ и какъ нельзя больше довольна своимъ положеніемъ. Въ трактирѣ у нихъ имѣется билліардъ съ карамболомъ и пирамидой, шарманка, наигрывающая „Стрѣлочка“, и иллю-

стрированный журналъ „Нива“. Гости не выходятъ изъ этого трактира... Цѣлый день раздаются тамъ пѣсни, крики, ругань, и пьянство идетъ превеликое...

Трифонъ Иванычъ поправлялся медленно, однако къ великому посту онъ окончательно выздоровѣлъ и снова перешелъ въ свою комнату съ лежанкой. Наступилъ мартъ и яркое солнышко снова заискрилось и заиграло лучами на полу и на стѣнахъ этой комнаты. Оконныя стекла нагрѣлись, и засохшія мухи, всю зиму провалявшіяся вверхъ ногами за двойными рамами, закопошились и словно сонныя расползлись по стекламъ. Закопошилось что-то и внутри Трифона Иваныча...

— Анисья, Анисья! — шепталъ онъ однажды, полуотворивъ свою дверь и глядя въ темный корридоръ, въ которомъ Анисья мыла полы и шлепала мокрой грязной тряпкой. — Поди-ка сюда на минутку!

Анисья взошла и, скромно опустивъ глаза, зардѣлась румянцемъ.

— На-ка, держи! — шепнулъ Трифонъ Иванычъ, сунувъ ей въ руку двугривенный; — это тебѣ на орѣхи... Понимаешь? отъ меня на орѣхи.

И, похлопавъ ее по жирному плечу, прибавилъ:

— А потомъ ко мнѣ приходи полы мыть.

— Слушаю-сь! — проговорила Анисья и, закрывъ лицо рукавомъ, вышла въ корридоръ.

— Попроще-то лучше будетъ! — проговорилъ онъ.

Недѣли три спустя онъ снова переселился на свой чердакъ. Весна была ранняя, теплая... Лежалъ онъ однажды на своей кровати и вдругъ что-то промелькнуло мимо его, а немного погодя послышалось какое-то веселое, довольное щебетаніе.

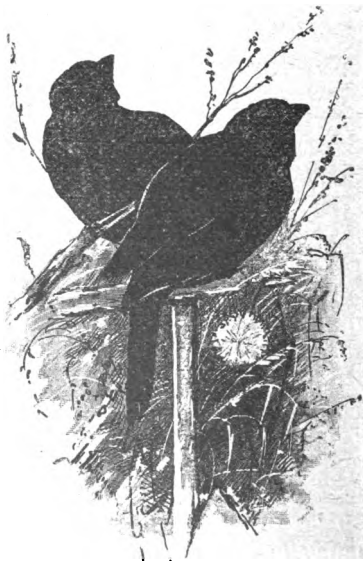
— А! — вскрикнулъ онъ, увидавъ ласточекъ: —

мое почтеніе!... Все-ли въ добромъ здоровьи?...  
Что?... опять за гнѣздышко за свое?... а?...

Ласточки пощebetали, покpужились и вылетѣли  
въ окно, но вскорѣ опять прилетѣли, осмотрѣли  
гнѣздышко, опять пощebetали и рядкомъ усѣлись  
на жердочку.

— Вишь, подлыя!—думалъ Трифонъ Иванычъ  
и вдругъ проговорилъ:—Ну нѣтъ, шалишь, не  
надуешь теперь... Какъ-нибудь и безъ гнѣздышка  
обойдемся...

И онъ, дѣйствительно, обошелся...





# Маленькій покойникъ.

(КАРТИНКА СЪ НАТУРЫ.)

Если-бы смерть была благомъ,  
Боги не были-бъ безсмертны.  
*Сафо.*

Изъ калитки небольшого деревяннаго флигеля, стоявшаго на окраинѣ губернскаго города N, выходила маленькая похоронная процессія. Процессія эта состояла только изъ двухъ лицъ—чиновника Геліотропова, лѣтъ сорока, и его семилѣтней дочери Луши. Геліотроповъ держалъ подъ мышкой крошечный гробикъ, окрашенный фуксиномъ, а Луша несла на головѣ крышку. Когда Геліотроповъ перешагнулъ съ своей ношей черезъ порогъ калитки, то слѣдомъ за нимъ хлинула-было толпа босоногихъ дѣтей его, но Геліотроповъ быстро обернулся въ толпѣ, крикнулъ: „пошли вонъ, сопляки!“ —и, сердито захлопнувъ калитку, зашагалъ по немощенной улицѣ, ведущей на кладбище. Онъ былъ безъ шапки, съ завязанными ушами, въ длинномъ пальто и высокихъ личныхъ сапогахъ. День былъ лѣтній, но дождь лилъ какъ изъ ведра. Онъ барабанилъ по крышкѣ гроба и по бѣлому коленкору, прикрывавшему гѣло маленькаго

покойника. Какъ ни старался чиновникъ Геліотроповъ прикрыть гробъ отъ дождя полою своего пальто, но коленкоръ намокъ тотчасъ-же какъ только вышли они на улицу и, прильнувъ къ трупу, отчетливо вырисовывалъ сложенные на груди ручки, круглую головку и двѣ плотно связанные ноженки. Геліотроповъ взглянулъ на гробикъ и остановился.

— Стой! — крикнулъ онъ дѣвочкѣ — такъ нельзя! такъ мы совсѣмъ затопимъ его, шельмеца... Давай крышку...

И, поставивъ гробикъ на колѣнку, онъ тщательно подобралъ болтавшійся по вѣтру коленкоръ и прикрылъ гробикъ.

— А ты, прибавилъ — онъ, подавая Лушѣ вынутый изъ кармана платокъ, — повяжи головку вотъ этимъ платкомъ, неси мою фуражку и пой полегоньку „Святый Боже!“

И, снова перенеся гробикъ подъ мышку, онъ тронулся въ путь. Луша шла впереди и пѣла, а Геліотроповъ шлепалъ по грязи и ворчалъ на хлеставшій его дождь. Грязь была не вылазная и потому ничего нѣтъ удивительнаго, что когда процессія выбралась изъ города и ступила на твердую почву городского выгона, то она немедленно остановилась, чтобы хоть сколько-нибудь отдохнуть отъ пройденнаго труднаго пути. На Геліотропова было страшно взглянуть! Весь выпачканный грязью, весь вымоченный и измазавшійся фуксиномъ, отставшимъ отъ гробика, съ суровымъ и мрачнымъ взглядомъ, онъ походилъ на какого-то злодѣя, только что совершившаго кровавое убійство и неуспѣвшаго еще омыть окровавленныхъ рукъ своихъ. Луша чуть не плакала отъ усталости; только бѣлѣвшаяся вдали ограда кладбища, да низенькая кладбищенская церковь, засаженная деревьями, немного ободряли ее. Отдохнувъ, они

снова пустились въ путь, а минутъ двадцать спустя подходили уже къ каменнымъ полукруглымъ воротамъ кладбища. „Приидите ко мнѣ вси труждающіеся и обремененніи, и азъ упокою вы“, прочиталъ Геліотроповъ надпись на воротахъ, и дѣйствительно, какое-то тихое спокойствіе и торжественная тишина разлились по его сердцу: „хорошо-бы и самому сюда попасть!..“—подумалъ онъ и, предшествуемый Лушей, ступилъ на кладбище.

У воротъ они встрѣтили сторожа.

— Какъ-бы „батюшку“..?—проговорилъ чиновникъ робко.

— Такъ что-жъ! — вскрикнулъ сторожъ, пристально окинувъ взглядомъ пришедшихъ;—ступай и позвони...

— А гдѣ найти его?

Сторожъ кивкомъ головы указалъ домикъ, въ которомъ жилъ „батюшка“, и поспѣшно скрылся въ дверь своей сторожки.

Подойдя къ домику священника, Геліотроповъ поставилъ гробикъ на крылечко, приказалъ Лушѣ „поприсмотрѣть за покойникомъ“, а самъ вошелъ въ сѣни. Увидавъ на мѣдной дверной дощечкѣ надпись—„Священникъ Іоаннъ Мизерикордовъ“, онъ дернулъ за ручку звонка.

— Вамъ кого?—спросила какая-то чумазая баба, отворяя дверь.

— „Батюшку“, отца Мизерикордова.

— Отдыхать было легъ онъ...—проговорила женщина почесываясь.

— Мнѣ необходимо...

— А повременить нельзя?

— Съ покойникомъ я...

— Свидѣтельство отъ квартальнаго есть?—спросила баба.

— Есть.

— И могила?

— Да вѣдь здѣсь готовыя имѣются, — замѣтилъ Геліотроповъ.

— Знамо имѣются... да вѣдь ее купить надо.

— Я еще не покупалъ.

— Такъ чего-же вы звоните-то! — вскрикнула баба, словно обрадовавшись, что нашла придирку не тревожить „батушкинъ“ отдыхъ; — могилы нѣтъ, а вы звоните!... Куда-же хоронить-то? Не въ карманъ-же, въ самомъ дѣлѣ...

— Къ кому-же обратиться?...

— Извѣстно, къ сторожу! — крикнула баба и быстро захлопнула дверь.

Геліотроповъ постоялъ съ минуту, услышалъ, какъ дверь изнутри заперли на крючекъ, и немного погодя вышелъ на крылечко. На крылечкѣ онъ увидалъ того самаго сторожа, который указалъ ему домъ священника. На этотъ разъ сторожъ былъ уже съ трубкой въ зубахъ и молча посматривалъ на гробикъ, выпуская изо рта голубоватыя струйки дыма. Увидавъ Геліотропова, онъ сплюнулъ и спросилъ, кивнувъ головой на гробикъ:

— Дите твое?

— Да, сынокъ.

— Могилка требуется, значить?

— Нельзя же... — пробормоталъ Геліотроповъ и тутъ же спросилъ: — готовыя-то есть?

— Найдемъ.

— Въ какую цѣну?

— А вотъ посмотрите сперва, тогда и о цѣнѣ поговоримъ... разныя цѣны... у насъ по таксъ вѣдь...

— Мнѣ самую дешевенькую, — поспѣшилъ предупредить Геліотроповъ какимъ-то робкимъ, упавшимъ голосомъ.

И взявъ отъ Луши свою фуражку съ кокардой, онъ пошелъ за сторожемъ, зашагавшимъ по тро-

пинкѣ, извивавшейся мимо надгробныхъ памятниковъ. Шли они молча, и передъ глазами Геліотропова то и дѣло мелькали золотыя надписи, высѣченныя на мраморѣ. Тутъ покоились все тузы: генералы, камергеры, коммерціи совѣтники... На одномъ мавзолеѣ помѣщался даже бюстъ покойника. Съ носа этого бюста капаль теперь дождь и, глядя на эти капли, Геліотроповъ даже улыбнулся. Бюстъ этотъ изображалъ покоившагося подъ мавзолеемъ великаго писателя, и Геліотроповъ подумалъ:— „кабы онъ могъ изъ гроба протянуть свои руки, такъ онъ съ негодованіемъ низвергъ-бы этотъ бюстъ!“ Но чѣмъ дальше удалялись они отъ центра кладбища, тѣмъ мельчали и монументы, и люди. Они достигли наконецъ такого убѣжища, гдѣ не было ни одного „порядочнаго“ покойника, гдѣ отсутствовали не только мавзолеи, но даже и деревянные кресты и гдѣ покой „обремененныхъ“ обозначался лишь земляными бугорками. Можно было подумать, что это не кладбище, а просто поле, усыпанное сурчинами. Тутъ они и остановились.

— Вотъ, проговорилъ сторожъ, снова сплюнувъ: вотъ тебѣ цѣлыхъ двѣ,—любую выбирай! Этой, прибавилъ онъ, указывая на одну изъ вырытыхъ могилокъ,—два рубля цѣна, а вотъ этой, прибавилъ онъ, подойдя къ другой,—трюшница. При этомъ ты крестикъ получишь деревянный, и могилку я самъ закопаю. Одно слово—только стой и посматривай!.. даже дернецомъ курганчикъ обложу...

— Почему-же эта дороже?—спросилъ Геліотроповъ.

— А иву-то плакучую не видишь ништо!—вскрикнулъ сторожъ.— Двухрублевая-то могилка,—прибавилъ онъ,—какъ есть на голомъ мѣстѣ, а эта подъ деревцомъ! И ты будешь плакать—и дерево

то же самое... На двухрублевую-то придешь дитё свое помянуть, такъ тебя солнцемъ испечеть, а здѣсь ты подъ тѣню!.. Сядешь себѣ подъ деревцо и будешь сидѣть бариномъ!.. а тамъ-то—погоди маленько!.. Хоша бы и теперь,—продолжалъ разговорившійся сторожъ, поминутно попыхивая трубкой и сплевывая слюну:—хоша-бы и теперь, и то разница великая! На этой-то могилкѣ, на двухрублевкѣ-то, насъ бы до кишокъ промочило, а подъ деревцемъ-то мы стоимъ себѣ какъ подъ зонтикомъ, любѣхонько, смирнехонько, сухохонько... Опять и то тебѣ прибавлю, что на деревѣ этомъ горлинка гнѣздо себѣ свила... Видишь вонъ, вскрикнулъ сторожъ, указывая трубкой на верхушку дерева,—видишь... а это, братецъ, тоже денегъ стоитъ!.. Помѣстишься ты подъ дерево, водочки выпьешь, закусишь... задумаешься, про дитё свое вспоминаючи, а надъ тобой горлинка воркуетъ, словно какъ и она заодно съ тобой томится... Чу, чу, какъ воркуетъ, сердечная!..—И, запрокинувъ голову, сторожъ принялся любовно смотрѣть на чернѣвшеея въ листьѣ гнѣздо горлинки.

Выпачканный фуксиномъ, Геліотроповъ до того увлекся этою пѣвучей рѣчью сторожа, что порѣшилъ было взять трехрублевую; онъ даже приподнялъ было руку, чтобы покончить дѣло рукобитьемъ, но вдругъ лицо его покрылось мертвою блѣдностію: онъ опустилъ руку въ карманъ жилета и, мысленно пересчитавъ находившуюся въ томъ карманѣ мелкую серебряную монету, горько усмѣхнулся. Монета эта составляла весь его наличный капиталъ, а тамъ, дома, его ждала семья, ждала жена на послѣднихъ минутахъ беременности...

— Нѣтъ,—сказалъ онъ рѣшительно,—нѣтъ, эта мнѣ не по карману... Нѣтъ, мнѣ подешевле ..

— Такъ возьми на припекѣ!—вскрикнулъ сторожъ.

— И та дорога... Мнѣ-бы за рубликъ!

Сторожъ даже расхохотался.

— Ахъ ты, чудака-голова!—вскрикнулъ онъ:— да вѣдь рублевку-то за одно мѣсто заплатить надо! а копать-то изъ уваженья къ тебѣ что-ли будутъ? Вѣдь ты не будешь самъ копать-то? Наймешь...

— Денегъ нѣтъ!—стоналъ Геліотроповъ.

— Неужто и трюшницы нѣтъ?—удивился сторожъ.

— Нѣтъ.

— А кокарду носишь? Чего-же ты лѣзишь въ чиновники-то!—вскрикнулъ сторожъ.—Ты много-ль получаешь?

— Двадцать пять въ мѣсяцъ, а я самъ-восемь!..

— Такъ искалъ бы другого занятія... Я вотъ сторожъ простой, да и то больше твоего получу!..

Но Геліотроповъ не слушалъ сторожа. Слезы навернулись на его глазахъ и онъ посиѣшилъ отвернуться. Сторожъ замѣтилъ эти слезы и проговорилъ:

— Какъ-же мнѣ быть-то съ тобой, головушка горькая,—вѣдь нельзя-же даромъ... Понича даромъ-то и муха, говорятъ, не плюнетъ!... вареньицемъ накорми прежде...

И вдругъ, что-то вспомнивъ, онъ ударилъ себя по лбу рукой и весело вскрикнулъ:

— Ахъ, я глупый человѣкъ,—и забылъ со-всѣмъ!.. хочешь даромъ похороню, на шармака?

— Хочу,—поспѣшилъ перебить его Геліотроповъ.

— Изволь!

И, быстро перемѣнивъ тонъ, сторожъ заговорилъ торопливо:

— Давай мнѣ рублевку на чай и я ни за грошъ успокою твоё дитё. Ну, идетъ что-ли?—вскрикнулъ

сторожь, весело взглянувъ на мрачно стоявшаго передъ нимъ Геліотропова.

— Идетъ!—вскрикнулъ тотъ.

— Только придется въ чужую могилу положить. Сегодня мы одного чиновника схоронили и за ненастьемъ не успѣли закопать... только по горсточкѣ на память бросили...

— Чиновника?—спросилъ Геліотроповъ, какъ-то вздрогнувъ.

— Да, чиновника.

— А какъ по фамиліи?

— А Господь его вѣдаетъ! Знаю только, что его Аркадіемъ звали, потому поминали все новопреставленнаго Аркадія...

— Знаю я этого Аркадія,—перебилъ его Геліотроповъ,—фамилія его Кудряевъ, въ одномъ столѣ служили... Только я состою въ должности помощника столоначальника, а онъ простымъ писаремъ былъ, семь рублей въ мѣсяцъ получалъ... Третьяго дня мы всѣ промежь себя складчину дѣлали на похороны.

И, сурово схвативъ сторожа за руку, онъ крикнулъ:

— Веди меня къ Аркадію! Все-таки я былъ его начальникомъ и, можетъ, по старой памяти онъ пріютитъ съ собою моего сопляка. Онъ обязанъ это сдѣлать,—продолжалъ Геліотроповъ, ударя себя въ грудь кулакомъ,—обязанъ, ибо не дальше какъ на прошлую Пасху я выхлопоталъ ему изъ канцелярскихъ суммъ награду въ десять рублей. Да, это я выхлопоталъ, я! Онъ говѣлъ на страстной, потратилъ на говѣнье послѣднія деньги и къ Пасхѣ остался безъ гроша.—Я и выхлопоталъ... А вотъ къ Троицыну дню сшилъ сюртучекъ, форснуть захотѣлъ... и все пропало!..

Могилы Аркадія Кудряева понравилась Геліотропову какъ нельзя больше. Правда, она была



возлѣ самой канавы, почти на выгонѣ; правда, что до нея чуть-чуть долеталъ только звукъ кладбищенскаго колокола, но зато рубль серебромъ придавалъ ей неоцѣненную прелесть въ глазахъ бѣднаго чиновника. Геліотроповъ тотчасъ-же вынулъ изъ кармана мелочь, отсчиталъ пять двугривенныхъ и, передавъ ихъ сторожу, весело отправился вмѣстѣ съ нимъ къ домику священника. Утомленная и промокшая Луша долго ждала отца, сидя возлѣ гробика, и наконецъ заснула, положивъ на него головку. Геліотроповъ осторожно прошелъ мимо дочери и, подойдя къ двери священнической квартиры, дернулъ за ручку звонка. Та-же чумазая баба отворила ему дверь.

— Отдохнулъ? — спросилъ Геліотроповъ, приосанившись.

— Умываются.

— Такъ вотъ-же, доложите: чиновникъ, молъ, Геліотроповъ съ покойникомъ.

— Войдите, — проговорила баба и, впустивъ Геліотропова въ прихожую, пошла съ докладомъ къ „батюшкѣ“. Тотъ не заставилъ себя долго ждать. Онъ вошелъ, поскрипывая сапогами, свѣжій, умытый, причесанный, въ ластиковомъ легкомъ полукафтанѣ, и благословилъ подошедшаго къ нему Геліотропова. Узнавъ въ чемъ дѣло и тщательно прочитавъ дозволеніе полиціи предать землѣ по христіанскому обряду тѣло покойника, батюшка посмотрѣлъ на окно, по стекламъ котораго барабанилъ дождь, покачалъ головой и, вздохнувъ, спросилъ:

— Дождь?

— Дождь, — отвѣтилъ Геліотроповъ.

— Промочить, пожалуй, — проговорилъ батюшка, — а со мной лихорадка...

И, внимательно посмотрѣвъ на Геліотропова, какъ-бы желая прочесть, что думаетъ онъ по

этому поводу, прибавилъ слащавымъ тономъ: — можетъ, здѣсь въ сѣнцахъ пожелаете... Вѣдь, младенчикъ?

— Младенчикъ, — поспѣшилъ подтвердить Геліотроповъ.

— Ну, вотъ изволите-ли видѣть, — подхватилъ священникъ: — ангельчикъ, въ сущности, а мы его вдругъ по-человѣчески отпѣвать начнемъ!.. Не намъ, грѣшникамъ, молить о немъ, — прибавилъ батюшка внушительнымъ голосомъ, — а ему за насъ, ибо мѣсто его у престола Всевышняго!

И, перемѣнивъ тонъ, прибавилъ:

— А сѣнцы у меня чистенькія, просторныя... иконца имѣется, скамья... Поставимъ гробикъ на скамью, передъ иконцой свѣчу затеплимъ и чудесно отпоемъ ангельчика.

А Геліотроповъ, пальцы, котораго снова шныряли уже въ жилетномъ карманѣ, сообразивъ, что отпѣваніе „въ сѣнцахъ“ обойдется много дешевле, чѣмъ отпѣваніе въ церкви, поспѣшилъ согласиться на сдѣланное ему предложеніе. Онъ выбѣжалъ на крыльцо, разбудилъ разоспавшуюся Луну и, подкинувъ гробикъ подъ мышку, понесъ его „въ сѣнцы“.

— Сюда пожалуйста, сюда! — говорилъ батюшка, указывая рукою на скамью: — сюда потрудитесь!

Геліотроповъ поставилъ гробикъ, снялъ съ него крышку, отвернулъ коленкоръ до самыхъ синѣвшихъ ручекъ младенца, къ которымъ прислонился крошечный мѣдный образокъ, и поправилъ бѣлокурые шелковистые волосики.

— Большая, большая смертность, и все маленькіе... — проговорилъ батюшка.

А ребенокъ лежалъ словно восковой и грустная улыбка покоилась на его почернѣвшихъ сжатыхъ губкахъ. Точно какъ онъ пенялъ на жизнь, такъ непривѣтливо отвергнувшую его изъ своей среды

и бросившую его въ объятія смерти... А ему такъ жить хотѣлось!.. Точно какъ ему обидно было, что никто изъ стоявшихъ возлѣ его гробика, кромѣ маленькой сестренки Луши, не ужасался передъ тою драмою, которую онъ только-что вынесъ на своихъ дѣтскихъ, неокрѣпнувшихъ еще плечикахъ...

Явился сторожъ, подалъ батюшкѣ эпитрахиль, дымившееся кадило, а Геліотропову нѣсколько тоненькихъ свѣчей и вѣнчикъ, украшенный сусальнымъ золотомъ. Батюшка началъ креститься, а Геліотроповъ, увѣнчавъ лобикъ покойника и прилѣпивъ къ гробику три свѣчи, отошелъ къ сторонкѣ. Отпѣваніе началось. Луша стояла съ зажженной свѣчей въ рукахъ и слезы ручьемъ текли изъ ея голубыхъ дѣтскихъ глазокъ. Она словно ужасалась, что вотъ сейчасъ братишку ея закопаютъ въ землю и что ему будетъ тамъ и темно, и сыро... И суровая складка, такъ негармонировавшая веселому дѣтскому личику, сложилась на ея открытомъ лобикѣ. Сторожъ замѣнялъ дьячка и, прислонившись къ дверному косяку, то-и-дѣло вскрикивалъ: „Господи, упокой младенца!“ Батюшка тоже пѣлъ „Господи, упокой младенца!“ — причемъ кадилъ и наполнялъ дымомъ сѣни.

Наконецъ, отпѣваніе кончилось, и батюшка благословилъ покойника.

— Ну, вотъ и отпѣли! — проговорилъ онъ, снимая съ себя эпитрахиль. Вотъ и все! Царство небесное!

Геліотроповъ подлетѣлъ къ батюшкѣ, шаркнулъ ногой и сунулъ ему въ руку двугривенный.

— Не маловато-ли? — замѣтилъ батюшка, встряхивая на ладони монету; но, увидавъ плаксивое и сконфуженное лицо Геліотропова, поспѣшно прибавилъ: — Ну, ничего, ничего... Спасибо и на этомъ, а главное — спасибо, что подъ дождикъ не пота-

щили!... А то вѣдь есть и такіе,—прибавилъ онъ, опуская въ карманъ монету и расчесывая гребенкой волосы,—что вымочутъ тебя всего, выпачкаютъ, заморозятъ иной разъ, а дадутъ меньше вашего.

И, перемѣнивъ тонъ, ласково спросилъ:

— Изъ духовныхъ будете?

— Изъ духовныхъ.

— Служите?

— Да-съ, служу...

— Прекрасно... Ну-съ,—прибавилъ батюшка,— желаю вамъ всякаго благополучія!

И, проговоривъ это, онъ что-то запѣлъ и направился къ двери.

Гелиотроповъ приложился къ лобіку покойника, поднялъ разрыдавшуюся Лушу, которая такъ и прильнула къ рученкамъ брата, а немного погодя похоронная процессія слѣдовала уже по направлению къ могилѣ Аркадія Кудряева. Тучи какъ-то разбѣжались, выглянуло яркое солнце, словно огнемъ освѣтило открытый гробикъ покойника, но ослѣпляющіе лучи его не могли согрѣть оконченѣвшій трупъ младенца. Впереди шелъ сторожъ: онъ несъ на головѣ крышку, а Луша жалась къ отцу и глазъ не сводила съ развѣвавшихся отъ вѣтра волосиковъ брата.

Часъ спустя они были уже дома. Едва Гелиотроповъ успѣлъ войти въ комнату, какъ изъ-за перегородки послышался болѣзненный, страдальческій голосъ его жены.

— Иванъ Астафичъ, это ты?—спросила она.

— Я, матушка, я!

— Схоронили?

— Схоронили... Слава Богу... вмѣстѣ съ Аркадіемъ Кудряевымъ, въ одну могилу...

Но жена перебила его.

— Охъ! — застонала она. — Моченьки моей

нѣтъ... Охъ, бѣги скорѣе за бабкой... потуги начались... бѣги скорѣе... смертынька моя...

— Неужто сегодня? — ужаснулся Гелиотроповъ и, схвативъ фуражку, бросился вонъ изъ комнаты.

А Луша тѣмъ временемъ сидѣла на крылечкѣ и рассказывала своимъ братишкамъ и сестренкамъ, какъ схоронили они братца. Окружавшая ее толпа слушала рассказъ со вниманіемъ, вытаращивъ глазенки, разинувъ рты и словно ужасаясь за печальную участь маленькаго покойника.



*Дмитрий Павлович  
Евласовъ.*

## Ъ ЗАСАДЪ.

(Изъ моихъ охотничьихъ  
воспоминаній.)



Декабрь стоялъ суровый, съ частыми „поземками“ и мятелями... Снѣга было такъ много, что каждое утро приходилось откапывать отъ сугробовъ двери жилыхъ строеній и ворота скотныхъ дворовъ. Село было буквально занесено снѣгомъ, мѣстами даже ѣздили по крышамъ, а за кормомъ для скотины отправлялись на гумна не иначе какъ цѣлыми отрядами и вооружась лопатами, скребками и вилами. Тронувшіеся обозы сплошь да рядомъ останавливались на полпути и по цѣлымъ суткамъ ждали благопріятной погоды. Дороги были ухабистыя; снѣгъ на поляхъ безпорядочно разбросанъ: въ одномъ мѣстѣ онъ вышалася цѣлыми горами, а въ другомъ его вовсе не было!... Воздухъ былъ холодный; вѣтеръ дулъ порывистый и словно иглами кололъ лицо и уши...

Лѣсъ стоялъ обледепѣлый и подѣ тяжестью этого льда гнулись и ломались тонкіе молодые сучья. Ни по лѣсу, ни по кустамъ ходить было невозможно, ибо все это было набито снѣгомъ. Солнце показывалось рѣдко и не иначе, какъ съ двумя огненными столбами по сторонамъ, а морозъ по ночамъ стрѣлялъ въ стѣны какъ изъ пушки. Оконныя стекла почти не оттаивали и были покрыты тонкими ледяными узорами самыхъ изящнѣйшихъ рисунковъ. Чтобы взглянуть на термометръ, прикрѣпленный къ оконной рамѣ, приходилось оттаивать эти узоры. Продышешь, бывало, небольшой кружочекъ, заглянешь въ эту панораму и увидишь, что Реомюръ показываетъ 20—25 градусовъ. Такое обиліе снѣга облегчило и волкамъ доступъ въ крестьянскіе дворы. По сугробамъ волки взбирались на крыши навѣсовъ, спрыгивали во дворъ, рѣзали овецъ и, напившись ихъ кровью, стаскивали трупы въ кучу и взбирались по ней на крышу. Благодаря этимъ удобствамъ, развелось такое множество волковъ, что не обходилось ни одной ночи безъ ихъ кровожадныхъ набѣговъ. Мужики для „остраски“ вывѣшивали на крыши звонкія косы, ставили трещетки и дѣлали изъ палокъ и соломы „страшилища“. „Страшилища“ эти тоже водружались по крышамъ; на нихъ надѣвали рваные зипуны, мохнатая шапка, вооружали ихъ дубинами и подвязывали имъ длинныя конопляныя бороды. Но „страшилища“ эти, нисколько не смущая волковъ, приводили въ ужасъ только старухъ и ребятъ, переставшихъ по этому случаю даже выходить по почамъ изъ своихъ избъ.

Однако, въ началѣ февраля морозы стали какъ-то уменьшаться. Потянулъ тепленькій западный вѣтеръ, блѣдно-голубое небо подернулось пухлыми бѣловатыми тучами, и крупный снѣгъ началъ

опускаться на землю. Опускался онъ медленно, какъ легкій пухъ, порхая; рябилъ воздухъ бѣлыми бликами и неслышно ложился... Снѣжинки моментально падали на лицо, щекотали кожу и быстро таяли... Дня черезъ два изрытая поземками грязная снѣжная поверхность выровнилась, покрылась мягкимъ бѣлымъ покрываломъ, и робкій заяцъ принялся печатать свои характерные слѣды... Засвисталъ краснобрюхій снигирь, зазвенѣла проворная синица и, повиснувъ на оконномъ переплетѣ, принялась долбить замазку. Тронулись и обозы—и, укутанные снѣгомъ словно ватой, потянулись по снѣжной равнинѣ, прокладывая новые пути...

Снѣгъ этотъ большею частію выпадалъ какъ-то середь дня, а къ вечеру переставалъ и смѣнялся туманомъ. За-то, когда вставало солнце, туманъ мгновенно исчезалъ, утро становилось яснымъ, и снѣжный бѣлый покровъ зимы загорался блескомъ алмазовъ.

Въ такое-то именно утро зашелъ ко мнѣ нашъ приходскій „батюшка“, отецъ Александръ. Вошелъ онъ какъ-то торопливо, бросилъ шапку на столъ, поспѣшно помолился, не удостоивъ даже взглядомъ икону, и проговорилъ:

— Я къ тебѣ, кумъ!

— Что такое?

— Да чего! волки одолѣли!... Я думалъ, что они не тронуть попа, побоятся... а замѣсто того позапрошлую ночь двухъ овецъ зарѣзали, а теперь Шаркѣ...

— Какъ, собаку-то? —удивился я.

— Такъ горло и перегрызли!—вскрикнулъ „батюшка“.

— Этого сѣраго-то, большущаго кобеля?—спросилъ я.



— Зачѣмъ! Сѣрому-то Палкашка фамилія, а Шарокъ былъ черныи, бѣлогрудый...

— Это который мнѣ пальто-то разорвалъ?— припомнилъ я.

— Во, во, во!—подхватилъ „батюшка“,— тотъ самый!

— Туда ему и дорога!—проворчалъ я, вспомянувъ съ сожалѣніемъ о разорванномъ въ клочья пальто.

— Вотъ это чудесно!... А кто-же теперь дворъ-то сторожить будетъ?

— Да вѣдь есть у тебя Палкашка!... Чего-же еще? Псарню что-ли тебѣ надо?...

— Не псарню, братецъ... а все-таки...

— Я ужъ удивился! думалъ, что Палкашку загрызли!...

— Нѣтъ, Палкашка цѣлъ; Палкашку развѣ можно загрызть! Палкашка самъ любого волка уберетъ! Самъ словно волкъ!... Ну, да вѣдь и Шарокъ кобель былъ злобный! На что у Чугунова Волчекъ—скотина здоровая, и того, бывало, за шиворотъ и подъ себя... Такъ и сомнеть, бывало... Пятнадцать цѣлковыхъ недавно прасолы давали...

— Чего же ты отъ меня хочешь?—спросилъ я отца Александра.

— А того и хочу,—отвѣтилъ онъ,—чтобы ты этихъ волковъ неребилъ. А сдѣлать это,—прибавилъ онъ, присаживаясь со мною рядомъ,—даже очень легко; стоитъ только ночку не поспать, покараулить...

— Ну?

— И больше ничего!

— Да вѣдь этого мало пожалуй,—замѣтилъ я.

— Извѣстно, убить надо!—подхватилъ отецъ Александръ;—только я къ тому говорю, что убить-то ихъ, подлецовъ, самая левая штука!

Дѣло въ томъ, братецъ, что овецъ-то зарѣзати они зарѣзали, а сожрать ихъ не успѣли, поэтому они безпремѣнно придуть за ними! Они въ прошлую ночь, вѣроятно, за этимъ же приходили, да видно Шарокъ помѣшалъ!... Они его и загрызли. Безпремѣнно придуть... ужъ это какъ дважды два...

— А много ихъ было?

— Пять штукъ. Сейчасъ я по слѣдамъ считаль! Трое на дворѣ работали, а двое противъ самой бани на горѣ сидѣли: сторожили видно... А потомъ дошли до церкви, да налѣво въ Коблы и повернули. Такъ всѣ пятеро гурьбой и повалили!... Эхъ, Шарка жалко! — прибавилъ онъ — легче-бы корову зарѣзали!

И, махнувъ рукой, онъ спросилъ:

— А знаешь, — гдѣ мы съ тобой сидѣть будемъ?

— Гдѣ?

— У меня въ банѣ.

— Это въ землянкѣ то?

— Да. Вчера я парился въ ней, такъ она еще не остыла... тепло будетъ, хорошо... А главная причина — мѣсто ужъ очень удобное: позади села, лѣсъ близко и оврагъ... Овецъ мы возлѣ бани положимъ и будемъ себѣ посиживать, да посматривать... Кстати, и ночи-то лунныя... словно днемъ свѣтло... далеко видно будетъ!... Нѣтъ, ужъ ты пожалуйста, не откажи... проучи ихъ... вѣдь этакъ они, каторжные, всю мою скотину полопають, — вѣдь на нихъ становому-то прошеніе не подашь!...

— Да съ удовольствіемъ, я очень радъ...

— То-то! А въ банѣ намъ отлично будетъ, успокаиваль „батюшка“ — тепло, спокойно... велимъ соломы настелить...

— Конечно, хорошо...

— А выспаться-то и днемъ можешь, — продолжалъ батюшка, — пообѣдай поплотнѣе, да и завались часовъ на пять. Ужъ я, такъ и быть, — при-

бавиль онъ вставая, — за все за это, когда-нибудь, молебень тебѣ даромъ отслужу, съ акафистомъ!...

— Ладно!...

— А теперь прощай, — проговорилъ онъ, протягивая руку.

— Куда-же ты? Посиди.

— И радъ-бы радостью, да некогда. Покойницу привезли—хоронить надо... Баба одна родами померла... Вотъ вѣдь грѣхъ-то какой! — вскрикнулъ онъ, — въ дѣвкахъ рожала — ничего, а теперь не разродилась! Потому еще мужикъ обливенскій ждетъ: въ кислое молоко крыса ввалилась, молоко-то выкинуть жалко, — вотъ онъ и проситъ „очистительную“ отслужить...

— Неужто изъ-за этого въ Обливную ѣхать...

— Ну, зачѣмъ! Будетъ того, что я надъ ложкой прочитаю, а тамъ онъ перемѣшаетъ...

И проговоривъ это, батюшка показалъ пальцемъ, какъ мужикъ перемѣшаетъ молоко, и вышелъ.

Нечего говорить, что я былъ радъ случаю... Я досталъ свое ружье, прочистилъ и протеръ стволы, нарубилъ картечи, набилъ патроновъ и, плотно пообѣдавъ, завалился на боковую. Но нервы мои были настолько возбуждены, что заснуть я никакъ не могъ.

Часовъ въ шесть вечера я былъ уже въ домѣ батюшки.

— Все, все готово! — шепталъ онъ чуть слышно, воображая вѣроятно, что онъ сидитъ уже въ банѣ. — Овцы положены, соломы цѣлую вязанку оттащили... Пойдемъ!

Мы вышли на крыльцо. Но едва успѣлъ я перешагнуть черезъ порогъ, какъ „батюшка“ схватилъ меня за руку и остановилъ.

— Слышишь, — прошепталъ онъ; — слышишь какъ завываютъ!

Я, сталъ прислушиваться и, дѣйствительно, услыхалъ отдаленный вой волковъ. Онъ доносился со стороны кладбища... Сначала завывалъ только одинъ волкъ, а немного погода къ нему присоединилось еще нѣсколько голосовъ. Вой этотъ то замиралъ, то усиливался и, прислушиваясь къ нему, становилось какъ-то жутко и морозъ пробѣгалъ по тѣлу... Затявкало и нѣсколько собакъ на улицѣ, выскочилъ и батюшкинъ Палкашка. Онъ выскочилъ изъ-подъ воротъ, выбѣжалъ на улицу и усѣвшись затанулъ такую дикую ноту, что „батюшка“ тотчасъ прогналъ его опять на дворъ.

## II.

Немного погода мы были уже въ банѣ..

Баня эта помѣщалась какъ разъ позади батюшкинаго двора и, вырытая въ отвѣсномъ берегу каменистаго оврага, представляла изъ себя простую землянку; въ одномъ ея углу помѣщалась печь съ котломъ и „каменкой“, а въ другомъ досчатый полкъ. Потолокъ землянки былъ забранъ кое-какими горбылями, а три внутреннія стѣны состояли изъ каменистаго грунта, достаточно твердаго, чтобы не обвалиться. Въ передней бревенчатой стѣнѣ—низенькая дверь, обитая снаружи лохмотьями рогожи, а рядомъ съ дверью крошечное окошечко, заткнутое тряпичей. Это-то окошечко и должно было служить для насъ амбразурой. Землянка эта до того была занесена снѣгомъ, что я съ трудомъ разсмотрѣлъ ее. Точно медвѣжья берлога выглядѣла она снаружи; даже рогожа на двери, и та была залѣплена снѣгомъ. Шагахъ въ десяти отъ бани, подъ небольшою кручей лежали и овцы, долженствовавшія служить привадою.

Мы размѣстились подъ окномъ на мягкой соломѣ. Въ банѣ было дѣйствительно тепло и пахло

копотью и паренымъ вѣникомъ. Сквозь небольшой чанъ, помѣщавшійся на какой-то подставкѣ, сочилась вода и звонко кашала на земляной полъ. Съ водяной мельницы доносились шумъ колесъ, громыханіе толчеи и чей-то пискливый голосъ, жаловавшійся кому-то на пропажу двухъ гусей. — „Волки сожрали!“ — проговорилъ кто-то, и говоръ замолкъ. Въ селѣ нерѣдко скрипѣли ворота, коегдѣ лаяли собаки; воя волковъ не было слышно...  
• Ночь была свѣтлая, лунная, но туманная... Словно паръ какой-то наполнялъ воздухъ, и сквозь этотъ паръ круглый дискъ луны казался свѣтлымъ пятномъ, то меркнувшимъ, то освѣщавшимся. Прямо передъ окномъ бани выползала большимъ мысомъ довольно крутая гора, по хребту которой бурѣла дорога на мою усадьбу. Изъ-за мыса чернѣла верхушка дубоваго лѣса, а немного далѣе — громадные раскидистыя ветлы и водяная мельница съ мельничными постройками. Въ избѣ мельника дрожалъ еще огонекъ и какъ хвостъ кометы свѣтился въ туманномъ пространствѣ. На-лѣво отъ бани тянулся оврагъ и, сдѣлавъ въ этомъ мѣстѣ крутой поворотъ, казался какимъ-то ущельемъ, а на-право чернымъ силуэтомъ вырисовывался дворъ „батюшки“, заставленный снопами конопли, боронами и старыми телѣгами. Неподалеку отъ этихъ-то телѣгъ и была положена привада.

Прошло съ часъ времени — и село стало засыпать. Мельникъ заперъ шлюзы и шумъ колесъ умолкъ замирая... Блестѣвшій огонекъ потухъ... Кто-то прошелъ съ мельницы на село; снѣгъ скрипѣлъ подъ его ногами и по мѣрѣ удаленія шаговъ смолкалъ... Тишина воцарилась полная...

— Теперь скоро, — прошепталъ „батюшка“ чуть слышно; — народъ уснулъ и все утихло. Я, — прибавилъ онъ еще тише, — даже церковному сторожу строго-настрого приказалъ, чтобы не смѣлъ въ

колоколь звонить. — „Спи, говорю, чтобы я твоего звона во всю ночь не слыхалъ!“

И немного помолчавъ онъ прошепталъ:

— Я этакъ-то разъ ухлопалъ волка...

— Да развѣ попамъ дозволяется стрѣлять?

— Я еще въ тѣ поры семинаристомъ былъ, — продолжалъ батюшка пододвинувшись ко мнѣ; — въ философіи обучался... Приѣхалъ домой на рождественскія каникулы, и какъ разъ въ эту самую ночь на дворъ забралась волки, да овцу и зарѣзали. Собаки лай подняли, покойникъ отецъ и выскочилъ... Смотритъ — а волки-то овцу сквозь плетень протаскиваютъ. Отецъ зашумѣлъ, волки испугались, а овца такъ въ плетнѣ и застряла. Вотъ я на слѣдующую же ночь и давай ихъ караулить. Выпросилъ у кузнеца ружье и засѣлъ въ тарантасъ. А у насъ тарантасъ стоялъ на задахъ, старый такой, ободранный, отъ времени въ землю даже ушелъ... у рѣдкаго попа такихъ тарантасовъ нѣтъ... Вотъ я и засѣлъ въ него. Ночь была тоже лунная, свѣтлая... Ужъ я сидѣлъ, сидѣлъ, замерзъ даже... Вдругъ, передъ разсвѣтомъ слышу поскрипываетъ что-то. Я выглянулъ и вижу: идутъ!.. Подошли этакъ сажень на пятьдесятъ и принялись когтями снѣгъ царапать... Царапаютъ, а сами такъ съ овцы глазъ и не сводятъ... Я конечно дрожу весь, не дышу, притаился... Вотъ это они царапали, царапали и принялись подходить потихоньку... Шагнуть и остановятся... и все озираются и зубами щелкаютъ... Ужъ они озирались, озирались... Оглянутся кругомъ — и шагъ впередъ... Шагали, шагали, да какъ разъ возлѣ самаго тарантаса и очутились. Я какъ тресну... Хоть-бы дрыгнулъ!..

Прошло еще часа три, а волковъ все не было. Луна успѣла перебраться на другую половину небосклона и то, что прежде было обито свѣтомъ,

теперь окуталось тѣнью. Освѣтилось и ущелье оврага. Обледенѣвшіе сугробы снѣга громоздились въ этомъ оврагѣ и блестѣли словно глетчеры... Вѣяло холодомъ и сыростью. Гора тоже освѣтилась; зато лощина съ мельницею подернулась черною дымкою. На селѣ все спало мертвымъ сномъ... Ни единый звукъ не нарушалъ теперь этой величавой, таинственной тишины ночи... Туманъ сталъ изрѣдка расползаться, и тогда яркій шаръ луны проливалъ потоки свѣта. Вся снѣжная поверхность загорѣлась блескомъ алмазовъ и переливалась ихъ радужными цвѣтами. Длинные тѣни падали на эту поверхность и бороздили ее темными пятнами. Отбросилъ свою тѣнь и „батьюшкинъ“ дворъ. Какимъ-то острымъ угломъ вытянулась она въ концѣ оврага, словно переломилась, упавъ на гору, и на половину скрыла собою положенныхъ овецъ. Теперь дворъ этотъ былъ окутанъ мракомъ и не было видно ни прислоненныхъ къ нему боронъ, ни телѣгъ. Но туманъ сгущался, надвигался на луну, и тѣни мгновенно исчезали — и опять повсюду сѣроватый, монотонный свѣтъ. „Батюшка“ давно уже спалъ.

Клонила и меня дремота. Отяжелѣвшія вѣки опускались; уставшее тѣло просило покоя... Но я преодолевалъ этотъ сонъ и время отъ времени продолжалъ заглядывать въ освѣщенное отверстие окна. Раза два я осторожно выходилъ изъ бани и прислушивался къ тишинѣ ночи. Но кругомъ все молчало, только изрѣдка набѣгалъ вѣтерокъ, сдувалъ снѣгъ съ кровли бани и осыпалъ меня блестящими блестками. Ни воя волковъ, ни поступи ихъ не было слышно. Я входилъ въ баню и снова садился на прежнее мѣсто. Вода изъ чана продолжала капать на землю и нагоняла тоску. Въ соломѣ шуршали мыши, пищали и изрѣдка вступали въ драку... „Батюшка“ слегка похрапы-

валь.. Я опять посмотрѣлъ на часы... было уже два часа. А между тѣмъ въ окно проникалъ холодъ и баня замѣтно остывала. Потолокъ ея покрылся инеемъ, покрылась инеемъ и паутина... Хрустальными фестонами спускалась она съ потолка и при малѣйшемъ колебаніи воздуха приходила въ движеніе... Руки и лицо начинали холодѣть. Я сидѣлъ съ полузакрытыми глазами, и сонъ окончательно овладѣвалъ мною... Гдѣ-то далеко прокричалъ пѣтухъ, ему откликнулся другой, третій—и немного погодя опять все затихло... Въ головѣ моей забродили какія-то путанныя мысли... то представлялись мнѣ волки... то слышался ихъ вой!... Я вздрагивалъ, высовывалъ лицо въ окно, прислушивался, но все было тихо и все молчало... Свѣжій морозный воздухъ на минуту освѣжалъ меня; я смотрѣлъ на положенныхъ овецъ и вмѣстѣ съ тѣмъ чувствовалъ, какъ усы и борода незамѣтно покрывались инеемъ... дрожь пробѣгала по моему тѣлу, и я опять опускался на солону... А изъ чана вода продолжала все капать, только замѣтно рѣже... Капнетъ и затѣмъ долго, долго приходилось ждать другой капли.— „Видно, вода застываетъ!“ подумалъ я и принялся считать эти капли. Разъ, два, три... считалъ я, а вѣки мои опускались, и я словно вижу передъ собою ободранный тарантасъ, а въ тарантасѣ „батюшку“. Онъ сидитъ согнувшись, съ длиннымъ предлиннымъ ружьемъ въ рукахъ, и глаза его горятъ какъ угли... но—цѣлится онъ не въ волка, а въ меня... дуло ружья наведено прямо въ лобъ... я хочу крикнуть и не могу, хочу бѣжать, а ноги не повинуются... но вдругъ тарантасъ исчезаетъ и чудится мнѣ, что кто-то пробѣжалъ мимо окна бани, за нимъ другой, третій... бѣжали они быстро, торопливо, бѣжали гремя не то цѣпями, не то мѣдными деньгами, чуть не наткну-



лись на положенныхъ овецъ и, завернувъ за гору, скрылись... Я открываю глаза, — кругомъ все тихо, все молчитъ, и опять принимаюсь считать паденіе капель... Разъ, два, три... шепчу я и чувствую, что вѣки мои снова опускаются...

Вдругъ, кто-то толкнулъ меня въ плечо. Я вздрогнулъ.

— Стрѣляй! — шепнулъ „батюшка“.

Я приподнялся на колѣни, схватилъ ружье, просунулъ его въ окно, прицѣлился, и громовой выстрѣлъ раскатился по горамъ и ущельямъ. Что-то взметнулось кверху, конвульсивно кувыркнулось въ воздухъ и тяжело грохнулось на снѣгъ.

— Тутъ! — вскрикнулъ „батюшка“.

Не успѣли мы выскочить изъ бани, какъ съ колокольни послышался набатъ и зловѣще загремѣлъ, потрясая воздухъ. Мы словно окаменѣли, и дрожь пробѣжала по всему тѣлу...

— Что такое? — вскрикнули мы.

И, забывъ про убитаго волка, бросились по направленію къ селу. Задыхаясь и спотыкаясь на каждомъ шагу, мы бѣжали по улицѣ и, не видя ни зарева, ни огня, не знали чему приписать этотъ исполохъ. А набатъ, между тѣмъ, продолжалъ потрясать воздухъ, и чей-то отчаянный крикъ взывалъ о помощи. Народъ выбѣгалъ на улицу, оглядывался и растерянно бросался изъ стороны въ сторону. — „Что такое? Что такое?“ раздавалось повсюду, и никто не находилъ отвѣта. Бросились къ церкви съ воплемъ, съ крикомъ, и мгновенно вся гора покрылась бѣжавшимъ народомъ... А тамъ, на церковной паперти, въ одной холщовой рубахѣ съ разстегнутымъ воротомъ, босикомъ, съ разметавшимися по вѣтру сѣдыми волосами, съ испуганнымъ лицомъ и дрожа всѣмъ тѣломъ, стоялъ сторожъ и обѣими руками ухватившись за веревку неистово дергалъ ее, колотя исполохъ.

— Что случилось?—грянула толпа.

— Церковь ограбили!

Двери были распахнуты, и народъ, какъ морская волна, хлынулъ на паперть. Прискакалъ урядникъ „недреманное око“, какъ онъ себя прозвалъ, и чуть не на конѣ влетѣлъ въ церковь. Темные своды огласились гулкимъ топаньемъ народа, зажгли свѣчи—и всѣ увидали разграбленный свѣчной комодъ. Крышка его была сорвана, ящики выдвинуты, свѣчи разбросаны, кружки разломаны и деньги похищены...

Только тутъ вспомнилъ я о пробѣжавшихъ мимо бани людяхъ, о громѣ мѣдныхъ денегъ и, сообразивъ, что то былъ не сонъ, сообщилъ обо всемъ народу. Бросились за лошадьми и поскакали по всѣмъ дорогамъ. Вскочилъ и я въ какія-то сани и вмѣстѣ съ „недреманнымъ окомъ“ помчался по направленію къ мельницѣ.

Но—всѣ наши поиски оказались напрасными. Мы нашли только нѣсколько оброненныхъ мѣдныхъ монетъ, толстый восковой огарокъ, да цѣлый пучекъ мѣдныхъ крестиковъ съ розовыми тесемочками.

Только часовъ въ девять утра возвратился я домой. Проѣзжая мимо того мѣста, гдѣ былъ убитъ волкъ, я увидалъ громадную лужу крови, багровымъ пятномъ расплывшуюся по бѣлому снѣгу. Видъ крови всегда возбуждалъ во мнѣ отвращеніе, а на снѣгу она была еще отвратительнѣе. Я отвернулся отъ этого нехорошаго пятна и поспѣшилъ поскорѣе миновать его.

Вечеромъ пришелъ ко мнѣ „батюшка“. Онъ былъ мраченъ и суровъ.

— А вѣдь это ты виноватъ,—подшутилъ я,— что церковь то ограбили...

— Чѣмъ это?—спросилъ онъ.

— А помнишь, сторожу-то спать приказалъ! Вотъ онъ и проспалъ воровъ.

Но „батьюшка“ сидѣлъ и хотѣ-бы бровью повель.

— Ну что же, много похищено?—спросилъ я.

— Чего тамъ похищать-то!—проворчалъ онъ;—  
нонѣ вокругъ церквей-то небольшо разживешься...  
прежде воровъ все повыгребено... не на что му-  
ки на просфоры купить... Рублей пять мѣди одна-  
ко сволокли...

И помолчавъ немного онъ всталъ, протянулъ  
мнѣ руку и проговорилъ:

— А я тебя за охоту поблагодарить пришелъ...

— Ну, вотъ еще выдумалъ...

— Нѣтъ, все-таки...

И, какъ-то поведя плечами, словно пожимаясь,—  
прибавилъ вздохнувъ:

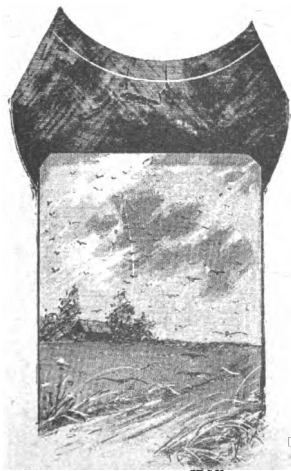
— Да, послѣдняго сторожа ухлопалъ!—Теперь  
впору хошь самому изъ-подворотни лаять...

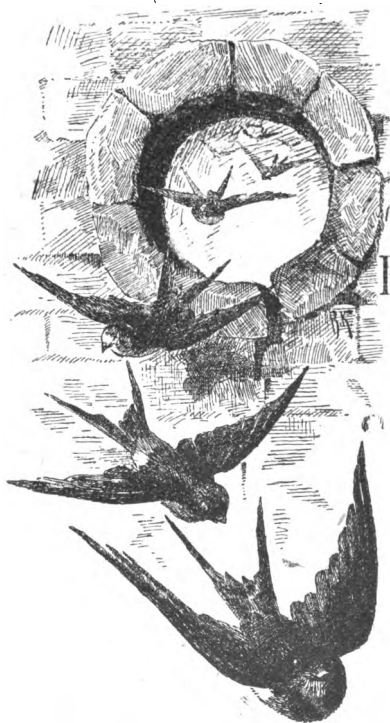
— Что такое?—удивился я.

— А то, что замѣсто волка Палкашку тре-  
снулъ... Спасибо, братъ, удружилъ!...

И онъ судорожно и крѣпко потрясъ мою руку.

Положимъ, что „батьюшка“ самъ-же разбудилъ  
меня, самъ-же крикнулъ мнѣ: „стрѣляй!“ но...  
но, тѣмъ не менѣе, я все-таки чувствовалъ себя  
весьма недовко!





# БОЛДЪЛЫЙ.

(РАЗСКАЗЪ.)

Съ Семеномъ Иванычемъ Тяпочкинымъ познакомился я совершенно случайно. Мы встрѣтились съ нимъ на Колотовской почтовой станціи, куда приѣзжалъ я за полученіемъ своей корреспонденціи. Толстый и краснощекій смотритель, въ форменномъ сюртукѣ со свѣтлыми пуговицами,

разбиралъ только-что прибывшую почту, а я сидѣлъ рядомъ и съ нетерпѣніемъ ожидалъ конца этой разборки. Въ комнатѣ было душно, пахло сургучемъ и чемоданами, а докучливыя мухи, носившіяся цѣлыми роями, не давали покоя. Вдругъ дверь изъ сѣней тихохонько приотворилась, и въ образовавшееся отверстіе просунулась чья-то гладко остриженная сѣдая голова, которая тотчасъ же и скрылась, увидавъ меня.

— Семень Иванычъ! — крикнулъ смотритель, успѣвшій увидать голову, — Семень Иванычъ!

Голова снова просунулась.

— Войди, не бойся, чего перепугался-то... не съѣдятъ, поди!—говорилъ смотритель, продолжалъ швырять пакетами;—войди...

Семенъ Иванычъ вошелъ, помолился на образа, поклонился смотрителю и робко прижался къ стѣнѣ.

— Что, за газетами?—спросилъ смотритель.

— Такъ точно-съ, коли милость ваша будетъ...

— Не знаю, есть-ли! Намедни дьяконъ стѣны у себя оклепвалъ, такъ всё забралъ никакъ...

— Ну, я въ другой разъ забѣгу-съ,—проговорилъ старикъ и собрался-было уходить, но смотритель остановилъ его.

— Погоди, можетъ и найду; только вотъ дай срокъ—почту разберу...

— Слушаю-съ,—проговорилъ старикъ и опять робко прижался къ стѣнѣ.

Наконецъ, конверты были разобраны, посылки тоже... Смотритель всталъ изъ-за стола, покряхтѣлъ, похлопалъ себя по поясницѣ, по животу, поворчалъ на трудность своей „собачьей должности“, (извѣстно, что всё чиновники считаютъ свои должности „собачьими“) и затѣмъ, вооружась половой щеткой, стоявшей въ углу, принялся шарить ею за громаднымъ сундукомъ, прислоненнымъ къ стѣнѣ, а потомъ и подъ шкафомъ. Но, не доставъ оттуда ничего кромѣ сора и разныхъ бумажныхъ обрѣзковъ, онъ поставилъ щетку на прежнее мѣсто и, опять покряхтѣвъ, проговорилъ, обращаясь къ Семену Ивановичу:

— Ну, братецъ, не взыщи... дьяконъ всё забралъ...

— Ничего-съ, въ другой разъ забѣгу...

— Вы мои не хотите-ли просмотрѣть,—проговорилъ я, замѣтивъ, что старикъ засуетился и собирался уходить.—Вотъ, возьмите...

— Нѣтъ, зачѣмъ-же...—пробормоталъ онъ, за-  
вертѣвъ своей шапкой.—Я вѣдь такъ только-съ...

— Мы вѣдь только старыя читаемъ!—вмѣшался  
смотритель.

— Да-съ, я старыя-съ...

И затѣмъ, повторивъ, что онъ забѣжитъ какъ-  
нибудь въ другой разъ, старикъ поспѣшно вы-  
шелъ изъ комнаты. Немного погодя, онъ пере-  
сѣкалъ уже улицу, а толпа мальчишекъ, прохо-  
дившая мимо, завидѣвъ его, вдругъ набросилась  
на него и, крича:—„А, а, а, оболдѣлый, обол-  
дѣлый!“—какъ волна, хлынула за нимъ.

— Я васъ!—крикнулъ смотритель, въ одинъ  
моментъ подскочившій къ окну и грозя толпѣ  
кулакомъ;—я васъ, паршивые... молчать! Я васъ...

Мальчишки мгновенно остановились, замолкли,  
а старикъ тѣмъ временемъ успѣлъ уже перебѣ-  
жать улицу и, завернувъ въ какой-то переулокъ,  
скрылся изъ глазъ.

— Кто это?—спросилъ я, когда шумъ на улицѣ  
затихъ и когда смотритель отошелъ отъ окна.

— Чиновникъ какой-то, въ селѣ Чернышахъ  
живетъ,—отвѣтилъ смотритель.

— Помѣшанный, что-ли?

— Нѣтъ-съ, а такъ какой-то несчастненькій!  
Ну вотъ и прозвали его „Оболдѣлымъ“... Впро-  
чемъ,—прибавилъ смотритель,—я его не знаю со-  
всѣмъ. Писемъ онъ никакихъ никогда не полу-  
чаетъ, самъ ни къ кому не пишетъ... только и  
вижу его, когда за старыми газетами приходитъ...

Семень Иванычъ Тяпочкинъ былъ дѣйствитель-  
но очень несчастный человѣкъ. „Оболдѣлымъ“  
народъ прозвалъ его потому, что Семень Ива-  
нычъ имѣлъ видъ какого-то не то растеряшагося,  
не то юродиваго человѣка. Это былъ старичекъ  
лѣтъ пятидесяти, тощій, сухощавый, маленькій,  
со сморщеннымъ, словно плачущимъ лицомъ и

постоянно блуждающимъ испуганнымъ взоромъ. Жилъ онъ въ селѣ Чернышахъ на какомъ-то ого-родѣ, въ крошечной избушкѣ, одинъ-одинешенекъ, знакомства ни съ кѣмъ не водилъ, къ себѣ никого не принималъ и самъ никуда въ гости не ходилъ. Чѣмъ онъ существовалъ и какъ онъ жилъ—никто не вѣдалъ. Жилъ онъ бѣдно, во всемъ себѣ от-казывалъ, даже въ мясной пицѣ, самъ себѣ ва-рилъ что-то въ горшечкѣ, но никогда ни у кого милостыни не просилъ. Квартиру снималъ за са-мую ничтожную плату, но и ту выплачивалъ не аккуратно. Въ такомъ случаѣ онъ обыкновенно прибѣгалъ къ хозяину и извинялся:—„Виноватъ,—говорилъ онъ,—денегъ нѣтъ, но я продамъ сюр-тукъ и тогда расплачусь; сюртукъ новый, хоро-шій“.—Разъ какъ-то хозяинъ сказалъ ему на это:— „да чѣмъ сюртукъ-то продавать, ты бы къ купцу Кособрюхову сбѣгалъ: онъ смерть какъ любить бѣднымъ помогать, особливо вашему брату—гос-подамъ,—хвастаетъ этимъ!“—Но старикъ даже оскорбился!.—„Я никогда руки не протягивалъ,—проговорилъ онъ съ достоинствомъ,—и никогда не протяну!“—Никто не зналъ даже откуда явился Семень Ивановъ, откуда онъ взялся, почему имен-но облюбовалъ село Черныши и почему вотъ уже цѣлыхъ пять лѣтъ никуда изъ этого села не выѣзжаетъ? Все это, вмѣстѣ взятое, долгое время смущало даже бдительность мѣстнаго урядника. Послѣдній неоднократно являлся къ старику и, несмотря на то, что Семень Ивановъ неодно-кратно же предъявлялъ ему свой „видъ“, предо-ставлявшій ему полное право влачить свое горь-кое существованіе, гдѣ бы только ни пожелалъ въ предѣлахъ Имперіи, тѣмъ не менѣе однако „виду“ этому урядникъ словно не довѣрялъ. Онъ успокоился тогда только, когда мѣстный исправ-никъ, разсмотрѣвъ „видъ“, махнулъ рукой и ска-

заль:— „пусть живетъ!“ — Изъ вида этого было извѣстно, что Семень Иванычъ не бѣглый, никакими провинностями оскверненнымъ не значился, вдовъ, состоялъ когда-то на службѣ и за выслугу лѣтъ почтенъ чиномъ коллежскаго секретаря. Одѣвался Семень Иванычъ и зимой, и лѣтомъ въ какой-то бѣличій тулупчикъ, пестрѣвшій заплатами и подпоясанный ремнемъ, валеные сапоги съ кожаными подметками, а сѣдую свою голову покрывалъ не то шапкой, не то какою-то монашескою скуфьей. Ходилъ онъ быстро, чуть не бѣгалъ, набѣгу по минутно озирался, словно боялся какого-то преслѣдованія, а при видѣ уличныхъ мальчишекъ, либо быстро повертывалъ назадъ, либо-же дѣлалъ далекій незамѣтный обходъ. По милости этихъ мальчишекъ, Семень Иванычъ даже въ церковь ходилъ только въ будни, т. е. когда въ церкви кромѣ старухъ не было никого. Заслышитъ, бывало, колоколь и отправится въ церковь, какъ-то крадучись, задами да гумнами, выберетъ себѣ самый темный уголокъ гдѣ-нибудь за печкой и, ставъ на колѣна, начнетъ молиться. Нѣсколько разъ въ годъ служилъ онъ панихиды по какомъ-то отрокѣ Гавріилѣ, платилъ за панихиду постоянно по гривеннику, но кто именно былъ этотъ отрокъ, никто опять-таки не зналъ. Чернышевскій „батюшка“ относился къ Семену Иванычу ласково, давалъ ему кое-когда просфоры, а Семень Иванычъ цѣловалъ у него за это руку. Но на этомъ и кончались ихъ отношенія. Семень Иванычъ никогда у „батюшки“ не бывалъ,—не бывалъ у него и „батюшка“. Правда, послѣдній пытался было раза два—три заходить къ нему съ рождественскими и пасхальными молебнами, но, находя каждый разъ квартиру старика зепертою снаружи висячимъ замкомъ, прекратилъ наконецъ свои попытки. Сперва таковая таинственность



образа жизни Семена Иваныча тревожила любопытство жителей села Чернышей, въ особенности же интеллигентную часть населенія, но когда старанія проникнуть въ эту таинственность оказались напрасными, всѣ примирились съ положеніемъ дѣла, а немного погодя даже забыли про старика.

Разъ какъ-то, бродя съ ружьемъ, я увидаль Семена Иваныча сидѣвшимъ надъ рѣкой и удившимъ рыбу. Это было сиустя нѣкоторое время послѣ моей встрѣчи съ нимъ на почтовой станціи. Увидавъ меня, Семень Иванычъ испугался, быстро вскочилъ на ноги и принялся суетливо собирать свои удочки.

— Вы куда-же?—спросилъ я его.

— Виновать-сь, — бормоталъ онъ испуганно и продолжая свои сборы;—я въ вашей дачѣ, а разрѣшенія не просилъ...

— Какъ вамъ не совѣстно, — поспѣшилъ я успокоить его;—пожалуйста, ловите...

— Нѣтъ-сь, все-таки это не хорошо съ моей стороны, — продолжалъ онъ;—очень не хорошо-сь.

— Прошу васъ, не стѣсняйтесь...

И чуть не силой усадивъ старика, я подсѣлъ къ нему.

Просидѣлъ я съ нимъ съ полчаса и какъ ни старался вызвать его на разговоръ, всѣ мои старанія оказались напрасными. Онъ сидѣлъ словно на иголкахъ, пугливо озирался во всѣ стороны, на удочки свои не смотрѣлъ и, кромѣ отрывистыхъ „да“ и „нѣтъ“, не сказалъ ни слова. Однако, изъ этихъ отрывистыхъ отвѣтовъ, я все-таки могъ себѣ уяснить, что Семень Иванычъ когда-то былъ женатъ, затѣмъ овдовѣлъ, имѣлъ сына, а теперь остался совершенно одинокимъ. Но замѣтивъ, что разговоръ этотъ видимо тревожить старика, я поспѣшилъ прекратить таковой, и заговорилъ совершенно о другомъ.

— Скажите,—спросилъ я его,—отчего васъ мальчишки уличные преслѣдуютъ?

Семень Иванычъ даже вспыхнулъ весь.

— Не понимаю-сь, не понимаю-сь,—чуть не вскрикнулъ онъ, какъ-то судорожно привскочивъ на мѣстѣ;—ума не приложу-сь, почему-бы это могло происходить-сь. Никогда ничего дурного имъ не сдѣлалъ, не обижалъ... не бранилъ!.. Напротивъ-сь, люблю ихъ, жалю-сь... всей душой люблю... Можетъ, мой костюмъ смѣшитъ ихъ,—добавилъ онъ, приподнимая плеча.

— А вы-бы попробовали задобрить ихъ чѣмънибудь...

— Пробовалъ-сь... и орѣхами и пряниками кормилъ...

— И что-же?

— Не помогло-сь.

И, немного помолчавъ, прибавилъ:

— Впрочемъ, я не виню ихъ... Я никогда дѣтей ни въ чемъ не обвиняю... они не виноваты, никогда... никогда не виноваты!.. Чѣмъ-же они виноваты, ежели самъ школьный ихъ учитель, и тотъ смѣется надо мной... а это меня очень огорчаетъ... я очень люблю дѣтей... грустно даже, тяжело... Для меня это большое лишеніе, что я не могу играть съ ними... шутить, разговаривать...

— А вы очень любите дѣтей?

— Очень-сь, больше всего на свѣтѣ-сь...—И онъ хотѣлъ еще что-то сказать, но словно самъ испугался своей болтливости, вскочилъ поспѣшно на ноги и, посмотрѣвъ на солнце, принялся собирать удочки.

— Вы куда-же?—спросилъ я его.

— Домой пора-сь, домой... Заболтался съ вами... Извините, прошу васъ...

Я не возражалъ, а когда удочки были собраны,

связаны въ одинъ пучекъ, а сачекъ съ наловленной рыбой вынуть изъ воды, Семень Иванычъ еще торопливѣе заговорилъ:

— Ради Бога, простите мнѣ мою оплошность...

— Какую?—удивился я.

— Помилуйте, не спросясь—и вдругъ въ вашихъ дачахъ рыбу ловиль!.. Позвольте вамъ вручить ее—и онъ протянулъ ко мнѣ сачекъ съ рыбой.

— Вы меня обижаете, Семень Иванычъ.

— Простите, ради Бога простите...

— Вы лучше вотъ что скажите мнѣ,—заговорилъ я, тотчасъ-же замѣтивъ, что старикъ весь насторожился.

— Что такое-съ?—спросилъ онъ робко.

— Зачѣмъ вы на станцію за газетами ходите? Берите ихъ у меня... вѣдь моя усадьба гораздо ближе отъ васъ, чѣмъ станція... я выписываю нѣсколько газетъ...

Семень Иванычъ видимо успокоился.

— Ну что же, будете приходить?—спросилъ я.

— Безпокоить совѣстно...—пробормоталъ онъ.

— Я васъ прошу... приходите каждый день и берите всѣ газеты.

— Покорнѣйше благодарю-съ...

— А дѣтей моихъ служащихъ вы не бойтесь,—проговорилъ я, протягивая ему руку;—они у меня не озорничаютъ и никого не обижаютъ...

Но Семень Иванычъ ничего не отвѣтилъ мнѣ и, какъ-то торопливо раскланявшись, взвалилъ на плечо удочки и чуть не бѣгомъ побѣжалъ отъ меня. Долго смотрѣлъ я ему въ слѣдъ и внутренно сознавалъ, что то былъ дѣйствительно очень странный человѣкъ, весьма походившій на душевно-больного.

Однако, нѣсколько дней спустя, Семень Ивановичъ все-таки пришелъ ко мнѣ. Пробирался онъ

какъ-то вдоль плетня, огибавшаго садъ, поминутно останавливаясь и вытягивая шею, словно высматривая кого-то. Увидавъ меня сидѣвшимъ на крыльцѣ, онъ видимо успокоился. Онъ даже какъ-то приосанился, обдернулъ на себѣ свой тулупчикъ и уже смѣло подошелъ ко мнѣ. Подойдя, расшаркался и тотчасъ-же напомнилъ о моемъ общаніи снабжать его прочитанными газетами. Я пригласилъ его войти въ домъ, онъ охотно послѣдовалъ за мной, но дальше передней не пошелъ.

— Я здѣсь подожду-съ, здѣсь, — проговорилъ онъ...

И несмотря на всѣ мои просьбы и приглашенія, такъ-таки въ передней и остался. Дѣлать было нечего. Я вынесъ ему газеты... Онъ тщательно завернулъ ихъ въ пестрый ситцевый платокъ, завязалъ узелкомъ и, поблагодаривъ меня „за одолженіе“, поспѣшно вышелъ.

Съ той поры Семенъ Ивановичъ являлся ко мнѣ аккуратно черезъ день, возвращалъ прочитанныя газеты и забиралъ новыя. Но все-таки дальше передней никогда не ходилъ.

Разъ какъ-то, возвращаясь съ охоты, я увидѣлъ Семена Ивановича сидящимъ у меня на крыльцѣ въ сообществѣ всѣхъ мальчишекъ и дѣвчонокъ, проживавшихъ въ моей усадьбѣ. Старика нельзя было узнать. Онъ былъ веселъ, глаза его горѣли какимъ-то радостнымъ огнемъ, и онъ какъ-то особенно счастливо улыбался. Увидавъ меня, онъ быстро вскочилъ на ноги и суетливо подбѣжалъ ко мнѣ.

— Вотъ-съ, вотъ-съ, — бормоталъ онъ, захлебываясь отъ охватившаго его волненія; — вотъ-съ ваши ребятишки не такіе, какъ тѣ... Не смѣются, не обижаютъ-съ... Нѣтъ, нѣтъ... Даже дѣдушкой называли-съ... Ей Богу-съ...

И вдругъ, повернувшись всѣмъ корпусомъ къ ребятишкамъ, онъ вскрикнулъ:

— Дѣдушка?... а? дѣдушка?..

— Дѣдушка, дѣдушка,—заголосила толпа...

— Слышали-съ?... Ну вотъ-съ,—бормоталъ онъ, нѣжно посматривая на дѣтей и глядя ихъ рукою по головкамъ;—ну, вотъ-съ, дѣдушка... Значить, я не злой, коли дѣти полюбили меня.

И опять обратясь къ нимъ, онъ заговорилъ торопливымъ и растроганнымъ голосомъ:

— Да, дѣтушки, любите, любите меня... Я самъ люблю васъ... жалѣю васъ... Богу молюсь за васъ... Каждый день молюсь, чтобы Господь подкрѣпилъ васъ, поддержалъ васъ...

И, проговоривъ это, старикъ вдругъ зарыдалъ, какъ ребенокъ, немощно опустил на крыльцо и закрылъ лицо руками. Но немного погодя, словно опомнившись, онъ отеръ кулаками глаза и проговорилъ, обращаясь ко мнѣ.

— Извините, Бога ради... простите великодушно...

Меня удивляло еще одно обстоятельство, а именно то, что почти изо всѣхъ газетъ, прочитанныхъ Семеномъ Ивановичемъ, онъ непременно что-то вырѣзалъ и оставлялъ у себя. Рѣдкій номеръ возвращался мнѣ неприкосновеннымъ. Сначала я не обратилъ на это вниманія, но потомъ вырѣзки эти поневолѣ бросались мнѣ въ глаза, и я подъ конецъ заинтересовался ими. И вотъ однажды я рѣшился спросить старика, что именно вырѣзаетъ онъ изъ газетъ. Вопросъ этотъ до того смутилъ Семена Ивановича, что онъ сперва покраснѣлъ какъ-то, словно какъ онъ былъ пойманъ съ поличнымъ, потомъ поблѣднѣлъ, а затѣмъ началъ извиняться, что, не спрося моего разрѣшенія, позволилъ себѣ рѣзать газеты. Мнѣ стоило большихъ усилій успокоить старика и рас-

толковать ему, что я вовсе и не думалъ претендовать на него; что прочитаныя газеты все равно уничтожаются; а что спросилъ его объ этомъ единственно потому только, что хотѣлось узнать, чѣмъ именно онъ такъ интересуется. Старикъ долго не хотѣлъ вѣрить всему, мною высказанному, продолжалъ извиняться, но когда убѣдился, что дѣйствительно я никакой претензіи на него не имѣю, объявилъ, что онъ вырѣзаетъ нѣкоторые нужныя ему объявленія, и въ то-же время прибавилъ, что впередъ этого себѣ не дозволить. Съ тѣхъ поръ Семенъ Ивановъ возвращалъ мнѣ газеты совершенно неприкосновенными и никакихъ вырѣзокъ не дѣлалъ. Только разъ какъ-то, обратясь ко мнѣ, онъ проговорилъ:

— Не дозволите-ли мнѣ сдѣлать одну вырѣзочку-съ?

— Какую?

— О „школьной гигиенѣ“, — проговорилъ онъ. Въ статейкѣ этой помѣщено извлеченіе изъ доклада профессора Геннига, смыслъ котораго тотъ, что чрезмѣрная работа мозга очень вредно отзывается на юношества и что самоубійства у дѣтей, о которыхъ прежде и не слыхали, вызываются болѣзненнымъ соревнованіемъ въ школѣ.

— Сдѣлайте одолженіе, — проговорилъ я, не безъ удивленія посматривая на него.

Но удивленія этого старикъ не замѣтилъ; онъ попросилъ ножницы, отыскалъ номеръ, въ которомъ была помѣщена эта статейка, аккуратно вырѣзалъ ее, бережно положилъ въ карманъ и затѣмъ, раскланявшись, вышелъ. А какъ только онъ ушелъ, я пересмотрѣлъ нѣкоторые уцѣлѣвшіе номера газетъ, изъ которыхъ онъ дѣлалъ вырѣзки, и убѣдился, что старикъ сказалъ мнѣ неправду. Ни одна вырѣзка не приходилась къ отдѣлу объявленій, а, напротивъ, — въ большинствѣ

случаевъ онъ вырѣзалъ что-то изъ „внутреннихъ извѣстій“ и „провинціальной корреспонденціи“. Но я боялся уже сызнова допрашивать старика и оставилъ его въ покоѣ.

Зато съ тѣхъ поръ, какъ Семень Ивановичъ сдружился съ моими ребятишками, онъ началъ уже приходиться ко мнѣ за газетами не черезъ день, какъ было прежде, а ежедневно. Приходилъ уже не крадучись, не вдоль забора, а прямо по дорогѣ, весело улыбаясь и смѣло посматривая во всѣ стороны. Обмѣнить, бывало, газеты, расшаркается и затѣмъ прибавить съ улыбкой:

— А теперъ къ нимъ пойду-съ, къ ребятишкамъ-съ.

А ребятишки, глядишь, ужъ поджидаютъ его гдѣ-нибудь за угломъ, а какъ только увидятъ его, такъ и грянуть всѣмъ хоромъ: „Здравствуй, дѣдушка, здравствуй!“

И старикъ былъ счастливъ, безконечно счастливъ!... Онъ торопливо обнималъ каждого, цѣловалъ, гладилъ по головѣ и затѣмъ щедро одѣлялъ ихъ пряниками и орѣхами...

Такъ прошло лѣто, такъ прошла осень, и, наконецъ, наступила зима. Въ описываемый годъ зима была ранняя. Въ началѣ ноября выпалъ обильный снѣгъ, шелъ подрядъ нѣсколько дней, шелъ тихо, не падалъ, а какъ-то опускался; завалилъ собою землю, завалилъ села и деревни чуть не по самыя крыши; завалилъ сугробами лѣсъ, окуталъ собою, словно ватой, вѣтви деревьевъ, и сообщеніе на время прекратилось. Но вотъ ударили морозы, дороги накатались, обставились соломенными вѣшками, потянулись обозы и оживили собою засыпанную снѣгомъ окрестность.

Нечего говорить, что по случаю этихъ сугробовъ Семень Иванычъ не могъ приходиться ко мнѣ за газетами. Въ это самое время мнѣ встрѣти-

лась надобность побывать въ городѣ... Проѣздивъ я недѣли двѣ, а возвратясь домой, тотчасъ-же справился: не приходилъ-ли безъ меня Семень Иванычъ? Но и во время моего отсутствія онъ ни разу не былъ. Такъ прошло еще съ недѣлю, какъ вдругъ поварь, ѣздившій на базаръ въ село Черныши, объявилъ мнѣ, что Семень Иванычъ замерзъ.

— Какъ, гдѣ?—вскрикнулъ я въ ужасѣ.

— У себя, въ избенкѣ...

— Быть не можетъ!...

— Вѣрно докладываю-съ... И становой, и докторъ пріѣхали... потрошатъ его...

— Да какъ-же въ избѣ то замерзнуть?

— Да коли она не топлена была-съ!

И затѣмъ прибавилъ:

— Даже такъ полагають, что онъ и замерзъ-то давнымъ давно, потому и слѣда-то къ нему званья не было... и избушка-то вся до верху снѣгомъ завалена, на-силу дверь откопали...

Я не вѣрилъ ушамъ своимъ и, желая убѣдиться на мѣстѣ въ точности всего сообщеннаго мнѣ, приказалъ заложить лошадей. Немного погодя я былъ уже у Семена Ивановича. Крошечная избенка, дѣйствительно до верху занесенная снѣгомъ, была переполнена народомъ; народъ тѣснился даже у входа и глухо гудѣлъ, словно только-что отроившійся рой пчель. Становой и лѣкарь уснѣли уже покончить вскрытіе и уѣхали. Я съ трудомъ протискался въ избу. Въ ожиданіи „батьюшки“, которому было сообщено „предать землѣ тѣло усопшаго по христіанскому обряду“, Семень Иванычъ лежалъ въ наскоро сколоченномъ гробу и, весело какъ-то улыбаясь, словно говорилъ: — „Вотъ какой я съ вами фокусъ выкинулъ! взялъ да и умеръ тихонько отъ васъ“!—Лицо его выражало удовольствіе и самъ онъ лежалъ словно до-



вольный и счастливый, что наконецъ-то онъ дотянулъ до того момента, когда всѣ людскія страданія прекращаются и когда всѣ расчеты съ жизнью кончаются сами собой.

— Неужели замерзъ?—спросилъ я, обращаясь къ окружавшимъ гробъ.

— Съ голоду, вишь, померъ,—отозвалось нѣсколько голосовъ.

— Какъ, съ голоду?

— Голодной смертью...—отозвались опять голоса;—лѣкаръ говорилъ, что, вишь, ничего въ утробѣ-то не было...

— Да какъ-же это могло случиться-то?—вскрикнулъ я.

— Такъ и случилось...—доѣлъ послѣдній кусокъ, прожилъ послѣдній грошъ—и умеръ.

Возлѣ давно уже нетопленной печи какая-то старуха разсматривала какое-то платье, вынутое изъ пустого сундука. Это были: окровавленная сорочка и гимназическій мундирчикъ. Въ лѣвомъ борту мундирчика виднѣлось небольшое отверстіе съ обожженными краями, произведенное какъ будто пулей... Морозъ пробѣжалъ по моему тѣлу... Я выхватилъ изъ рукъ старухи сорочку и на окровавленномъ пятнѣ увидаль такое-же отверстіе какъ и на мундирчикѣ.

— Это что-же такое?—спросилъ я, боясь вѣрить глазамъ своимъ.

— Сынъ, вишь, былъ у него, да застрѣлился...

Въ томъ-же пустомъ сундукѣ лежала переплетенная тетрадь... Я раскрылъ ее и на первой-же страницѣ увидаль наклеенный фотографическій портретъ юноши въ гимназическомъ мундирѣ и съ подписью внизу: ученикъ IV класса Гавріиль Тяпочкинъ. Вслѣдъ за портретомъ былъ наклеенъ фельетонъ, въ которомъ игривый фельетонистъ, общая читателямъ о застрѣлившемся гимназистѣ

Тяпочкинъ, объяснялъ этотъ фактъ недостаткомъ мужества и твердости духа, отличающимъ нынѣшнюю молодежь отъ той молодежи, къ которой онъ самъ принадлежалъ когда-то. Но, не дочитавъ фельетона, я продолжалъ переворачивать страницы тетради и увидалъ, что всѣ онѣ были заклеены газетными вырѣзками, сообщавшими о случаяхъ самоубійства учащейся молодежи. Последнею вырѣзкою была та самая статейка „О школьной гигиенѣ“, въ которой говорилось о докладѣ проф. Геннига и о дозволеніи вырѣзать которую прислалъ меня Семенъ Ивановичъ.

Пріѣхалъ батюшка, въ шубѣ, шарфѣ, съ обледенѣвшими усами и бровями, посмотрѣлъ на покойника, подышалъ себѣ въ кулаки, потопалъ ногами и, вскрикнувъ: „бѣдняга!“, принялся за отпѣваніе. Немного погодя, гробъ забили гвоздями, затѣмъ вынесли изъ избы, поставили на дровни и повезли на кладбище.

— Вы смотрите у меня, — приказывалъ батюшка мужикамъ, отправившимся слѣдомъ за дровнями; — сегодня-же закопайте, а то я знаю васъ... чего добраго, до завтраго отложите...

Спустя нѣкоторое время, я узналъ отъ доктора, вскрывавшаго трупъ Тяпочкина, что, по всѣмъ даннымъ, умеръ онъ голодною смертью, а морозъ только пособилъ скорѣйшему прекращенію жизни.

Такъ умеръ „ободѣлый“, отецъ застрѣливаго сына, и теперь уже не было тайной, что именно отецъ этотъ вырѣзалъ изъ газетъ и кто именно былъ тотъ отрокъ Гавріиль, о которомъ онъ такъ часто служилъ панихиды, платя за каждую по гривеннику.



## Лекція въ деревнѣ по поводу солнечнаго затменія.

(РАЗСКАЗЪ.)

Шестого августа 1887 года, часу въ седьмомъ вечера, купецъ Николай Макарычъ Косорылинъ пришелъ на свое гумно. Тамъ, на гумнѣ, въ громадной ригѣ, гудѣла конная молотилка и производилась спѣшная молотьба ржи. Работа была въ полномъ разгарѣ и всѣ торопились до-молотить засвѣтло привезенные въ ригу снопы. Машина изрыгала изъ себя вороха обмолоченной соломы, которую бабы быстро подхватывали граблями и быстро же перебрасывали слѣдующимъ от-

гребальщикамъ. Подавальщикъ непрерывно соваль въ пасть машины вѣромъ распущенные снопы и поминутно кричалъ: — „Пошелъ, пошелъ!“ — а погоняльщики, сидя на приводѣ, понукали лошадей, похлестывая ихъ длинными прутьями.

— Стой! — крикнулъ Косорылинъ зычнымъ голосомъ, сдѣлавъ повелительный жестъ рукой, — сто-о-ой!

Все затихло и молотба прекратилась.

— Подходи сюда! всѣ подходи! — продолжалъ Косорылинъ.

Толпа окружила его, а онъ смотрѣлъ на толпу суровымъ нахмуреннымъ взглядомъ и немного погодя проговорилъ:

— Копти стекла, ребята, завтра затменіе будетъ.

Его никто не появля.

— Копти стекла, говорятъ! — крикнулъ онъ, топнувъ ногой, — чего рты-то разинули!

И затѣмъ прибавилъ болѣе спокойнымъ голосомъ:

— А завтра утречкомъ ко мнѣ на балконъ... Объяснять буду!

Затѣмъ онъ отправился на другое гумно, на третье; завернулъ въ людскую, на кухню, въ овчарню, на скотный и, отдавъ вездѣ то же самое приказаніе, возвратился домой. Войдя въ свой кабинетъ и усѣвшись въ мягкое кресло (Косорылинъ — богатый землевладѣлецъ и почетное лицо въ уѣздѣ), приказалъ кликнуть къ себѣ старшаго прикащика. Когда тотъ явился и почти-тительно остановился у притолки, Косорылинъ объявилъ ему о предстоящемъ солнечномъ затменіи, разъяснивъ, для чего именно требуются законченные стекла. Затѣмъ онъ приказалъ разъяснить все это народу и собрать его завтра утромъ на балконъ.

— Да школьниковъ всѣхъ кликни,—прибавилъ онъ важно,—попечитель я надъ школой-то, такъ разъяснять буду... чтобы всѣ знали: какъ и что...

— Слушаю-съ,—отвѣтилъ прикащикъ.

— А самъ-то ты понимаешь?

— Ничего не понимаю, Николай Макарычъ.

— Ну, приходи и ты, послушаешь... За одно разъяснять-то.

— Покорнѣйше благодаримъ-съ.

— А теперь ступай.

Прикащикъ поклонился, тряхнулъ волосами и быстро юркнулъ въ дверь.

— Да, — разсуждалъ Косорылннъ, поигрывая золотой цѣпочкой своихъ часовъ, — темный народъ... темный какъ есть... словно стадо коровъ, или барановъ... ничего не знаетъ... ничего!..

И тяжело вздохнувъ, онъ поднялся съ кресла, взялъ съ письменнаго стола закопченное стеклышко, купленное имъ въ городѣ, вышелъ на балконъ и принялся сморѣть на заходившее солнце.

— Вишь, — говорилъ онъ, заслонивъ ладонью лѣвый глазъ, — вишь ты, словно вишенка красная... Сколько хошь смотри и слеза не бьетъ... Вонъ оно что значить просвѣщеніе-то...

Выползла на балконъ и жена Косорылина, старая, сморщенная женщина, въ темномъ платьѣ и съ головой, повязанной платкомъ, и глядя на мужа, все еще щурившагося въ стеклышко, проговорила не безъ робости:

— А все-жъ-таки, не мѣшало-бы за „батушкой“, за отцомъ Григоріемъ послать, да передъ началомъ-то молебень отслужить...

Косорылннъ расхохотался.

— Ахъ ты, тьма непроглядная!—проговорилъ онъ, устремивъ на жену брезгливый взглядъ,—словно корова, али овца—ничего не понимаетъ!..

На слѣдующій день часовъ въ пять утра Ко-

сорылинъ сидѣлъ уже на балконѣ въ приготовленномъ для него креслѣ, возлѣ котораго стоялъ небольшой столикъ, а на столикѣ нѣсколько купленныхъ закопченныхъ стеколъ и бинокль. По сторонамъ и сзади Косорылина помѣщалась толпа работавшихъ у него мужиковъ и бабъ. Старуха жена выдти на балконъ отказалась и осталась въ своей комнатѣ, приказавъ предварительно запретить наглухо оконныя ставни и спустить занавѣски. Когда все это было исполнено, она затеплила въ образницѣ всѣ имѣвшіяся тамъ лампадки и принялась молиться Богу \*). Изъ учениковъ школы явились только двое, а именно: сынъ дьячка и сынъ проживающаго въ селѣ сапожника; остальные же не явились, такъ какъ всѣ оказались въ разбродѣ. Косорылинъ съ торжествующимъ лицомъ смотрѣлъ свысока на толпу, видимо оробѣвшую въ ожиданіи затменія, и какъ истый профессоръ, самодовольно потиралъ руками, бѣлыми и пухлыми какъ крупчатое тѣсто.

— Что? робѣете? — спрашивалъ онъ улыбаясь.

— Боязно, Николай Макарычъ, — отвѣчала толпа, — прогнѣвали Господа...

— Не робѣйте, не робѣйте, — успокоивалъ Косорылинъ... Я вамъ все разъясню, погодите... Никакого тутъ гнѣва нѣтъ!

Пришелъ и сельскій учитель, юноша лѣтъ двадцати двухъ-трехъ, въ большихъ синихъ очкахъ, косматый, въ парусинной парѣ и со штанами, заправленными въ голенища сапогъ. Войдя на

---

\*) То же самое дѣлали и набожныя старушки села, съ тою разницею, что затепливали не лампадки, а восковыя свѣчи, которыя, на этотъ разъ, пріобрѣтались не въ лавочкахъ, гдѣ свѣчи дешевле, а непременно въ церквяхъ. Въ праздникъ Преображенія, по случаю затменія, свѣчи въ церквяхъ продавались въ очень большомъ количествѣ.

*Авторъ.*

балконъ, онъ расшаркался передъ Косорылинымъ, протянулъ ему руку, потрянулъ его руку такъ, что кости затрещали, и затѣмъ съ какою-то насмѣшливой улыбкой замѣтилъ, поглядывая на кресло и на столикъ со стеклами:

— Обсерваторію соорудили?

Улыбка эта не понравилась Косорылину, но онъ все-таки отвѣтилъ:

— Соорудилъ.

— Лекцію прочтете?

— Разъяснять буду!..

— Отлично!

— Тьма вѣдь! — замѣтилъ Косорылинъ, загроживая отъ толпы ротъ ладонью. — Словно коровы, аль бараны... Надо-же...

— Сейчасъ я брошюрку Кавальскаго пробѣжалъ по поводу затменій, — подхватилъ учитель...

Но Косорылинъ перебилъ его.

— Видѣлъ я ее, показывали...

— Такъ вотъ-съ, въ этой брошюрѣ, — продолжалъ учитель, — авторъ дикарей описываетъ... До сихъ поръ еще дикари эти думаютъ, что драконъ у людей солнце отнять собирается... шумъ поднимаютъ, барабанятъ, трубятъ, орутъ, кричатъ...

— Тьма! — перебилъ его Косорылинъ.

И, перемѣнивъ тонъ, прибавилъ:

— Жалко вотъ нашихъ-то сопляковъ не будетъ, — двое только явились...

— Да, въ разбродѣ всѣ...

— Ты разъяснялъ имъ што-ли, про затменіе-то про это?

— Нѣтъ еще...

— Ну, все одно, я разъясню! А „копченка-то“ есть у тебя? — спросилъ онъ немного погодя.

— Нѣтъ.

— Такъ вотъ на, возьми... Это я было для школьниковъ накупилъ въ городѣ... дешево, по

пятачку всего... ну, вотъ я двадцать штукъ и забралъ...

И вдругъ, замотавъ головой, вскрикнулъ:

— И выжигаетъ только народъ сталь!

— А что?—спросилъ учитель.

— Изъ ничего комерцію выдумаетъ... Посчитайка: сколько на этихъ „копченкахъ“ денегъ нажито!

— А брошюрку-то купили?

— Была нужда тридцать копѣекъ платить!..

Мы и безъ того знаемъ,—не велика хитрость...

А толпа все стояла молча, понуривъ головы, и съ трепетомъ ожидала предстоящаго „помраченія“.

Наконецъ это „помраченіе“ наступило. Его первый замѣтилъ Косорылинъ, не отнимавшій отъ глаза „копченки“.

— Стой!—крикнулъ онъ,—начинается.

Толпа заколыхалась, но не рѣшалась взглянуть въ стекла.

— Смотри, смотри ребята,—суетился Косорылинъ,—сверху заѣдать начало... сверху...

— Батюшка, Царь небесный! Матушка Богородица Пресвятая!—шептали бабы. Но въ стекла все-таки никто смотрѣть не рѣшался. Такъ прошло минутъ десять, пятнадцать, и Косорылину стоило не малыхъ хлопотъ достигъ того, чтобы посмотрѣли въ стекла. А когда онъ этого добился и когда народъ увидаль, что на солнце напозааетъ что-то круглое и черное и что это черное начинаетъ заслонять собою яркое свѣтило, то всѣ даже застонали и принялись креститься.

— Не робѣй, братцы, не робѣй! —сбодрялъ Косорылинъ,—ничего не будетъ, все пройдетъ!.. Я ужъ ихъ этихъ затменіевъ то видаль—перевидаль... никогда ничего не было...

А когда солнце на половину закрылось, онъ почему-то засучилъ рукава, поднялся съ мѣста и проговорилъ:



— А теперь слушайте, разъяснить буду... Смотрите всё въ копченки!.. Эй, вы, школьники! — крикнулъ онъ, обратясь къ двумъ мальчуганамъ, стоявшимъ поодаль, — подходи ко мнѣ, да слушать въ оба! а тамъ опосля другимъ разъяснить будете. Видите вы, на солнце-то что-то черное да круглое заползаетъ? — спрашивалъ онъ школьниковъ.

— Видимъ! — отозвались тѣ.

— Видите, — солнце-то на манеръ дынной корки дѣлается?

— Видимъ, Николай Макарычъ...

— Пропало наше солнышко красное, — стонали бабы, — красота наша, поилица-кормилица...

— Ничуть не пропало! — крикнулъ Косорылинъ, — тутъ оно, тутъ, потому что черное пятно это только одна прокламація, тѣнь отъ земли и больше ничего. А сдѣлалось это оттого, что таперича земля наша какъ разъ промежь солнца и луны потрафила. Луна-то свѣтитъ на землю, а отъ земли-то тѣнь на солнце и падаетъ... По этому по самому мы и знаемъ таперича, что земля наша круглая!.. А вотъ маленько погодя, — кричалъ Косорылинъ все болѣе и болѣе воодушевляясь и даже не замѣчая, что его никто не слушаетъ и что общее вниманіе обращено только на одно потускнѣвшее солнце, — маленько погодя, когда луна отойдетъ отъ земли, тогда и тѣни на солнцѣ не будетъ!

И затѣмъ, хлопнувъ по плечу одного изъ школьниковъ, крикнулъ:

— Понялъ?

— Понялъ, Николай Макарычъ.

— Не страшно таперь?

— Страшно, Николай Макарычъ...

— Батюшка, Царь небесный, пропало наше солнышко, красота ненаглядная! — слышалось въ толпѣ.

Но въ это время подошелъ къ Косорылину учитель.

— А вѣдь вы все перепутали, Николай Макарычъ,—проговорилъ онъ съ ехидной улыбкой.— То, что вы сейчасъ говорили про солнечное затменіе, похоже нѣсколько на лунное... а вѣдь теперь солнечное...

Косорылинъ даже глаза вытаращилъ отъ изумленія.

— Что-о?—спросилъ онъ, весь побагровѣвъ отъ гнѣва,—что ты сказалъ?

— Я говорю, что не лунное, а солнечное...

— Знаютъ и безъ тебя, что солнечное!

— Такъ вѣдь солнечное затменіе не „тѣневое съ“, а „заслончатое“, такъ сказать...

— Это еще откуда ты заслонку-то взялъ!

— Не земля теперь промежъ луны и солнца,— продолжалъ учитель,—а совсѣмъ наоборотъ: луна между солнцемъ и землею... и вотъ эта луна сейчасъ заслоняетъ собою солнце! Поэтому я и прозвалъ это затменіе „заслончатымъ“, ибо названіе это стократъ понятнѣе всѣхъ доселѣ существующихъ въ астрономіи названій! Луна не можетъ набрасывать тѣни на солнце, луна сама заимствуетъ свой свѣтъ отъ солнца...

— Это ночью-то,—перебилъ его Косорылинъ,— когда солнца-то и въ поминѣ нѣтъ!

— Луна есть такой жетемный шаръ, какъ и земля...

— А въ лунныя ночи въ городахъ фонари не зажигаютъ!—перебилъ его опять Косорылинъ. Но, замѣтивъ, что учитель собирается ему что-то возражать, поспѣшно спросилъ:

— Такъ по твоему таперича на солнце-то луна залѣзаетъ?

— Не залѣзаетъ, а заслоняетъ...

Косорылинъ упалъ на кресло и захохоталъ что было мочи.

— Братцы мои, — кричалъ онъ, растопыривъ руки и обращаясь къ толпѣ, — да гдѣ-же это онъ, луну-то нашель! Видѣль-ли ктонибудь изъ васъ луну возлѣ солнца... Кабы она тутъ была, подибы не прозѣвали—увидали!..

— Позвольте-съ, — говорилъ учитель, тоже начинавшій горячиться.

— Нѣтъ, ты таперь луну-то вонъ гдѣ ищи! — перебилъ его Косорылинъ, указывая пальцемъ на полъ, — вонъ гдѣ, — внизу, а не тамъ, не наверху!..

— Постойте...

— Намъ стоять нечего! — острилъ Косорылинъ, — мы и на креслахъ посидимъ.

— Вы слышали звонъ...

— Это можетъ у тебя въ ухахъ-то съ голоду звенить, а мы кажинный день кушаемъ...

— По вашему, гдѣ-же теперь земля? — кричалъ учитель.

— Братцы мои! — обратился опять Косорылинъ къ толпѣ, — укажите ему, гдѣ земля-то. Землю не видить человекъ! Потерялъ!

— Промежъ солнца и луны? — добивался учитель.

— Извѣстно...

— И на солнце тѣнь бросаетъ?..

— Смотри, колп не вѣришь! — крикнулъ Косорылинъ, указывая рукой на потемнѣвшее солнце. — Чего ты ко мнѣ словно банный листъ присталь... Смотри самъ!..

Учитель даже стеклышко швырнулъ на полъ.

— Такъ вы невѣжда! — вскрикнулъ онъ, остановясь передъ развалившимся въ креслѣ астрономомъ. — Не земля между солнцемъ и луной, а луна между землей и солнцемъ!.. Не „тѣневое“ это затменіе, а „заслончатое“... А еще разъяснять затѣяли, народъ собрали... Вы сами-то темнѣе этого народа!.. Сами-то вы баранъ.

— Что-о-о-о-о?—вскрикнулъ Косорылинъ, вскочивъ съ кресла и стиснувъ кулаки.

— Баранъ!

— Баранъ?

— Ба—ранъ! — крикнулъ учитель и быстро сбѣжалъ съ балкона. А когда сбѣжалъ и очутился въ палисадникѣ, принялся кричать: — не „тѣневое“ это затменіе, а „заслончатое“, да-съ, „заслончатое, заслончатое!..“ а вы баранъ, баранъ, какъ есть баранъ!

Тутъ уже Косорылинъ не выдержалъ... Онъ бросился за учителемъ, сбѣжалъ со ступеней балкона, но, увидавъ, что учитель лупить уже по выгону, направляясь къ селу, онъ возвратился на балконъ и, грузно опустившись въ кресло, прошепталъ задыхаясь отъ гнѣва:

— Ладно, стой... Я тѣ покажу заслонку!..

А затменіе тѣмъ временемъ шло своимъ порядкомъ... Яркое солнце превратилось въ какой-то узенькій серпъ... Тѣнь разлилась повсюду... деревья стояли неподвижно, точно замерли; зеленые листья казались мертвыми, словно вырѣзанными изъ зеленаго коленкора, и ни единый свѣтлый бликъ не оживлялъ ихъ своимъ трепетнымъ дрожаніемъ... падавшая отъ нихъ тѣнь на балконъ была едва замѣтна... сдѣлалось какъ-то прохладно, вѣяло могилой и термометръ съ 15 градусовъ упалъ на 11. Все замолкло, все замерло... даже воробьи, все время чирикавшіе на вѣтвяхъ развѣсистаго вяза, умолкли и забились въ его листву. А толпа, все время стоявшая молча и не обращающая даже и вниманія на только что случившееся столкновеніе двухъ астрономовъ, только содрогалась отъ обуявшаго ее ужаса! Она шопотомъ читала молитвы и, испуганно забившись въ уголокъ балкона, покорно ожидала назначеннаго конца. Для толпы этой не существовало

никакихъ затменій, ни „тѣневыхъ“, ни „заслончатыхъ“, а существовалъ только одинъ законъ — божественная воля Творца вселенной! Это была темная толпа, правда, но все-таки не походившая на ту темную толпу дикарей, воевавшую съ дракономъ. Это была толпа, никогда не дерзнувшая бы идти на борьбу съ Промысломъ. Она готова была упасть ницъ, покориться, но отнюдь не воевать.

Прошло еще минутъ пятнадцать, и вотъ солнце стало проясняться, и природа снова оживилась! Заискрились листья деревьевъ; тѣни отъ нихъ, какъ бабочки, заметались по балкону, зачирикали воробьи и, шумно вылетѣвъ изъ листвы вяза, грянули по направленію къ гумну. Народъ тоже ожилъ, пріободрился, встрепенулся... принялся креститься... лица озарились веселой улыбкой (извѣстно, что русскій человѣкъ быстро забываетъ горе), а Косорылинъ стоялъ впереди всѣхъ и, торжественно показывая на небо всей пятерней правой руки, кричалъ:

— Ну, смотрите, православные, смотрите теперь.... вѣдь вы не слѣпые, поди.... Смотрите: гдѣ-же онъ нашелъ луну? Гдѣ она, гдѣ?.. Что-же я ее съ кашей что-ли слопалъ, прости Господи! Гдѣ луна?

— Нѣтъ ея, Микалай Макарычъ, нигдѣ нѣтъ! Не видать!

— Чего-же онъ брешетъ-то... Нѣтъ и не было! — заключилъ Косорылинъ.

И окинувъ свою аудиторію побѣдоноснымъ взглядомъ, онъ распустилъ ее, подтвердивъ еще разъ непогрѣшимость прочитанной имъ лекціи. Аудиторія эта разошлась, однако, тогда только, когда ей удалось выманить у своего лектора „магарычъ“ въ видѣ полуведра водки. — „Тоже вѣдь все утро проколготились съ тобой, Микалай Макарычъ!“ — хныкала она.

Немного погодя Косорылинъ входилъ уже въ комнату жены. Старушка все еще томилась въ молитвѣ, стоя на колѣнахъ передъ блестящей огнями образницей. Вошелъ онъ въ комнату шумно, настезь распахнулъ двери и брезгливо крикнулъ:

— Будеть тебѣ юродствовать-то, тьма непроглядная! Вставай, да чемоданъ уложи!.. въ городъ ѣду!

— Сейчасъ что-ли, батюшка Николай Макарычъ!—спросила та едва слышно.

— Сейчасъ!.. Ну, живо...

— Али что случилось?—спросила она замеревшимъ отъ страха голосомъ.

— Живо, говорятъ! — крикнулъ Косорылинъ, топнувъ ногой.

А немного погодя онъ сидѣлъ уже въ тарантасѣ, запряженномъ тройкой лихихъ киргизокъ, съ бубенцами и колокольчиками, и мчался въ городъ. До города было всего десять верстъ и потому онъ быстро возвратился домой. Возвратился онъ торжествующимъ, сіяющимъ; позвалъ къ себѣ прикащика и, передавъ ему какой-то конвертъ, запечатанный сургучной печатью, приказалъ сейчасъ-же, немедленно вручить этотъ конвертъ учителю. Черезъ полчаса явился и самъ учитель, блѣдный, взволнованный.

— Это что-же такое?—спросилъ онъ, показывая бумагу.

— Затменіе „заслончатое!“ — проговорилъ Косорылинъ.

— Такъ это я вамъ обязанъ перемѣщеніемъ-то?

— Я, батюшка, въ школу-то, каждый годъ по триста рубликовъ плачу, — проговорилъ Косорылинъ, поднимаясь съ мѣста, такъ, выходитъ, я не бараня!.. Такихъ-то, какъ ты, — уголь не-

початый! а такихъ-то, какъ я—разъ, два и обчелся!..

Учитель молча вышелъ изъ комнаты, и поровнявшись съ однимъ, возлѣ котораго стоялъ торжествующій Косорылинъ, остановился, приложилъ ко рту обѣ ладони и что было мочи крикнулъ:

— Ба—арань!

Но на этотъ разъ Косорылинъ ничуть не оскорбился и только захохоталъ во все горло вслѣдъ удалявшемуся учителю.





## Тарый колоколь.

Разказъ.

Старый колоколь дѣйствительно сдѣлался негоднымъ и его необходимо было замѣнить новымъ. Онъ звонилъ съ самаго основанія церкви и дозвонился до того, что всѣ края его были обиты и самъ онъ до половины треснулъ. Онъ имѣлъ очень плачевный видъ! Мѣдь его почернѣла, иконы и надписи, вылитыя на бокахъ, постерлись, онъ весь былъ засиженъ голубями и обитые края его походили на искрошившуюся челюсть старика. Про звонъ и говорить нечего... Это былъ какой-то стучающій старческой кашель, а вовсе не призывный звонъ церковнаго колокола. Его слышали только жители села; до приходскихъ же деревень голосъ его не долеталъ. Прихожане опаздывали къ богослуженію и всю вину сваливали на колоколь. Этимъ самымъ онъ нажилъ себѣ массу враговъ!

— Куда онъ годится!.. Долой эту сковороду!.. И порѣшили собрать сходъ и потолковать о покупкѣ новаго колокола.

Только одинъ звонарь не признавалъ негодности



старого колокола... Въ дребезжавшихъ звукахъ его онъ все еще слышалъ прежнюю мелодію и упивался ею. Перебирая руками малые и средніе колокола и ногой приводя въ движеніе языкъ большаго, лицо его умилялось, и потухающіе глаза вспыхивали молодымъ огнемъ. Раскачивая въ тактъ головой и весь сливался съ звуками веселаго трезвона, онъ даже и не замѣчалъ, что кашель его стараго колокола возбуждалъ лишь смѣхъ въ толпѣ слушателей.

Онъ даже не вѣрилъ, что сходъ соберется.

— Будетъ того, что поговорятъ!—утѣшалъ онъ себя.

Однако сходъ собрался... Явился и старый звонарь.

— И все въ голодные-то года колокола покупаютъ!—возмущался онъ.—Сами изъ „гамазея“ казенный хлѣбъ на продовольство тащатъ, а на колоколь есть деньги!..

— Да коли онъ никуда не годится, твой старый-то колоколь!—кричала толпа.

И звонарь выходилъ изъ себя отъ негодованія. По его мнѣнію, лучше настоящаго колокола не было во всей окрестности. Ни крутцовскій, ни мещеряковскій, ни алексѣевскій не могли тягаться съ нимъ! Мещеряковскій, по его мнѣнію, тенькалъ, крутцовскій—звякалъ, а алексѣевскій только голубей распугивалъ...

— На кой же вамъ колоколь,—кричалъ онъ. Какого вамъ рожна еще!.. Нашъ колоколь старинный, заслуженный...

— Не онъ-ли первый,—продолжалъ звонарь, стучая себя въ грудь кулакомъ,—объявилъ всѣмъ православнымъ о нашемъ воздвигнутомъ храмѣ Господнемъ?.. Онъ первый загудѣлъ по нашимъ степямъ, гдѣ прежде и церквей-то не было!.. Его покупали ваши отцы и дѣды на свои трудовыя

деньги!.. Онъ пріучилъ ихъ ходить въ храмъ Божій и научилъ молиться!.. Не будь его, вы до сей поры лба перекрестить не умѣли бы! Не онъ-ли—кричалъ старый звонарь,—цѣлые десятки лѣтъ возвѣщалъ вамъ о великихъ праздникахъ Господнихъ, о страданіяхъ Христа и о Его воскресеніи. Не онъ-ли, этотъ по вашему, негодный—колоколь, провожалъ своимъ звономъ на кладбище вашихъ отцовъ и матерей!.. Не онъ-ли своимъ набатомъ пробуждалъ васъ отъ сна и давалъ вамъ вѣсть о вспыхнувшемъ пожарѣ.. Вѣдь безъ него нашего села давнымъ давно бы не было, а ежели бы и осталось, то жили бы вы въ землянкахъ, а не въ бревенчатыхъ избахъ!.. Не онъ-ли, наконецъ, каждую святую недѣлю, когда вы еще безусыми ребятами были, увеселялъ своимъ звономъ сердца ваши?.. Не вы-ли изуродовали его? Да, да, это вы, вы!.. Я помню очень хорошо! Вы окарнали ему края и вы же сдѣлали ему трещину въ боку! А теперь вы хотите прогнать его... За что же, за что же?..

— Правда! Пожалѣть надоть!—робко проговорило два, три старика, тронутые рѣчью стараго звонаря.

Но сходъ заглушилъ эти робкіе голоса и порѣшилъ немедленно же купить новый колоколь.

Этого звонарь не ожидалъ.

— Какже вамъ служить-то опосля этого!—крикнулъ онъ и, нахлобучивъ шапку, зашагалъ въ свою сторожку. Онъ имѣлъ очень мрачный видъ и лицо его было блѣдно, какъ полотно...

Наконецъ, привезли новый колоколь.

Одновременно съ нимъ пріѣхалъ и мастеръ съ колокольнаго завода. Мастеръ этотъ пристроилъ канаты, блоки, и его, какъ героя дня, напоили водкой. О днѣ поднятія было повѣщено окрестнымъ селамъ и деревнямъ, и церковный ктиторгъ зара-

нѣе вычистилъ кирпичемъ тарелочки, блюдечки и кружечки для сбора ожидавшихся обильныхъ пожертвованій.

Но прежде чѣмъ поднять новый колоколъ, требовалось очистить для него мѣсто, т. е. спустить старый. Старому отрѣзали языкъ, обрубили уши и чуть не пинками столкнули съ колокольной. Ударившись о мерзлую землю, онъ даже застоялъ... Это былъ послѣдній стонъ низвергнутаго властелина колокольной!

— Будетъ съ него, покашлялъ!—глумился народъ. И никто не промолвилъ: „спасибо, послужилъ!“.

За то старый звонарь, всѣ эти дни не выходявшій изъ сторожки, заслышавъ стонъ изгнанника, выскочилъ на морозъ въ одной рубахѣ и, увидавъ его поверженнымъ на землю, зарыдалъ какъ ребенокъ.

Старый колоколъ взвалили на тѣ же сани, на которыхъ былъ привезенъ новый и отправили въ городъ на колокольный заводъ.

Это происходило наканунѣ крещенскаго сочельника, а въ сочельникъ состоялся подъемъ новаго колокола. Народу собралось видимо-невидимо!.. Вся улица и поповскій поселокъ были заставлены саями пріѣхавшихъ мужиковъ, а церковь окружена толпами народа. Народъ тѣснился вокругъ новаго колокола, блестящаго какъ золото, и любовался его отдѣлкой. Торжество было великое!.. И дѣйствительно! По окончаніи литургіи, духовенство въ парчевыхъ облаченіяхъ, предшествуемое иконами и хоругвями, окружило колоколъ. Началось молебствіе съ водосвятиемъ и раздался стройныхъ хоръ пѣвчихъ. Толстые канаты, спускавшіеся съ колокольной по направленію къ колоколу, словно протянутыя руки, манили его въ свои объятія. По мѣрѣ приближенія молебна къ

концу, въ толпѣ возрастало нетерпѣніе. Началось окропленіе колокола и преклонившіяся хоругви осѣнили его собою. Наконецъ молебень кончился... Народъ вцѣпился въ канаты и блестящій колоколь, сопровождаемый пѣніемъ и молитвами, словно соколъ, горделиво влетѣлъ на колокольню.

Немного погодя онъ занялъ уже мѣсто стараго колокола.

— Гдѣ звонарь? Посылайте звонаря!—кричалъ ктиторъ.

Но звонаря не оказалось! Онъ вчера еще пошелъ провожать опозореннаго друга и до сихъ поръ не возвращался. Но толпа жаждала услышать звукъ новаго колокола и требовала звонаря. Его выручилъ мастеръ, пріѣхавшій изъ города...

Раздался звонъ, и вся толпа какъ одинъ человекъ ахнула отъ восторга... Какое же сравненіе со старымъ!.. Это былъ не стучающій старческій кашель, а мягкій, музыкальный баритонъ, вырвавшийся изъ мощной молодой груди. Это былъ пѣвецъ, взлетѣвшій на свою колокольню и распѣвавшій оттуда свои задушевные пѣсни... Вся толпа молчала и внимала этимъ пѣснямъ!.. Только голуби да галки, перепуганные незнакомыми звуками, шумно вылетѣли изъ колокольни и, не находя себѣ мѣста, кружились надъ церковью. Не менѣе колокола отличался и звонившій въ него. Это былъ уже не тотъ разъухабистый, подчасъ даже плясовой, трезвонъ, какимъ обыкновенно угощаль прихожанъ старый звонарь, а что-то торжественное и музыкальное... Звонившій оказался мастеромъ этого дѣла, своего рода артистомъ, съумѣвшимъ вдохнуть душу въ мѣдъ колоколовъ и заставившимъ ихъ пѣть музыкальныя, но незнакомыя еще толпѣ, пѣсни!

— Кабы вотъ такого звонаря то!..—шумѣла толпа и, увлеченная новой музыкой, забыла и

про свой старый колоколь, и про своего старого звонаря!

А старый звонарь возвратился съ „проводовъ“ только поздно вечеромъ. Онъ проводилъ свой колоколь до самой станціи желѣзной дороги... Всю дорогу онъ шелъ рядомъ и ни разу не присаживался на сани. Ушелъ онъ со станціи только тогда, когда поѣздъ со свистомъ и громомъ умчалъ его стараго товарища... Долго, очень долго онъ провожалъ глазами удалявшійся поѣздъ, наконецъ снялъ шапку, перекрестился и зашагалъ домой. На дворѣ бушевала мятель и старый звонарь, по поясъ утопая въ сугробахъ, едва добрался до своей сторожки. Онъ пришелъ окоченѣвшій, прозябшій и, не разбудивъ спавшаго сторожа, неслышно забрался на печку и вскорѣ уснулъ, какъ убитый! Онъ такъ крѣпко спалъ, что не слышалъ даже, какъ сторожъ пробилъ въ новый колоколь: сперва десять часовъ, а потомъ и одиннадцать!..

Ему видѣлось, что всѣ событія послѣднихъ дней были только однимъ сновидѣніемъ, что на колокольнѣ у него все обстоитъ благополучно и никакихъ перемѣнъ не послѣдовало. Онъ спалъ самымъ сладкимъ сномъ! И видѣлась ему другая, такая же морозная крещенская ночь. Это было лѣтъ пятнадцать тому назадъ. Лежалъ онъ точно также на печи и спалъ... Сторожъ съ вечера ушелъ ночевать на село и онъ оставался совершенно одинъ въ сторожкѣ. А морозъ такъ и стучалъ въ стѣны, словно швырялъ въ нихъ камнями! Вдругъ почудилось ему, что въ церкви что-то неладно... Проскрипѣли по снѣгу чьи-то шаги, сперва подъ окномъ сторожки, а потомъ и возлѣ церкви... Онъ приподнялъ голову, началъ прислушиваться, но все было тихо; только гдѣ-то вдали на селѣ брехала собака... Онъ успокоился и сно-

ва опустилъ голову на подушку. Но, немного погодя, онъ снова вскочилъ... На этотъ разъ ему послышался какой-то трескъ, словно кто-то замокъ ломалъ... Въ одно мгновеніе онъ очутился возлѣ окна, но окно было покрыто льдомъ и онъ ничего разглядѣть не могъ. Онъ бросился въ сѣни, ухватился за дверь, но дверь оказалась запертою снаружи. Только тогда онъ убѣдился, что въ церкви дѣйствительно неладно. Онъ былъ босикомъ, въ одномъ бѣльѣ, но онъ не чувствовалъ холода... Онъ дрожалъ, щелкалъ зубами, но это былъ не ознобъ, а скрежетаніе льва, запертаго въ клѣткѣ! Но онъ не покидалъ двери... Онъ уперся ногой въ косякъ, вцѣпился обѣими руками въ скобку и принялся тянуть на себя дверь... Онъ долго возился съ нею... Наконецъ, пробой выскочилъ и дверь распахнулась! Онъ подошелъ къ паперти... дверной замокъ былъ сорванъ и дверь полурастворена. Онъ прокрался въ сѣни, а затѣмъ и въ церковь. А тамъ, въ церкви, какіе-то люди, при тускломъ свѣтѣ воскового огарка, ломали свѣчной коммодъ и выгребали мѣдныя деньги!.. Вдругъ, кто-то желѣзнымъ ломомъ ударилъ его по головѣ. Ударъ былъ такъ силенъ, что онъ даже пошатнулся!— „Добивай его, чорта!“ крикнулъ кто-то и снова ломъ мелькнулъ у него передъ глазами, но на этотъ разъ по головѣ не попалъ и грохнулся на полъ... И онъ стремглавъ бросился вонъ изъ церкви, поймалъ на бѣгу веревку отъ колокола и набатъ огласилъ мертвую тишину ночи! Что было дальше, онъ не помнить. Онъ очнулся только тогда, когда фельдшеръ промывалъ ему рану. Рана была глубокая и кровь лилась изъ нея ручьемъ...— „Колоколъ спасъ, шепталъ онъ: все онъ, онъ, родимый!“ и опять потерялъ сознаніе. Съ той поры старый надтреснутый колоколъ сдѣлался его единственнымъ дру-

гомъ. Вся родня звонаря, всѣ его пріатели давнымъ давно перемерли... Только одинъ старый колоколь, такой-же изувѣченный, какъ и онъ самъ, продолжалъ существовать... И звонарь перенесъ въ этотъ колоколь всѣ свои симпатіи и всю свою душу. Подобно Пигмаліону, воодушевившему свою Галатею, старый звонарь оживилъ и свой старый колоколь. Для него онъ былъ не простымъ слиткомъ мѣди, а живымъ существомъ, съ которымъ онъ дѣлилъ горе и радость... И вотъ звонарь лежитъ теперь на печкѣ и видитъ, что этотъ старый колоколь по прежнему виситъ на колокольнѣ... Онъ видитъ даже просвѣтъ въ его трещинѣ и тихая радость наполняетъ его сердце... „Такъ это былъ сонъ, шепчуть его уста;—ну, и слава Богу!“ Но вдругъ онъ поднялъ голову, началъ прислушиваться и лицо его исказилось отъ ужаса!.. „Неужто опять!“ чуть не вскрикнулъ онъ, и быстро соскочилъ съ печи... Ему опять послышался какой-то трескъ, стукъ желѣза и онъ побѣжалъ въ сѣни... На этотъ разъ дверь оказалась отпертою... Онъ мигомъ добѣжалъ до колокольни, рванулъ веревку и колоколь загудѣлъ!.. Но незнакомый звукъ коснулся его слуха и веревка тотчасъ же выпала изъ рукъ стараго звонаря... Онъ обошелъ церковь, замки были на своихъ мѣстахъ, и онъ, закрывъ лицо руками, съ поникшей головой, возвратился въ свою сторожку.

Его встрѣтилъ разбуженный колоколомъ сторожь.

— Неужто часъ?—спросилъ онъ звонаря.

— Часъ! - проворчалъ тотъ и снова вскарабкался на печку.

Это былъ первый и послѣдній ударъ его въ новый колоколь.

Въ то же утро, передъ разсвѣтомъ, когда въ

избахъ заблестѣли огоньки, звонарь собралъ свой хламъ и переселился на село.

— Аль не хочешь быть звонаремъ?—спрашивали его.

Но вмѣсто отвѣта онъ только отрицательно качалъ головой.

Когда ударили къ заутрени, звонарь вышелъ изъ избы и сталъ прислушиваться къ пѣнію колокола. Но мелодичный баритонъ новаго пѣвца не коснулся струнъ его сердца!

— Фарсунъ!—порѣшилъ онъ и, махнувъ рукой, вошелъ въ избу.

Такъ новая лира поэта, потрясая сердца молодого поколѣнія, вызываетъ иногда улыбку на устахъ стараго.





# Кавалеръ.

РАЗСКАЗЪ.

## I.

Разъ какъ-то послѣ продолжительной и неудачной охоты, я, усталый и голодный, заѣхалъ въ трактиръ торговаго села Лопатина, чтобы напиться тамъ чаю и дать вздохнуть притомившейся лошади. Трактиръ этотъ съ вывѣскою „Царь-Градъ“ помѣщался на большой базарной площади, въ просторномъ барскомъ домѣ, крытомъ желѣзомъ. Домъ этотъ принадлежалъ когда-то одному изъ помѣщиковъ села (въ Лопатинѣ было нѣсколько помѣщиковъ), когда-то былъ обнесенъ рѣшеткой, окруженъ флигелями, службами и конюшнями, затѣнялся темнымъ стариннымъ паркомъ; когда-то подъ его кровлей незамѣтно смѣнялось одно дворянское поколѣніе другимъ; раздавался „звукъ унылый фортепіано“ и иноземный говоръ гувернеровъ и гувернантокъ; но прошла пора и всѣ эти звуки замерли; иноземный говоръ замолкъ, и усадьба очутилась въ чумазахъ лапахъ „новаго барина“ изъ господъ кабатчиковъ. „Новый баринъ“ вырубилъ паркъ, флигеля распродалъ на сломъ и свозъ, рѣшетку извелъ

на растопку печей, а домъ раздѣлилъ на двѣ половины. Въ задней половинѣ поселился самъ съ своей семьей, а въ передней, выходявшей окнами на базарную площадь, открылъ трактиръ „Царь-Градъ“. Открытіе это въ свое время было отпраздновано торжественно. „Батюшка“ отслужилъ молебенъ съ водосвятиемъ, окропилъ стѣны трактира, а отецъ дьяконъ съ трескомъ провозгласилъ многолѣтіе „хозяйну дома сего“. Красовавшійся подъ фронтономъ гербъ стариннаго дворянскаго рода былъ снятъ, а взамѣнъ его водружилось кабацкое знамя „новаго барина“.

День былъ будничнѣй, не базарнѣй, а потому и въ трактирѣ было пусто и тихо... Только въ угловой комнатѣ (извѣстно что всѣ помѣщичьи дома строились по одному плану: зала, гостиная, угольная и т. д.) слышалось шелканье билліардныхъ шаровъ и говоръ игравшихъ. Ихъ было двое. Первый, судя по нашивкамъ, былъ унтеръ-офицеръ, а второй — трактирный половой, исправлявшій при случаѣ и должность „маркела“. На первомъ былъ тонкаго сукна мундиръ на распашку и штаны съ краснымъ кантомъ, заправленные за голенища щеголеватыхъ сапогъ, а второй — въ красной засаленной рубахѣ, резиновыхъ калошахъ на босую ногу и въ пестрыхъ штанахъ на выпускъ. Тутъ же въ билліардной, на столѣ, накрытомъ грязною скатертью, видѣлся приготовленный приборъ со сложенной на немъ салфеткой, наполовину выпитая бутылка „сороковочки“, тарелка съ нарѣзанной и политой уксусомъ колбасой и бутылка пива.

Партія подходила къ концу. „Кавалеръ“ выигрывалъ, между тѣмъ какъ „маркель“, зеленый, испитой малый, лѣтъ двадцати пяти, со впалой грудью и вытянувшимися щеками, поминутно киксовалъ и дѣлалъ промахи. Наконецъ, кавалеръ раз-

махнулся кіемъ и, съ трескомъ влѣпивъ краснаго въ уголь, кончилъ партію.

— Сквитались, — крикнулъ онъ; — ставъ пиво!

— Нѣтъ, Никаноръ Семеновичъ, — перебилъ его половой, бросая кій, — съ вами играть мнѣ не модель-съ!

— Это почему?

— Очень просто-съ! Игроки вы не намъ чета... Вамъ только въ столицахъ играть-съ...

— Да вѣдь первую-то, выигралъ же!..

— Какой же это выигрышь!.. Помилуйте-съ... Печаль одна!.. Вы, можно сказать, шалили-съ, а я сорокъ потовъ съ себя спустилъ старамшись... Мы вѣдь видимъ-съ...

— Ну, на „кондру!“ — крикнулъ кавалеръ, самодовольно расхохотавшись и выпивъ мимоходомъ рюмку водки.

— Дадите сорокъ очковъ впередъ, такъ извольте-съ...

— Не облопаешься ли?

— Нисколько-съ, даже мало-съ...

Кавалеръ расхохотался.

— Ну, была не была — крикнулъ онъ, — даю двадцать и чтобы рупь-цѣлковый мазу.

— Не согласенъ-съ!

— Ставь, ставъ шары, — приставалъ кавалеръ, — ставъ.

— Сорокъ дадите, такъ извольте съ, поставимъ-съ...

— Тридцать хочешь?

— Меньше сорока не согласенъ-съ...

— Да вѣдь и тридцать-то полпартіи, говорятъ... Шутова голова!

— Знаю-съ, — перебилъ его половой, — но вѣдь вы вонъ какую „кондру-то“ загнули! Посчитайте-ка!.. Вѣдь пиво то у насъ по 40 коп. бутылочка-съ... двѣ бутылки 80 к., три партіи 30, это значить

рупъ десять, да рупъ мазу. Такую партію проюрдонить, тоже вѣдь мое почтенье-съ...

— Да вѣдь выиграешь, подлець!—крикнулъ кавалеръ.

— Очень было бы желательно-съ, только сомнительно-съ, потому *ле менъ драже*...

Кавалеръ расхохотался, выпилъ еще рюмку водки, швырнулъ на столъ салфетку, которою только что отеръ усы и губы, и крикнулъ.

— Ставь!

— Сорокъ-съ?—удостоверился „маркель“.

— Чортъ съ тобой!

И пока половой разставлялъ шары, онъ развязно подошелъ къ столу и еще развязнѣе курькнулъ въ широко разинутый ротъ рюмку водки.

— Выставляй!—крикнулъ онъ затѣмъ.—Коли впередъ берешь, значить и выставка твоя.

— Ужъ это какъ водится,—замѣтилъ „маркель“ и сдѣлалъ выставку.

Игра снова началась. Кавалеръ игралъ бойко, съ трескомъ, шары у него разлетались какъ брызги, щелкались другъ о друга, перелетали черезъ борта и въ лузы попадали большею частью случайно. Тѣмъ не менѣе, однако, онъ все таки клалъ шаровъ, между тѣмъ, какъ „маркель“ до того оробѣлъ, что казалось не могъ сдѣлать ни одного шара. Онъ поминутно киксовалъ, промахивался, поминутно мѣлилъ конецъ кія и лѣвую руку, и потъ градомъ катился съ его лица. Прицѣвливался онъ съ какой-то натугой, дрожавшими руками пырять въ шаръ и чуть не плакалъ, восклицая: — „проигралъ! проюрдонилъ!“ Глядя на все это, кавалеръ хохоталъ и при каждомъ киксѣ вскрикивалъ:

— Bravo! Молодчина... продолжайте-съ!..

— Будетъ вамъ подъ руку-то смѣяться,—плакалъ „маркель“.—Ништо это возможно!

— Какъ партія?

— Пятьдесятъ два и очень мало; вотъ какъ!—  
проворчалъ маркель.

— А сорокъ-то?

— Какъ бы я ихъ самъ сдѣлалъ!..

— А самъ-то ни одного?

— Извѣстно ни одного!

И онъ опять кикнулъ.

— А ну ка, мы красенькаго въ уголокъ,  
проговорилъ кавалеръ и, прицѣлившись, положи-  
жилъ краснаго въ уголъ.

— Пятьдесятъ пять и сорокъ!—крикнулъ „мар-  
кель“.

— Развѣ еще красенькаго въ серединку,—глу-  
мился кавалеръ, и, поднявъ кверху правую ногу,  
онъ потянулся веѣмъ корпусомъ на биллиардъ и  
влепилъ краснаго въ среднѣ.

„Маркель“ даже плюнулъ.

— А вы еще не начинали, молодой человѣкъ?—  
спросилъ кавалеръ, ловко повернувшись на каб-  
лукъ и посмотрѣвъ на „маркела“.

— Начнешь съ вами!

— Вашъ чередъ,—замѣтилъ кавалеръ, не по-  
ложивъ шара.

— Знаемъ-съ,—проворчалъ маркель, и какими-  
то судьбами, словно нечаянно, положивъ желтаго  
въ уголъ, подошелъ подъ краснаго.

— Слава тебѣ Господи,—прошепталъ онъ, а  
потомъ, положивъ въ уголъ краснаго, опять очу-  
тился подъ желтымъ.

— Сорокъ девять и пятьдесятъ!—крикнулъ онъ  
пріободрившись.

— Ахъ ты подлецъ, ахъ ты прохвость!..—го-  
рячился „кавалеръ“, догадавшись, что оробѣлый  
и неумѣлый „маркель“ одурачилъ его. Ахъ ты  
безстыжіе глаза твои!..

— За что ругаетесь?—удивлялся тотъ, широко разинувъ ротъ и сдѣлавъ глупую рожу.

— Это ты въ „заманиловку“ игралъ-то? Вѣдь тебя партія сейчасъ?

— Вы насчетъ апельсина-то этого?—спросилъ „маркель“, указывая кіемъ на желтаго шара.

— Да, насчетъ апельсина.

— Такъ вѣдь его надо положить сперва.

— Да чего тутъ класть-то, коли онъ и безъ того надъ лузой то висить.

— Не скажите-съ.

И, сдѣлавъ видъ, что онъ страсть какъ робѣеть, столкнулъ желтаго въ среднюю.

— Моя, моя, наша взяла!—закричалъ „маркель“ и, бросивъ кій, запрыгалъ и захлопалъ въ ладоши.—Моя! пожалуйста денежки!

Все это очень оскорбило „кавалера“; онъ долго еще продолжалъ ругать „маркела“ за его мошенничество, и самодовольный видъ его мгновенно превратился въ сконфуженный и одураченный. „Маркель“, однако, продолжалъ безъ зазрѣнія совѣсти увѣрять его, что все это дѣло случая, что на грѣхъ мастера нѣтъ, что на грѣхъ и курица пѣтухомъ кричитъ и что онъ совсѣмъ даже и не думалъ играть съ нимъ въ «заманиловку». При этомъ, конечно, онъ не переставалъ восхвалять игру кавалера, восторгаться ею и опять повторилъ, что играть ему не здѣсь, въ „какомъ нибудь паршивомъ, деревенскомъ трактирѣ, а прямо въ столицахъ, съ знаменитыми столичными игроками“. Это нѣсколько польстило кавалеру. Онъ опять началъ самодовольно улыбаться, опять повеселѣлъ и въ концѣ-концовъ, вынувъ изъ кармана штановъ туго набитый новенькій кошелекъ, выкинулъ на столъ свой проигрышъ.

— А теперь обѣдать тащи! крикнулъ онъ.

Я давно уже сидѣлъ за поданнымъ мнѣ чаемъ

и все старался припомнить, гдѣ я видѣлъ этого кавалера? Лицо знакомое, голосъ тоже, а гдѣ именно онъ мнѣ встрѣчался,—припомнить не могъ. Когда ему была подана солянка, разливавшая по всему трактиру залахъ перца и лавроваго листа, онъ спросилъ услужливо глядѣвшаго ему въ глаза „маркела“:

— Лошади готовы?

— Готовы-сь.

— Съ колокольчиками?

— Такъ точно-сь...

— Съ форсомъ подкатимъ, значить,—замѣтилъ кавалерь.—Вотъ рты-то поразинуть.

— Не ждутъ ништо?

— Нѣтъ, я супризомъ хочу...

— Это самое отличное дѣло-сь...

— Подкачу, выпрыгну изъ телѣжки, и прямо женѣ въ объятія!..

— Поди сперва родителямъ поклониться надоть...

— Родителямъ потомъ, а сперва женѣ.—И выпивъ стаканъ пива, замѣтилъ:

— Придется только пообчистить ее, пообмыть, да въ городскія платья нарядить... Отвыкъ я отъ этихъ деревенскихъ-то сарафановъ...

— Тюрнюрчиками все больше пробавлялись?—спросилъ „маркель“ и захихикалъ, прикрывъ ротъ ладонью.

— Извѣстно, которыхъ почище выбирали.

И, покончивъ съ солянкой, онъ спросилъ.

— А битки готовы?

— Готовы-сь.

— Волоки!

Половой опрометью бросился вонъ изъ билліардной, и черезъ минуту бѣжалъ уже обратно, неся въ рукахъ блюдо съ битками.

— Пожалуйте-сь!—проговорилъ онъ, поставивъ блюдо на столъ.

А когда кавалеръ принялся уписывать битки, „маркель“ пригнулся къ нему и проговорилъ таинственнымъ шопотомъ.

— А вотъ, когда домой прїѣдете, отдохнете, когда оглядитесь... обратите вниманіе на горничную Дуняшу, что въ господскомъ домѣ живетъ...

— А что?

— Красота-съ!

— Ну?

— Одно слово взглянуть и подохнуть-съ! Не здѣшняя она,—продолжалъ онъ, перемѣнивъ тонъ; изъ губерніи привезена... Многіе даже господа засматриваются, только я такъ располагаю, что вы скорѣй всѣхъ уязвите!

— Это почему?—спросилъ тотъ самодовольнымъ тономъ и заранѣе предугадывая отвѣтъ.

— Магниту въ глазахъ много-съ.

— Развѣ?

— Вѣрно вамъ докладываю.

— Посмотримъ!..

— Посмотрите-съ...

— Хороша?

Но „маркель“ вмѣсто отвѣта только глубоко вздохнулъ и поднялъ къ потолку глаза.

— Посмотримъ!—проговорилъ кавалеръ.

Покончивъ съ обѣдомъ и пивомъ, онъ всталъ изъ-за стола и принялся застегивать мундиръ. Половой, смѣтивъ, что онъ собирается уѣзжать, бросился подавать шинель.

— А теперь къ родителямъ поѣдемъ,—говорилъ кавалеръ, набрасывая шинель на плечи и натягивая на руки перчатки.—Грязь поди въ избѣ-то.

— А тамъ, въ Питерѣ-то, чистота небось?—спросилъ маркель.

— Это въ казармахъ-то?

— Да.



— У каждаго кровать желѣзная, одѣяло бай-  
ковое, столикъ у кровати.

— Скажите!—удивился „маркель“.

— Полы блестятъ...

— Вонь какъ-съ!

— Только мы вѣдь въ казармахъ не жили...

Кавалеръ вынулъ кошелекъ, расплатился за все,  
далъ „маркелу“ на чай и, кивнувъ головой на  
чемоданчикъ, лежавшій на стулѣ, проговорилъ.

— Вынеси!

У крыльца стояла уже телѣжка, запряженная  
тройкой, съ колокольчиками и бубенчиками.

— Знаешь Летяжевку?—спросилъ кавалеръ ям-  
щика.

— Какъ не знать,—отвѣтилъ тотъ.

— Такъ вотъ туда и лети.

И, вскочивъ въ телѣжку, онъ обратился къ  
„маркелу“, укладывавшему чемоданъ:

— Такъ хороша?

— Вѣчно благодарить будете-съ...

— Пошолъ!—крикнулъ кавалеръ и, подбоченясь  
фертомъ, кивнулъ головой „маркелу“, все еще про-  
должавшему отвѣшивать низкіе поклоны.

Тройка помчалась, зазвенѣли колокольчики,  
загромыхали бубенцы, застучали колеса и, под-  
нявъ облако пыли, завернули въ переулокъ и  
скрылись изъ вида.

Какъ только услыхалъ я, что „кавалеръ“ ѣдетъ  
въ Летяжевку, я тотчасъ же припомнилъ, почему  
именно лицо его было мнѣ знакомо. Оказывается,  
что это былъ сынъ одного моего пріятеля-му-  
жичка, Семена Небывалова, по имени Никаноръ,  
который лѣтъ пять, шесть тому назадъ былъ от-  
данъ въ рекруты.

— Ужъ не Никаноръ-ли это?—спросилъ я во-  
протившагося полового, желая убѣдиться въ своей  
догадкѣ.

- Онъ самый-съ.
- Что же это, на побывку, или совсѣмъ что-ли?
- Говорить, совсѣмъ,—въ запасъ вишь...
- Съ деньжонками, кажется?
- Да-съ, виднѣются-съ... Въ денщикахъ они были у какого-то полковника.—И половой (извѣстно, что половые, даже деревенскіе, стоятъ смирно не умѣютъ) принялся салфеткой смахивать пыль со столовъ.

## II.

Семью Небываловыхъ я зналъ очень хорошо... Я часто заходилъ къ нимъ во время своихъ охотничьихъ скитаній, часто ночевывалъ у нихъ и былъ принятъ всегда какъ родной. Семья эта состояла изъ старика отца, Семена Небывалова, старухи матери и двоихъ женатыхъ сыновей, изъ которыхъ младшаго Никанора, или Конурки, какъ звалъ его старикъ, мы только-что встрѣтили въ трактирѣ. Домъ Небываловыхъ еще изстари отличался своею патриархальностью и всегда славился во всей округѣ лучшими пахарями. Таковая, укоренившаяся въ родѣ Небываловыхъ, любовь къ земледѣлію, не поколебалась даже и послѣ эмансипации, когда мужикъ, бросивъ свой домъ, пошелъ либо на поденную работу къ купцамъ, накупившимъ земли, либо принялся за мелкое торгашество. Старикъ Небываловъ былъ того убѣжденія, что „мужика кормить не печь, а соха“, и что „ржаной хлѣбушко—калачу дѣдушка“. Летяжевскіе мужички, увѣровавъ въ какую-то „золотую грамоту“, отъ большаго надѣла отказались и пошли на дарственный.

Какъ ни хлопоталъ Небываловъ разувѣрить своихъ односельцевъ, что никакой „золотой грамоты“ быть не можетъ и что на дарственномъ

надѣлѣ они всѣ „подохнуть“ съ голоду, но мѣръ его не послушалъ и сдѣлалъ по своему. Однако, лично Небываловъ въ землѣ не нуждался. Онъ снималъ по сосѣдству „хорошенькую землицу“, распахивалъ ее и получалъ порядочные барыши. „Хорошенькой землицей“ онъ называлъ никогда непаханный ковыль, котораго въ то время было еще достаточно и который теперь, благодаря нахлынувшимъ въ степь „новымъ культиваторамъ“, весь пораспаханъ, истощенъ и обращенъ въ негодную землю. На ковыльной землѣ этой Небываловъ сажалъ бахчи, сѣялъ просо, пшеницу, ленъ и дѣла его шли отлично. Все это я знаю только по слухамъ, по рассказамъ самого Небывалова; познакомился-же я съ нимъ позднѣе, а именно въ то время, когда Конуркѣ пошелъ двадцатый годъ и когда старикъ Небываловъ задумалъ поженить его. Старикъ долго высматривалъ ему невѣсту, долго развѣзжалъ съ этой цѣлью по сосѣднимъ деревнямъ и селамъ и, наконецъ, облюбовалъ одну сиротку, по имени Агафью, на которой и остановился. Молодые люди понравились другъ другу и свадьба была сыграна честь честью.

Конурка тоже вышелъ малымъ работающимъ и домовитымъ хозяиномъ. Находившаяся въ его распоряженіи лошадь всегда была въ исправности, телѣга и сани тоже, всѣ полевые орудія въ порядкѣ, а въ работѣ онъ даже перещеголялъ своего старшаго брата, тоже хорошаго работника. Всякое дѣло спорилось у него и самъ онъ не зналъ устали. Мнѣ какъ-то случалось видѣть его на покосѣ, я даже залюбовался имъ! Шелъ онъ передомъ, съ веселой улыбавшейся рожей, широко махалъ косой, и срѣзанная трава падала и укладывалась стройными рядами. Солнце жарило его прямо въ спину, такъ что на рубахѣ потъ сбивался въ пѣну, а онъ хоть бы духъ перевести


остановился. Старшій братъ, слѣдовавшій за нимъ, кричалъ ему:—„Да погоди, дурень, дай вздохнуть-то!“—а Конурка хохочетъ и кричитъ ему въ отвѣтъ:—„Вали, вали, братъ, вали! полдневать будемъ—отдохнемъ!“—Старикъ и бабы, бывшіе тутъ-же на покосѣ, даже со смѣха покатались, глядя на эту картину.

Характера Конурка былъ легкаго, водки пилъ мало, до-пьяна никогда не напивался, къ отцу и матери былъ почтителенъ, съ братомъ жилъ дружно, а съ женой душа въ душу. Старикъ Небываловъ не нарадовался на свою семью. Самъ онъ, по старости лѣтъ, полевыми работами не занимался, но онъ былъ спокоенъ, что его молодцы сыновья и его снохи и безъ него справятся съ дѣломъ. Самъ же онъ занимался своимъ пчельникомъ, бывшимъ у него тутъ-же на огородѣ, да бахчами. То, бывало, на пчельникѣ возится, а то—сидитъ, бывало, на бахчѣ и продаетъ огурцы, дыни и арбузы. Однажды заведенное дѣло шло своимъ порядкомъ, и старикъ Небываловъ не зналъ какъ благодарить Бога за ниспосланное ему счастье.

Но вотъ Конуркѣ минулъ двадцать одинъ годъ и надо было вести его на вынутае жеребья. Но семья Небываловыхъ объ этомъ не особенно задумывалась. Конурка былъ отлично сложенъ, но у него какъ-то лѣвое плечо было нѣсколько ниже праваго. Земскій врачъ, изрѣдка наѣзжавшій къ Небываловымъ и нѣсколько разъ осматривавшій Конурку, увѣрилъ, что Конурка въ солдаты не годится. На этомъ-то увѣреніи старики Небываловы и возлагали всю свою надежду. Однако, когда Конурку повезли на приѣмный пунктъ, то всѣ словно струхнули. Старуха затеплила лампадку передъ иконами, а молодая Агафья бросилась къ попу служить молебенъ „Аникѣ—воину“ который будто помогаетъ „насчетъ солдатчины“.

Даже самъ Степанъ, старшій братъ, и тотъ почесаль въ затылкѣ, и не на шутку задумался. Въ присутствіе Конурка вошелъ бодро, весело, даже очерилъ свои бѣлые какъ сахаръ зубы и бойко тряхнулъ кудрями, но когда военный приемищикъ, толстый полковникъ изъ нѣмцевъ, плохо говорившій по-русски, тщательно осмотрѣвъ Конурку и потыкавъ его пальцемъ въ плечо, сказалъ доктору:— „Это нишего, ружье маленушко осадить права плеча“, то у Конурки даже въ глазахъ помутилось, а когда тотъ-же полковникъ крикнулъ: „принять“, такъ у Конурки колѣнки подкосились и онъ, навѣрное, грохнулся-бы на полъ, ежели бы только не поддержалъ его, вводившій рекрутовъ, унтеръ-офицеръ. Принятыхъ рекрутовъ распустили на время по домамъ, назначивъ имъ день, въ который они должны были явиться въ городъ. Пошла гульба по деревнямъ. Молодые рекруты, въ новыхъ полушубкахъ и шапкахъ, зашагали по улицамъ съ гармониками, пѣснями и пьянствовали не на животъ, а на смерть. Только одинъ Конурка не ѣлъ и не пилъ, и всячески отдалялся отъ своихъ товарищей. Онъ не отходилъ отъ своей Агафьи и все шепталъ ей:— „Ужъ ты мотри, Агафья, безъ меня, того... какъ нибудь поосторожней...“ А та въ отвѣтъ ему:— „Будь спокоенъ, Конурушка милый, никакого баловства отъ меня не увидишь!“

Когда пришлось везти Конурку въ городъ, то въ избѣ буквально ревъ поднялся. Конурка столько пролилъ слезъ на грудь старухи матери, а пуце всего на грудь молодой Агафьи, что если бы собрать эти слезы въ одинъ сосудъ, то таковыхъ оказалось-бы несравненно болѣе того количества водки, которое за это время было выпито рекрутами. Онъ кланялся въ ноги отцу, матери, брату, женѣ братниной, просилъ ихъ всѣхъ „не забывать



его на чужедальной сторонѣ“, а когда началъ прощаться съ женой, такъ его даже силой оторвали отъ нея.

Такъ совершились Конуркины проводы. Но нѣтъ того горя, которое бы не сглаживалось. Такъ случилось и въ семьѣ Небываловыхъ. Поплакали, потужили, а потомъ мало-по-малу стали свыкаться съ случившимся. Только когда приходили письма отъ Конурки съ поклонами всѣмъ и каждому „отъ бѣлаго лица до сырой земли“, то не зажившая еще рана растревлялась и вызывала боль и слезы.

Съ наступленіемъ весны старику Небывалову на мѣсто Конурки пришлось принанять батрака. Батракъ попался какъ будто работающій, не пьющій, смирный... а не прошло и двухъ недѣль со дня его поступленія, какъ переданная ему Конуркина лошадь почему-то „сплечилась“, у телѣги не оказалось желѣзнаго сердечника, а у сохи лемеха. Старикъ чуть не избилъ батрака, думая что это „его дѣло“. Но оказалось, что батракъ провинился только въ томъ, что не досмотрѣлъ и проглядѣлъ вора. Тѣмъ не менѣе, однако, съ каждымъ днемъ старикъ убѣждался, что работаетъ не своя рука, не родная, а чужая. И пахота у работника была не та: съ огрѣхами, кое какая, ужъ про косьбу и толковать нечего. Конурка скосить бывало—такъ словно бритвой обрѣветъ, а работникъ и косиль не чисто, да и подрядья оставлялъ высокіе. Смотрѣлъ, смотрѣлъ старикъ и обругалъ батрака какъ нельзя чище. Думалъ, исправится малый, совѣсть въ немъ проснется, а онъ, замѣсто того, на слѣдующій день, до зари никому необъявившись, взялъ да и пропалъ куда-то, одѣвшись въ Степановъ зипунишко, валявшійся въ сѣняхъ.

Нанялъ старикъ другого и тоже самое... И такъ все лѣто...

Однако, съ посѣвомъ они кое-какъ убрались

и только запоздали немного съ уборкой овса. Надо бы поскорѣе сложить его въ скирды, да управка не взяла, а тутъ, какъ на грѣхъ, пошли дожди и много сноповъ погнило.

— Эхъ, Конурки-то нѣтъ!—говорилъ старикъ, разводя руками.—Кабы онъ былъ—убрались бы за милую душу!

На слѣдующее лѣто старикъ порѣшилъ работника не нанимать, а самому приняться за крюкъ да за соху. Съ этой цѣлью онъ продалъ свой пчельникъ, а на бахчу, вмѣсто себя, посадилъ старика. Но тяжелая, полевая работа оказалась ему не по лѣтамъ и онъ былъ плохимъ помощникомъ сыну. Задору-то много, на десятерыхъ-бы хватило, а силъ-то не доставало. Степанъ на что ужъ былъ смиренный малый, никогда не прекословившій отцу, но и тотъ возронталъ.

— Давай,—говорить,—батюшка, батрака наймемъ! Чего же намъ животы-то надрывать!

— Да гдѣ-же ихъ путныхъ-то найдешь, сынокъ!—возразилъ старикъ.

— Такъ-то такъ! Да вѣдь ничего мы съ тобой вдвоемъ-то не подѣлаемъ!

— Эхъ, кабы Конурка, эхъ кабы его!—ахалъ старикъ.

— Мало-бы что!

Слова Степана подѣйствовали на старика и онъ опять нанялъ работника.

Такъ шелъ годъ за годомъ. Хозяйство Небываловыхъ начало приходить въ упадокъ и изъ зажиточнаго дома онъ сдѣлался обыкновеннымъ, посредственнымъ. Мужики, побросавшіе свою землю и свое хозяйство, словно возрадовались этому горю и начали зубоскалить надъ старикомъ, надъ его поговорками, что „не печь кормить мужика, а соха“, и что „ржаной хлѣбушко—калачу дѣлушка“. Но старикъ даже и вниманья не обращалъ на этихъ

зубоскаловъ, и вѣрный своимъ убѣжденіямъ, тянулся изо всѣхъ силъ, поддерживая свое хозяйство. Онъ ждалъ только того часа, когда опять вернется къ нему Конурка, — „Вотъ придетъ Конурка, я вамъ покажу тогда, какъ зубы-то скалить!“ — ворчалъ старикъ Небываловъ; — „я покажу вамъ въ тѣ поры, чѣмъ мужикъ-то сытъ бываетъ!“ Случилось какъ-то такъ, что одно время я довольно таки долго не видался съ Небываловыми и совершенно потерялъ ихъ изъ вида. Но вотъ какъ-то лѣтомъ, на Троицу, я поѣхалъ на одну сельскую ярмарку для кое какихъ хозяйственныхъ покупокъ и встрѣтилъ тамъ старика Небывалова. Онъ сидѣлъ на распряженной телѣгѣ, къ которой была привязана лошадь. Мы оба обрадовались этой встрѣчѣ и пустились въ разговоры. Отъ него я узналъ, между прочимъ, что Конурка служить въ гвардіи и постоянно находится въ Питерѣ; что сперва Конурка писалъ ему довольно часто, даже раза четыре присылалъ имъ денегъ, но потомъ что-то замолкъ и вотъ уже болѣе полугода отъ него нѣтъ никакихъ вѣстей.

— Думалъ, не померъ-ли, — говорилъ старикъ, — однако, по справкамъ оказалось, что живъ и здоровъ и что живетъ въ денщикахъ у какого-то полковника, что полковникъ въ немъ души не чае и что житье ему хорошее! — Затѣмъ старикъ рассказалъ мнѣ про свое житье-бытье и, наконецъ, указавъ на привязанную къ телѣгѣ лошадь, прибавилъ:

— Вотъ видишь, лошадку продавать привелъ. На людей даже смотрѣть стыдно!.. Добрые-то люди съ ярманки-то домой чего-нибудь тащатъ, а я вотъ изъ дома таскать зачалъ. Вчера десятокъ овецъ продалъ, коровенку, а вотъ теперь лошадку продаю...

— Ты-бы не продавалъ! — замѣтилъ я.



— Пельзя, братецъ, — перебилъ меня старикъ; управка не беретъ... прашлось посѣвъ свой уменьшить, а меньше посѣва, меньше и кормовъ... кормить нечѣмъ, поневолѣ продавать пришлось.

— А что Степанъ?

Старикъ даже на возу заметался.

— Кабы не Степанъ-то, — заговорилъ онъ то-ропливо, — я бы давно съ сумой подъ окнами ходилъ!.. Только имъ и домъ держится... Устали себѣ не знаетъ... Только самъ знаешь: одинъ въ полѣ не воинъ! Кабы Конурка!.. Э! тогда бы небось, я соблюлъ бы скотинку-то!

Вспомнивъ про Конурку, я вспомнилъ и про Агафью и спросилъ, какъ она поживаетъ? Оказалось, что Агафья жива и здорова, что баба она работающая, послушная, что съ семьей живетъ ладно, передъ нимъ и старухой почтительна, и что она тоже пріѣхала съ нимъ на ярмарку. Какъ, однако, старикъ ни расхваливалъ свою сноху, однако, замѣчалось, что онъ какъ будто чѣмъ-то былъ ею не доволенъ. Я высказалъ ему свою догадку и старикъ, нѣсколько подумавъ и помолчавъ, кивнулъ головой.

— Вѣрно, угадалъ! — проговорилъ онъ.

— Что-же, баловаться что ли зачала?

— Нѣтъ, я этого, братецъ, не замѣчалъ, грѣхъ сказать!.. а вотъ форсить больно зачала! Прежде бывало палкой изъ дома не выгонишь, а теперь, чуть праздникъ, она сейчасъ вертъ хвостомъ и на улицу. Вотъ и сюда только за нарядами пріѣхала...

— Ну, это еще не бѣда, — замѣтилъ я, — человѣкъ молодой.

— Знамо не бѣда, — подхватилъ старикъ — а все лучше бы, кабы этого не было.

Продать лошадь старику въ этотъ день не удалось и волей-неволей ему приходилось переночевать на ярмаркѣ и ожидать слѣдующаго дня.

Въ „красныхъ рядахъ“ я встрѣтилъ и Агафью. Окруженная цѣлой толпой бабъ и дѣвокъ, вся въ красномъ, съ шелковымъ платочкомъ на головѣ и съ бусами на шеѣ, она стояла возлѣ прилавка и покупала себѣ ситець. Бойкій краснорядецъ, съ усиками и серьгой въ лѣвомъ ухѣ, ловко отмѣривалъ ей ситець, считаль: „разъ-съ, два-съ, три съ!“, а самъ, подлецъ, глазъ не сводилъ съ красивой солдатки. Глянула и она на него и улыбнулась даже. А тотъ продолжаетъ себѣ:— „пять-съ, шесть-съ, семь съ“... и все впи-вался глазами въ ея глаза, въ ея высокую молодую грудь и статныя округленныя плечи. Наконецъ, ситець былъ отмѣренъ, краснорядецъ надорвалъ его зубами, съ трескомъ отмахнулъ отрѣзанный кусокъ, быстро сложилъ его, еще бы-стрѣе завернулъ въ бумагу и, элегантно подавая Агафѣ свертокъ, спросилъ.

— Еще чего не покупаете ли-съ?

— Купишь-то уѣхаль въ Парижъ!—бойко отвѣтила Агафья и вся толпа захохотала.

— Откуда будете-съ?—Спрашивалъ краснорядецъ.

— Откуда бы ни была, а сюда пріѣхала.

— Очень пріятно-съ... Платочковъ вамъ не требуется?.. Настоящіе французскіе имѣются, только сегодня утромъ прямо изъ Парижа получены-съ... Купите-съ, я бы вамъ дешево уступилъ-съ.

Но Агафья платковъ не купила, рассчиталась съ краснорядцемъ и вмѣстѣ съ подругами отошла отъ лавки.

Долго краснорядецъ провожалъ ее поклонами, долго смотрѣлъ ей въ слѣдъ, наконецъ, вдругъ, повернувшись какъ-то всѣмъ корпусомъ въ уголь, въ которомъ сидѣлъ какой-то мальчуганъ, читавшій сказку о „славномъ и храбромъ богатырѣ“

Ильѣ Муромцѣ и соловѣѣ разбойникѣ“, проговорилъ торопливо:

— Слышь-ка-сь! брось книгу-то, стань за прилавокъ, я на часикъ сбѣгаю...

И быстро перемахнувъ черезъ прилавокъ, бросился въ ту сторону, куда пошла Агафья.

Какъ старику Небывалову не удалось въ тотъ день продать свою „лошадку“, такъ и мнѣ не удалось сдѣлать необходимыхъ покупокъ. Зазвалъ меня къ себѣ помѣщикъ, которому принадлежала ярморочная площадь и, въ числѣ другихъ гостей, сперва оставилъ меня обѣдать, потомъ засадилъ за карты, потомъ за чайный столъ, а наконецъ не отпустилъ и безъ ужина. Только часу въ двѣнадцатомъ ночи я кое-какъ вырвался отъ гостепріимнаго хозяина и пошелъ на квартиру. Квартира моя была въ крестьянской, довольно опрятной избѣ, стоявшей какъ разъ на базарной площади. Чтобы добраться до этой избы, мнѣ приходилось перейти мостикъ, перекинутый черезъ небольшую рѣку, отдѣлявшую господскую усадьбу отъ села, подняться на гору, обогнуть «поповскій поселокъ“, затѣмъ церковь и, наконецъ, пересѣчь ярморочную площадь. „Поповскій поселокъ“ обращался лицомъ къ церкви и къ рѣкѣ задами. Между задами поселка и рѣкой тянулись по полугорью „поповскіе сады“, засаженные густыми вишнями и старинными яблонями и обнесенные полуразвалившимся плетнемъ. Ночь была звѣздная, но темная и теплая. Шумное село засыпало и только кое-гдѣ, вдали, слышалась еще гадкая, пьяная пѣсня, осквернявшая собою тихую гармонію весенней ночи. Я перешелъ мостикъ и вдоль плетня началъ подниматься на гору. Вдругъ за плетнемъ что-то хрустнуло...

— Чу-ка! — раздался въ вишняхъ чей-то шопоть, и все замерло.

Я остановился и тоже замеръ, какъ замеръ этотъ вдругъ раздавшійся шопоть, какъ замерла эта ночь, все прикрывавшая таинственнымъ и примиряющимъ покровомъ своимъ!.. Такъ просто-яль я минуту, двѣ и вотъ опять что-то хрустнуло и затѣмъ раздался крѣпкій продолжительный поцѣлуй...

Горячимъ сургучемъ капнулъ мнѣ этотъ поцѣлуй на сердце! Вспомнилась мнѣ почему-то Агафья, краснорядецъ, и я поспѣшилъ неслышно отойти отъ сада. Однако, дойдя до церковной ограды, бѣсъ любопытства остановилъ меня. Ограда изнутри была засажена густыми деревьями черемухи, но вѣтви деревьевъ перекидывались черезъ ограду и густой мракъ царилъ подъ ними. Не выдержалъ я и спрятался въ этомъ мракѣ. Я слышалъ, какъ сторожъ вышелъ изъ сторожки, какъ высморкался на ходу и какъ, подойдя къ колокольнѣ, уцѣпился за веревку. Я слышалъ, какъ эта веревка зацарапала по краямъ желѣзной кровли и какъ затѣмъ послышались удары колокола. Гулко разносились эти удары надъ уснувшимъ селомъ и гдѣ-то далеко повторялись эхомъ. Я насчиталъ двѣнадцать ударовъ. Затѣмъ я слышалъ, какъ сторожъ, пробормоталъ что-то и какъ, войдя въ сторожку заперъ за собою дверь изнутри. Прошло еще съ четверть часа, мнѣ надоѣло лежать, да и досадно сдѣлалось на себя за свое нескромное и неумѣстное любопытство! Я хотѣлъ было идти, какъ вдругъ изъ-подъ горы показались какія-то двѣ фигуры. Лицъ я не разсмотрѣлъ, но я видѣлъ очень хорошо, что они шли обнявшись, а войдя на гору, остановились, пошептались о чемъ-то и, затѣмъ пожавъ другъ другу руки, разстались. Одна изъ фигуръ быстро побѣжала по направленію къ ярморочной площади, а другая остановилась и начала заку-

ривать попиросу. Вспыхнула спичка и я убѣдился, что передо мною стоялъ тотъ самый бойкій краснорядецъ, котораго утромъ я видѣлъ за прилавкомъ, продававшимъ Агафѣ ситецъ.

Весь слѣдующій день я дѣлалъ покупки и ихъ накопилось такъ много, что я выѣхалъ домой только передъ вечеромъ. Дорогой я обогналъ старика Небывалова. Онъ сидѣлъ на возу вмѣстѣ съ своей старухой и снохой.

— Ну что, расторговался, что ли?—спросилъ я старика.

— Слава тебѣ Господи,—проговорилъ онъ;— все размоталъ.

— Да ты никакъ выпилъ?—удивился я, глядя на раскраснѣвшееся лицо старика и на его блестящіе глаза.—Что это съ тобой?

— Еще бы, съ такой радости и не напиться!—крикнулъ онъ весело и затушулъ пѣсню.

Старуха сидѣла молча и видимо горевала, разставшись съ своей коровенкой и овечками. Только одна Агафья какъ-то безучастно относилась къ этому семейному горю, словно оно и не касалось ея. Сидѣла она бокомъ, свѣсивъ съ телѣги ноги, и грызла сѣмячки, лежавшія у нея на колѣняхъ. Она дѣлала это очень ловко: бросала сѣмячки въ ротъ, на лету ловила ихъ, разгрызала и затѣмъ, выплюнувъ скорлупу, жевала зерна. Я посмотрѣлъ на это румяное красивое лицо, полное жизни и здоровья; на эту задорную грудь, упругую, содрогавшуюся при малѣйшемъ толчкѣ телѣги, и невольно примирился съ нею!

Когда я обогналъ Небываловыхъ, кучеръ обратился ко мнѣ и, оскаливъ зубы, проговорилъ:

— Баба-то добро!..

— Да, ничего...

— Шибко только пошаливать зачала...

— Развѣ?

— Слушки есть!

И затѣмъ, съ увѣренностью любого газетнаго „передовика“, тотчасъ же и разрѣшилъ этотъ вопросъ, замѣтивъ:

— Ничего не подѣлаешь, потому—живая душа!

Прошло лѣто, наступила зима... Вдругъ, смотрю, ѣдетъ ко мнѣ старикъ Небываловъ. Вошелъ онъ какъ-то робко, видимо собирался о чемъ-то переговорить со мной и не рѣшался. Только уже послѣ чаю, котораго онъ выпилъ нѣскольکو стакановъ, и оглядѣвъ комнату, словно желая убѣдиться, нѣтъ-ли въ ней когонибудь посторонняго, онъ проговорилъ:

— А я къ тебѣ съ важнымъ дѣломъ.

— Что такое?

Старикъ опять осмотрѣлъ комнату, подошелъ ко мнѣ и, понизивъ голосъ до шопота, прибавилъ:

— Вѣдь Агашка-то, подлая, забрюхатила...

Я молчалъ.

— Домашніе никто еще про это не знаютъ, ну а я смѣтилъ, разспрашивать ее зачалъ, пытаться... Долго не сознавалась, стерва... Ну, я ее, значитъ, заманилъ на гумно, кнутъ взялъ и давай ее кнутомъ-то полсовать... Ужъ я ее полсовалъ, полсовалъ, индо руку отмоталъ... Смотрю, пала мнѣ въ ноги и покаялась... „Согрѣшила, говоритъ, батюшка родимый, виновата. И передъ тобой, говоритъ, виновата, и передъ Конурушкой... Обѣщала, говоритъ, соблюдать себя, а замѣсто того вонъ что вышло“. А сама ревмя реветъ, за ноги-то меня руками цапаетъ и все лбомъ припадаетъ! Такъ разревѣлась, подлая, что даже и меня слеза прошибла...

— Надо простить,—говорю.

Старикъ задумался.

— Простить-то я ее простилъ, только этого

все-таки мало... Однимъ-то прощеньемъ грѣха не покроешь.

— Чего же ты хочешь? — спрашиваю.

— А вотъ, говорить, чего. Хочу это самое дѣло скрыть. Чтобы про него ни чужіе не знали, ни свои домашніе. Самъ посуди, что выйдетъ хорошаго-то, когда всѣмъ будетъ извѣстно про такое дѣло! Вѣдь тогда и отъ Конурки-то не скроешь... А ништо весело ему будетъ, воротясь домой, чужое дѣтище увидать у себя. Вѣдь это печаль, братецъ!.. И какіе же опосля этого у него съ женой лады будутъ... подумай-ка?

— Какъ же скрыть-то?

Старикъ опять помолчалъ, а потомъ пытливо глянулъ на меня и спросилъ:

— Не возьмешь-ли ты ее къ себѣ, какъ будто въ услуженіе?.. Она бы здѣсь родила у тебя и было бы все дѣло шито да крыто! Живешь ты отъ насъ далеко... Наши здѣсь у тебя никто не бывають; хуторъ у тебя въ степи... Глядишь и концы бы въ воду... И опять пытливо посмотрѣвъ на меня, продолжалъ:

— А весной, когда бы она распроталась, я бы взялъ ее къ себѣ, а ребенка бы въ городъ свезъ, да въ „питательный“ бы отдалъ...

Я не зналъ, что дѣлать. И старика-то хотѣлось выручить, и въ то же время боялся взять на себя эту обузу. Старикъ замѣтилъ мое колебаніе и чуть не въ ноги поклонился мнѣ.

— Развяжи ты намъ этотъ грѣхъ, — проговорилъ онъ, съ дрожавшими на старческихъ глазахъ слезами. — Развяжи ты мнѣ руки. Вѣдь какъ ни какъ, а я вѣдь все-таки дѣвку-то погубилъ. Вѣдь кабы знато было, что Конурка-то мой въ солдаты угодить, ништо бы я повѣнчалъ его. А теперь и дѣвку-то сгубилъ и сына-то своего родного... Развяжи намъ руки, ради Господа...

И онъ словно снопъ упалъ мнѣ въ ноги.

Я не устоялъ и исполнилъ просьбу старика. Агафья родила у меня на хуторѣ, ребенокъ былъ свезенъ въ городъ, а весной за Агафьей пріѣхалъ старикъ и увезъ ее къ себѣ домой. Никто не зналъ про случившееся: ни посторонніе, ни домашніе и Агафья возвратилась домой какъ ни въ чемъ не бывало.

Въ эту самую весну прибылъ со службы и Конурка или правильнѣе сказать: унтеръ-офицеръ Никаноръ Семенычъ Небываловъ, но совсѣмъ уже не тѣмъ, какимъ мы видѣли его въ избѣ, на покосѣ и, наконецъ, въ тотъ день, когда, прощаясь съ семьей, онъ уѣзжалъ на службу.

### III.

Быть у Небываловыхъ, послѣ возвращенія „кавалера“ домой, мнѣ все какъ-то не удавалось и я попалъ къ нимъ только осенью, [во время самой горячей уборки хлѣба. Урожай въ тотъ годъ былъ хорошій, хлѣба родилось много, погода стояла благоприятная и работы въ полѣ кипѣли и день и ночь. Но я не радъ былъ, что попалъ въ домъ Небываловыхъ. Тамъ шла такая баталія, какихъ я никогда въ мужичьихъ домахъ и не встрѣчалъ. Правда, до меня доходили слухи, что въ семьѣ Небываловыхъ что-то пошелъ разладъ, что „кавалеръ“ требовалъ чаю, отдѣльной избы, кровать, столикъ къ кровати... что онъ свелъ знакомство съ рекомендованной ему горничной Дуняшей; что онъ ворчалъ, когда его посылали въ поле; правда, что послѣ моей встрѣчи съ „кавалеромъ“ въ трактирѣ, я и самъ предвидѣлъ весь этотъ разладъ, но что-бы онъ могъ дойти до такой крайней степени, каковымъ мнѣ пришлось увидеть его, я этого не воображалъ. Въ избѣ по-



ложительно происходилъ содомъ. Отецъ кричалъ на сына, сынъ на отца, братъ кричалъ на брата, а бабы, попрытавшись по угламъ и содрагаясь отъ страха, вопили въ голосъ. Хорошо, что весь народъ былъ въ полѣ и что въ деревнѣ оставались только одни малыя ребята, да старики, а то бы скандалъ былъ на всю деревню. Кричали всѣ вмѣстѣ одновременно. „Кавалеръ“ упрекалъ отца, что онъ пораспродавъ скотину, собственную его лошадь, которую онъ кормилъ и холил; кричалъ, что разорилъ его, оставилъ безъ куска хлѣба. Старшій братъ вступался за отца, лѣзъ на брата съ сжатыми кулаками, называлъ „кавалера“ лѣнтяемъ, негодяемъ, развратникомъ, укорялъ его Дуняшкой. „Кавалеръ“ въ свою очередь вступился за Дуняшку, кричалъ, что онъ не позволитъ никому марать „добраго имени честной дѣвушки“, набрасывался на жену, называлъ ее развратницей, кричалъ, что онъ кровь проливалъ за отечество, что ему никто слова пикнуть не смѣетъ, что всѣ должны оказывать ему почетъ и уваженіе. Но пока кричалъ „кавалеръ“, кричали и остальные, и конечно, вся эта ругань не окончилась-бы безъ драки, ежели бы я не вступился въ дѣло. Усмирить расходившіяся страсти мнѣ стоило не малыхъ трудовъ и хлопотъ. Прежде всего я посадилъ всѣхъ по мѣстамъ и постарался узнать причину, отъ которой весь этотъ сыръ боръ загорѣлся. Узналъ я эту причину не скоро, ибо каждый вскакивалъ съ назначеннаго ему мѣста, подбѣгалъ ко мнѣ, и всѣ вмѣстѣ принимались по своему объяснять мнѣ таковую. Но тѣмъ не мене я все-таки въ концѣ-концовъ узналъ эту причину. Оказалось, что надо было ѣхать въ поле за снопами, а „кавалеръ“, сидѣлъ за самоваромъ. Старшій братъ Степанъ, не желая отрывать Никанора отъ чая, запретъ лошадей какъ себѣ, такъ

и брату, а заложивши лошадей, вошелъ къ брату и крикнулъ: — „Ну, будетъ тебѣ чайничать-то, дай ѣхать!“ — „Кавалеръ“ этимъ оскорбился и вспыхнулъ: — „Чего ты орешь-то здѣсь, вскрикнулъ онъ. Работникъ, что-ли я твой?“ — Степанъ пошелъ сказать объ этомъ отцу, а старикъ, давно уже точившій зубы на „питерца“, какъ онъ его называлъ, бросился къ нему и, забывъ что это уже былъ не Конурка, а Никаноръ Семенычъ, началъ было распоряжаться съ нимъ по прежнему. Слово за слово — и пошла потѣха. Чтобы никого не оскорбить и не раздражить, я началъ обвинять всѣхъ. Обвинилъ Никанора Семеныча, что онъ не печется о собственномъ своемъ добрѣ и слово глупый ребенокъ не могъ оторваться отъ самовара, когда весь народъ не чайничаетъ, а даже путемъ не ѣстъ. Обвинилъ Степана, что наядбедничалъ старику и что не постарался по братски и ласково уговорить Никанора поторопиться съ чаемъ и, наконецъ, обвинилъ старика за его грубое и деспотическое обращеніе съ сыномъ.

— Такъ, братцы, жить нельзя, — горячился я. — Необходимо подчасъ извинять и снисходить другъ другу. Нельзя же всякое лыко въ строку ставить. Вѣдь ежели мы такъ строго разбирать будемъ каждое сказанное слово и каждый сдѣланный шагъ, такъ вѣдь тогда и времени не хватитъ на руготню. Не такъ всталъ, — ругаться!.. Не такъ взглянулъ — опять ругаться!.. Да вѣдь это каторга!.. И изъ-за чего вы перессорились, переругались? Собразите-ка, изъ-за своего же собственного добра!.. Вонъ, — прибавилъ я, указывая въ окно на цѣлый обозъ тянувшихся телѣгъ съ снопами, люди-то по второму разу съѣздили, гумна свои одоньями заставляютъ, а вы сидите и ругаетесь!.. Ну, резонъ-ли это, подумайте...

Конечно, я былъ увѣренъ, что прочнаго мира

въ семьѣ не водворю, но тѣмъ не менѣе я все-таки достигъ того, что ссора была покончена, что тишина была восстановлена и что оба брата, нѣсколько поворчавъ другъ на друга, поѣхали за снопами. Поле было не далеко и они быстро обернули назадъ и, сложивъ снопы на гумно, тотчасъ-же снова отправились въ поле. Такъ до обѣда они въ четверомъ съѣздили до пяти разъ и къ обѣду на гумнѣ возвышалось уже красиво сложенное одонье ржаныхъ сноповъ. Пообѣдавъ на скоро они тотчасъ-же послѣ обѣда опять принялись за возку. Старикъ все время былъ мраченъ, говорилъ мало, но все-таки начиналъ успокаиваться и приходитъ въ себя. Все шло ладно, какъ вдругъ слѣдующій случай совершенно разрушилъ всѣ мои хлопоты и все повернулъ вверхъ дномъ. Кто-то постучалъ въ окно... Агафья смѣтила это и опрометью бросилась вонъ изъ избы.

— Никаноръ Семенычъ дома?— раздался подъ окномъ чей-то тоненькій женскій голосъ.

Но въ это время подъ окномъ раздалась пощечина, другая, третья... Кто-то принялся кричать „караулъ“, слышались неистовые женскіе крики, площадная брань и въ то же время какіе-то глухіе звуки, походившіе на удары. Мы съ старикомъ выбѣжали на улицу и увидали слѣдующую картину. Агафья, вцѣпившись въ волосы какой-то прилично одѣтой дѣвушки въ ситцевомъ платьѣ, таскала ее по землѣ и въ то же время била ее ногами по чемъ попало... Та взывала о помощи, силилась вырваться изъ рукъ Агафьи, но всѣ ея усилія оказались тщетными. Лицо ея было окровавлено; оторванные клочки платья летѣли во всѣ стороны, шиньонъ валялся на дорогѣ и пыль на этомъ мѣстѣ крутилась словно вихрь.

— Молодецъ, Агафья, молодецъ!— кричалъ старикъ восторженно:— хорошенько ее... по мордѣ-

то ее, по мордѣ... Вишь, разлучница, шататься-то повадилась... въ зубы-то ей... въ зубы!..

Я бросился разнимать ихъ, но сладить съ остервенившейся Агафьей было не легко. Однако мнѣ все-таки удалось кое-какъ поднять дѣвушку на ноги. Но только что я поднялъ ее, какъ Агафья снова налетѣла на свою „разлучницу“ и принялась бить ее по „мордѣ“... А тутъ, какъ разъ подѣхали братья со снопами. Увидавъ происходившее, „кавалеръ“ въ одно мгновенье подлетѣлъ къ женѣ и однимъ ударомъ сшибъ ее съ ногъ. Степанъ вступился за Агафью и накинудся на брата, между тѣмъ какъ успѣвшая вскочить на ноги Агафья снова опрокинула на землю дѣвушку въ ситцевомъ платѣ. Выбѣжала старуха съ ухватомъ, выбѣжала жена Степана, вступилъ въ дѣло самъ старикъ Небываловъ—и огонь былъ открытъ настоящій.

Я бросился къ своей лошади, вспрыгнувъ на дрожки и скорѣй домой!..

Мѣсяца черезъ два завернулъ ко мнѣ Небываловъ. Онъ весело улыбался и видимо былъ въ самомъ хорошемъ расположеніи духа.

— Ну, — проговорилъ онъ, — уладили дѣло... Слава тебѣ Господи...

— Какъ-же?—спрашиваю.

— Отдѣлилъ „питерца-то!“ Избу ему далъ, двѣ лошади, корову-подтелку, десятокъ овецъ, свиной пару.

— Гдѣ-же ты избу-то взялъ?

— Купилъ!.. Въ Грязнухѣ мужичекъ одинъ на Бузудукъ переселился, у него и купилъ... Изба богатѣющая, о двухъ срубахъ, просторная... амбарчикъ тоже далъ... обстроилъ какъ быть должно...

— Ужъ и обстроилъ?—удивился я.

— А какъ-же! И избу перевезли и на мѣсто поставили... живетъ въ ней!

— Когда-же ты успѣлъ-то?..

— Поторапливался!..

— А хлѣбъ убрали?

— Убрали и раздѣлили!.. И хлѣбъ рздѣлили,  
и солому...

— Ну, а съ Агафѣей-то ладно живетъ?

— Ничего...

— Не дерутся?

— Не слышно...

— Ну... а драка-то тогдашняя чѣмъ кончилась?

— Какая драка? — удивился старикъ, даже и позабывшій объ описанной свалкѣ.

Я напомнилъ.

— О! — вскрикнулъ онъ.

И самымъ хладнокровнымъ голосомъ проговорилъ:

— Ничего...

Посидѣлъ у меня старикъ, „опустошилъ“, конечно, цѣлый самоваръ и затѣмъ уѣхалъ, благословляя свою судьбу.

— Теперь, говоритъ, опять смирно живемъ... Слава тебѣ Господи... Опять на людей стали похожи.

Слѣдующей весной мнѣ какъ-то случилось проѣзжать Летяжевкой. Такъ какъ я торопился въ городъ, то порѣшилъ къ Небывалову не заѣзжать. Я миновалъ его избу, выѣхалъ на небольшую площадку, отдѣлявшую одинъ поселокъ отъ другого, и вдругъ услышалъ, что кто-то зоветъ меня. Я оглянулся и увидалъ „кавалера“.

Разодѣтый въ щегольской казакинъ, какіе носятъ обыкновенно въ хорахъ цыгане, съ цѣпочкой на груди и широкихъ шароварахъ, онъ стоялъ на крылечкѣ совершенно новенькаго флигеля и усердно приглашалъ меня къ себѣ посмотреть на его житье бытѣ.

— Некогда, Никаноръ Семенычъ, — кричалъ я, — въ городъ тороплюсь.

— Хоть на минуточку-съ... Сдѣлайте такую мнѣ деликатность...

— Право, некогда...

— Посмотрите хоть на мое заведенъице!

— Какое заведенъе?—спросилъ я.

— Да какже-съ! Вывѣсочку-то развѣ не изволите видѣть-съ?—Только тогда я замѣтилъ красовавшуюся на крылечкѣ вывѣску съ надписью: „Трактиръ Санктъ-Петербургъ“ и порѣшилъ посмотреть заведеніе. Заведенъе оказалось хошь куда! Прямо съ крыльца я попалъ въ довольно просторную комнату, какъ видно передѣланную изъ сѣней, въ глубинѣ которой стояла стойка, а за стойкой чистенькій швафъ, на полкахъ котораго были красиво разставлены бутылки съ разными водками и винами и чайная посуда. Передъ двумя окнами, имѣвшимися въ этой комнатѣ, виднѣлись столики, накрытые пестрыми скатертями, съ опрокинутыми на нихъ полоскательными чашками. Комната была оклеена веселенькими обоями, потолокъ выбѣленъ и стѣны украшены разными патентами и свидѣтельствами.

Направо была другая комната, тоже оклеенная обоями и тоже уставленная столиками, но та была уже замѣтно опрятнѣе первой. Тамъ и обои были получше и занавѣски висѣли на окнахъ, а стѣны были увѣшаны олеографическими приложениями къ „Нивѣ“. Тамъ даже пронзительно трещала канарейка въ красивенькой клѣткѣ. „Кавалеръ“ пріятно улыбался и въ то же время рассказывалъ мнѣ, стараясь щегольнуть краснорѣчіемъ, про назначеніе этихъ двухъ комнатъ.

— Тамъ,—говорилъ онъ, указывая на первую комнату,—залъ для черной публики-съ, здѣсь-съ: для цивилизованныхъ гостей-съ. Для мужичка-съ, чѣмъ грязнѣе, тѣмъ пріятнѣе-съ, потому-что онъ

въ своей сферѣ, ну, а интеллигентъ потребуеть чистоты, а главное конфертотивности...

— Да, да, конечно,—подхватилъ я, желая поправить ошибку „кавалера“;—комфортабельность дѣло великое.

Но „кавалеръ“ даже и не смекнулъ этой поправки и развязно продолжалъ:

— А тамъ, (при этомъ онъ указывалъ на дверь, ведущую изъ первой комнаты влѣво) мой семейный очагъ... Если позволите пригласить васъ?..—добавилъ онъ, вопросительно взглянувъ на меня.

Я согласился осмотрѣть и „семейный очагъ“.

Очагъ этотъ удивилъ меня тѣмъ, что вмѣсто Агафьи, которую я думалъ встрѣтить, я вдругъ увидалъ ту самую дѣвицу, которую осенью спасалъ отъ избіенія. Теперь она была хоть куда! На ней было хорошее ситцевое платье, изящно обрисовывавшее ея стройный бюстъ и тоненькую талію; бѣлый фартучекъ съ нагофренными обшивочками, на головѣ шиньонъ, а на лицѣ никакихъ слѣдовъ отъ нанесенныхъ ей Агафьей побоевъ. Когда я вошелъ, она сидѣла за швейной машиной и что-то шила.

— Вы, кажется, знакомы?..—проговорилъ кавалеръ, указывая на дѣвицу...

Я хотѣлъ было сказать: „да, имѣлъ удовольствіе“, но, вспомнивъ при какихъ обстоятельствахъ знакомство это совершилось, я только молча раскланялся съ нею. Она встала, положила работу и поклонилась. Какъ видно, она меня не узнала (когда же было тамъ разглядывать!), а поэтому и нисколько не смутилась при моемъ появленіи. Напротивъ, она довольно развязно протянула мнѣ руку и пригласила сѣсть на небольшой диванчикъ, стоявшій какъ разъ противъ входной двери.

— Прощу васъ...—сказала она, указывая на диванъ рукой.

Я усѣлся и, не зная съ кѣмъ я имѣю дѣло, положительно растерялся.

„Кавалеръ“ это замѣтилъ и поспѣшилъ вывести меня изъ этого неловкаго положенія...

— Вы, кажется, удивляетесь, — проговорилъ онъ, — встрѣтивъ у меня эту особу?..

— Да... я не ожидалъ... я не знаю...—пробормоталъ я.

— Это моя гражданская жена!—подхватилъ онъ развязно и съ апломбомъ,—Авдотья Никитишна. Прощу любить и жаловать-съ...

И я снова пожалъ руку „гражданской жены“ Никанора Семеныча.

Хотя „кавалеръ“ и зазвалъ меня только на одну минуточку, но мнѣ пришлось пробыть у него ровно полтора часа. Онъ положительно поступалъ со мной, какъ съ какимъ-нибудь плѣннымъ, и освободилъ меня отъ этого плѣна только тогда, когда мы выпили съ нимъ, во-первыхъ, графинъ водки, а во-вторыхъ, бутылокъ шесть кислаго пива, отъ котораго меня затерзала дорогой изжога. Авдотья Никитишна была очень любезна и оказалась вполнѣ гостепріимной хозяйкой. Какъ-то разъ она вышла изъ комнаты, я воспользовался этимъ и спросилъ:

— А гдѣ же жена ваша, Агафья?

— Не знаю, право!..—отвѣтилъ онъ развязно.

Уѣзжая, я еще разъ похвалилъ открытое „кавалеромъ“ заведеніе.

— Очень, очень хорошо,—проговорилъ я,—все такъ чистенько, опрятно... И буфетъ красивый и бутылки разставлены изящно... очень, очень хорошо.

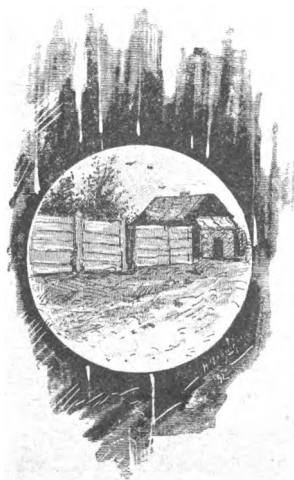
„Кавалеръ“, шаркнувъ ногой и, протянувъ мнѣ руку, проговорилъ:



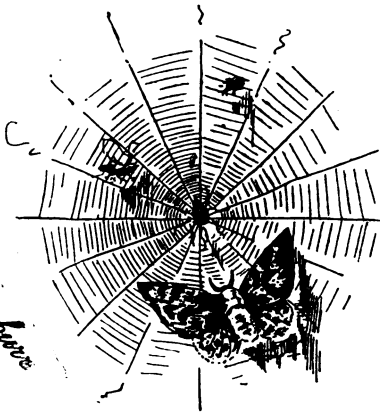
— Благодарю васъ за лестный для меня *цинизмъ!*..

Сперва я не понялъ, что именно хотѣлъ онъ выразить этимъ, и только уже отъѣхавъ отъ Лентяевки версты двѣ, догадался, что подъ словомъ „цинизмъ“ онъ разумѣлъ цѣну, оцѣнку.

Нѣкоторое время спустя, я узналъ, что Агафья оставила семью Небываловыхъ, поступила къ какому-то купцу въ кухарки и одновременно, не безъ успѣха, отираетъ должность „гражданской жены“.



*Дмитрий Павлович  
Васильевъ.*



## **Ласковый баринъ.**

(СЪ НАТУРЫ.)

Онъ былъ сынъ „бѣдныхъ, но благородныхъ родителей“, красивой наружности, съ комилфотными манерами и еще болѣе комилфотнымъ гардеробомъ. Онъ строго слѣдилъ за модой, выполнялъ все ея требованія и допускалъ лишь одну маленькую либеральность, а именно: выходя за-просто, надѣвалъ вмѣсто шляпы кавалерійскую фуражку съ офицерской кокардой, хотя никогда офицеромъ не состоялъ. Никто не щеголялъ такими узенькими носками ботинокъ и такими низенькими каблуками, какъ онъ, и никто, какъ онъ, не умѣлъ такъ изящно вышагивать по широкимъ панелямъ города и такъ картинно раскланиваться при встрѣчѣ съ знакомыми. Это былъ настоящій джентельменъ!

Состоянія онъ не имѣлъ никакого, службу по-

кинулъ, не дотянувъ до корнета, но тѣмъ же менѣе двадцать-тридцать рублей можно было постоянно видѣть небрежно скомканными въ его щегольскомъ портмонэ. Онъ былъ въ обществѣ, носѣшалъ театры, былъ пріятельски знакомъ съ антрепренеромъ и труппой; обѣдалъ въ лучшихъ ресторанахъ города, участвовалъ во всѣхъ пикникахъ и пирушкахъ, съ успѣхомъ изображалъ фатовъ на благотворительныхъ любительскихъ спектакляхъ; мастерски дирижировалъ танцами, водилъ дружбу съ комильфотными кокотками, знакомилъ съ ними тѣхъ, кому такое знакомство требовалось; развѣзжалъ на лучшихъ извозчикахъ, и въ то же время всегда выходило какъ-то такъ, что двадцать-тридцать рублей все-таки оставались неприкосновенными въ его щегольскомъ портмонэ. Среди молодежи, особливо прѣзжавшей изъ деревень въ городъ пожуировать и покутить, онъ былъ неоцѣнимымъ коноводомъ. Онъ указывалъ этимъ молодымъ людямъ въ какомъ именно ресторанѣ можно хорошо позавтракать, въ какомъ надо обѣдать, ужинать... Указывалъ, у какого именно портного слѣдуетъ шить фраки, а у какого—сюртуки и визитки, и въ то же время рекомендовалъ, въ какихъ именно погребахъ надо брать то или другое вино. Онъ все зналъ и ему словно докладывали каждое утро о появляющихся въ городѣ новинкахъ. Собереть, бывало, молодежь и объявить: „Господа, ѣдемъ въ „татарщину“—новый поварь!“—Или: „тамъ-то получено новое шампанское, тамъ-то устрицы... все это еще не распаковано, но мы велимъ распаковать!“ И всѣ гурьбой отправлялись пробовать повара, шампанское и устрицы... а за шампанскимъ онъ лукаво спрашивалъ:—„А знакомы вы съ Бертой, господа?“—Нѣтъ!—„Только вчера пожаловала... роскошь!.. Хотите, представлю?..“

И всѣ гурьбой ѣхали знакомиться съ только-что прибывшей красавицей...

Квартировалъ онъ въ лучшей гостиницѣ, номерокъ занималъ небольшой, но зато въ номерокѣ этомъ было всего по-немногу: немного картинъ, немного бронзы, немного ковра и даже имѣлась красивая латанія—бурбоника, растеніе, безъ котораго немислима мало-мальски порядочная „обстановка“. Словомъ, онъ жилъ, наслаждался жизнью, жуировалъ, а двадцать-тридцать рублей всегда оставались при немъ!

Она была дочь простой кухарки, совсѣмъ молоденькая дѣвочка, съ розовыми щечками, смугленькимъ личикомъ и свѣтло-голубыми веселенькими глазками. Мать ея была кухарка заурядная... умѣла только кое-какъ варить щи, лапшу и кое-какъ жарить баранину и картофель. Это была даже грязная, нечистоплотная кухарка, ибо чистила ножи, поплеывая на истолченный кирпичъ, руками отирала потъ съ лица, а когда крошила лапшу, непременно ухитрялась до крови порѣзать себѣ палець и окровенить лапшу. Она даже была „не чиста на руку“, такъ какъ каждый базаръ изъ рубля, даваемого ей полуголодной чиновничьей семьей на провизію, крапа десять—пятнадцать копѣекъ. Дочь ея жила у „мадамы“ ученицей, но больше занималась черной работой. Она мыла полы, таскала утюги, ставила самовары, чистила сапоги, топила печи, разносила по домамъ заказы, а въ свободное время, которое всегда совпадало какъ-то съ глубокой ночью, спала чуть не на голомъ полу.

Онъ часто встрѣчалъ ее въ городскомъ саду, въ которомъ ежедневно совершалъ свои гигиеническія прогулки. Онъ встрѣчалъ ее то съ громаднымъ узломъ, то съ картонками. Иногда ноша была не по силамъ, и тогда, утомленная и рас-

краснѣвшаяся, она садилась на скамью и отдыхала. На ней было всегда коротенькое ситцевое платье, темный передничекъ, а растрепанные волосы она покрывала платочкомъ. Ноги ея были обуты въ разорванныя ботинки, но она такъ быстро и легко сѣменила этими ногами, что можно было невольно засмотрѣться на нихъ. Съ дѣтскимъ любопытствомъ слѣдила она за прохожими и въ то же время жевала сорванные съ деревьевъ листочки. Иногда листочки эти она прикладывала ко рту, втягивала въ себя воздухъ, и лопнувшій листъ громко шелкалъ. Это доставляло ей большое удовольствіе!.. Но удовольствіе это доставалось ей не дешево. Она обыкновенно запаздывала возвращеніемъ домой, и тогда строгая и взыскательная „мадамъ“ либо оставляла ее безъ обѣда, либо била ее по щекамъ. Онъ сперва не замѣчалъ ее и, посвистывая, проходилъ мимо, даже не удостоивая ее взглядомъ. Она тоже безучастно смотрѣла на него и продолжала себѣ шелкать листьями. Но разъ какъ-то онъ пристально взглянулъ на нее и замѣтилъ. Ему понравились ея голубые глазки, опушенные длинными рѣсницами, смуглый румянецъ, а пуще всего пухленькія, дрожавшія при ходьбѣ, щечки и только-что начинавшій развиваться бюстъ. Когда взгляды ихъ встрѣтились, она словно испугалась чего-то и, быстро отвернувшись, принялась смотрѣть въ противоположную сторону. Съ этого момента, встрѣчаясь съ нею, онъ переставалъ насвистывать, а она шелкать листьями. Она даже начала чувствовать какую-то робость при видѣ его и, чтобы избѣжать встрѣчи, перебѣгала на другую аллею. Но онъ дѣлалъ то же самое, и они все-таки встрѣчались. Разъ, увидавъ его, она повернула даже назадъ и только тогда рѣшилась продолжать свой путь, когда убѣдилась, что его не было въ

аллеѣ. Но, поровнявшись съ лимонадной будкой, онъ вдругъ, словно изъ земли, выросъ передъ нею.

— Вы, кажется, бѣгаете отъ меня?— шепнулъ онъ ласково.

Но она метнулась въ сторону, миновала его и, не отвѣтивъ ни слова, убѣжала.

Однако, робость эта продолжалась недолго. Онъ всегда такъ ласково смотрѣлъ на нее, такъ добродушно улыбался ей, что она невольно какъ-то начала считать его ласковымъ бариниомъ, а немного спустя на вопросъ его: „что это вы несете?“ она отвѣтила: „платье-съ“...

— Вамъ тяжело?

— Ничего-съ... я привыкла...

А въ слѣдующую встрѣчу онъ предложилъ ей стаканъ лимонада. Она долго колебалась, но день былъ знойный, узелъ несла она громадный, во рту у нея пересохло, лицо горѣло и она не устояла передъ соблазномъ освѣжиться. Она съ жадностью выпила кружку и искренно поблагодарила его за этотъ лимонадъ, который, дѣйствительно, и освѣжилъ, и подкрѣпилъ ее. Потомъ, два дня спустя, онъ подарилъ ей апельсинъ, который она тоже съѣла съ наслажденіемъ и съ этихъ поръ она окончательно уже убѣдилась, что онъ, дѣйствительно, ласковый баринъ.

Встрѣчи стали повторяться, и вотъ однажды, встрѣтившись съ нею и убѣдившись, что никого изъ его знакомыхъ не было въ саду, онъ пошелъ съ нею рядомъ.

— Какіе у васъ глазки хорошенькіе, — шепнулъ онъ.

Но замѣтивъ ея смущеніе и испугъ, быстро перемѣнилъ разговоръ и заговорилъ о погодѣ. А потомъ, встрѣчаясь, рассказывалъ ей разные смѣшные анекдоты, которыхъ у него былъ большой запасъ, и, слушая ихъ, ей становилось ве-

село, смѣшно. Затѣмъ, проводивъ ее до воротъ сада, онъ останавливался, протягивалъ ей руку и говорилъ: „до свиданья“.

Сперва она робѣла, прятала руку подъ фартукъ, говорила, что не смѣетъ, что она „простая“, а онъ „баринъ“, но онъ какъ-то изловилъ ее руку, крѣпко пожалъ ее и съ той поры она уже не прятала руки. Это окончательно убѣдило ее, что онъ ласковый баринъ.

Однажды онъ спросилъ ее:

— Вы ходите ко всенощной?

— Хожу... ништо можно ко всенощной не ходить...

— Въ какую церковь?

— Къ Скорбящей.

— Гдѣ это?

— На Сергіевской...

— Будете сегодня?

— Нельзя-же... завтра праздникъ большой.

— И я прѣду...

И ей вдругъ почему-то и страшно стало, и хорошо. Но, собираясь ко всенощной, она подумала: „это онъ пошутилъ только, навѣрное не придетъ!“

А онъ пришелъ, розыскалъ ее и сталъ рядомъ. Она была одѣта по праздничному: въ гремучемъ ситцевомъ платьѣ съ турнюромъ, въ какой-то смѣшной соломенной шляпѣ, скрипучихъ ботинкахъ, и даже со сложеннымъ зонтикомъ въ рукахъ. Она употребила все свое стараніе, чтобы одѣться пощеголеватѣе, а онъ даже отшатнулся, увидавъ ее въ этомъ глупомъ нарядѣ. Нарядъ былъ, дѣйствительно, ужасный, уродовалъ ее и дѣлалъ ее похожею на карлицу. Но знакомыхъ въ церкви не было, царилъ полумракъ, освѣщались только иконы лампадками и свѣчами, и онъ стойко простоялъ всю всенощную рядомъ съ

нею. Когда служба кончилась, они пошли гулять, и долго по пустыннымъ улицамъ города, покрытымъ мракомъ теплой лѣтней ночи, подъ сводомъ синяго неба, усѣянаго звѣздами, раздавался скрипъ ея ботинокъ и газетный шорохъ ея платья. Она была безконечно счастлива, а онъ старался только не глядѣть на ея смѣшной и уродливый костюмъ. Только когда на какой-то колокольнѣ пробило двѣнадцать часовъ, она спохватилась, что ей давно-бы пора домой. Онъ проводилъ ее до моднаго магазина и тамъ, возлѣ калитки, крѣпко пожалъ ей руку.

— А завтра увидимся?— спросилъ онъ ее.

— Завтра предсѣдательшѣ тальму понесу, — отвѣтила она, словно задыхаясь.

— По саду пойдете?

— Да.

— Такъ мы встрѣтимся...

И, нѣжно взявъ ее за талию, онъ привлекъ ее къ себѣ и поцѣловалъ въ лобъ.

— Милая!—шепнулъ онъ ей на ухо.

Это былъ первый поцѣлуй, полученный ею отъ мужчины. Горячимъ сургучемъ онъ присталъ къ тому мѣсту, котораго коснулись дерзкія губы, и обжогъ ее печатью позора. И не успѣла она опомниться, не успѣла придти въ себя, какъ его уже не было. А печать жгла ея голову и шопоть словно застрялъ въ ея ушахъ. Дѣвичій стыдъ, овладѣвшій ею, вызвалъ на глаза слезы. Даже темная ночь, многое извиняющая и прощающая, словно ничего не хотѣла ни простить, ни извинить ей, ни въ чемъ неповинному ребенку! И сердце ея замерло отъ стыда.

Въ „мастерской“ встрѣтила ее „мадамъ“. Мадамъ была строгая и нравственная женщина. Она въ ту же секунду замѣтила смущеніе дѣвочки и разразилась надъ нею страшною бранью.



— По ночамъ шляться!—кричала она.—Любовника что ли нашла! Ахъ ты мокростовница этакая!..

А когда она хотѣла было возразить, оправдаться, то мадамъ такъ сильно ударила ее по щекамъ, что сшибла даже съ бѣдной дѣвочки ея смѣшную съ цвѣтами шляпку.

Она не спала всю ночь. Лежа на полу на жесткомъ войлокѣ, рядомъ съ подругами, она свернулась клубочкомъ, закрылась съ головой равнымъ ватнымъ „дипломатомъ“ и, несмотря на духоту, дрожала, какъ въ лихорадкѣ, и въ то же время горько плакала.

Она лежала и порѣшила не идти завтра въ садъ. Но утромъ, вспомнивъ данную ей мадамою оплеуху, она перемѣнила это рѣшеніе. Ей стало обидно и ей хотѣлось повѣдать свою обиду ласковому барину, выплакать передъ нимъ свое горе и встрѣтить его участіе.

Когда она понесла тальму „предсѣдательшѣ“, она пошла садомъ. Но она не встрѣтила его: его не было въ саду.

Она не встрѣтила его и на слѣдующій день, хотя и обѣгала всѣ аллеи сада и даже заглядывала въ ту лимонадную будку, въ которой онъ угощалъ ее лимонадомъ, думая хоть тамъ увидать его. Но его нигдѣ не было. Она не встрѣчала его всю недѣлю и даже потеряла надежду увидѣть. Наступилъ какой-то праздникъ, и она опять пошла ко всенощной. На этотъ разъ ей было не до нарядовъ. Она только торопливо накинула на голову платочекъ, пригладила спереди волосы и побѣжала въ церковь. Она стала опять на то же мѣсто, на которомъ стояла прошлую всенощную, но его не было. Волненіе ее возрастало съ каждой минутой и желаніе видѣть его становилось непреодолимымъ. Передъ концомъ всенощной она

рѣшилась обойти церковь. Она обошла ее, пристально всматриваясь въ толпу и не обращая вниманія на пивки, которыми награждали ее тѣ, которыхъ она толкала, протискиваясь изъ угла въ уголь церкви. Его не было!.. Сердце ея болѣзненно сжалось и слезы наполняли глаза. Ей такъ хотѣлось встрѣтиться съ нимъ, увидеть его ласковую улыбку, послушать его ласковую рѣчь! Всенощная кончилась; народъ повалилъ изъ церкви, а вслѣдъ за народомъ пошла и она, грустная и убитая. Но каково же было ея счастье, когда, выйдя изъ церкви, она увидала его стоящимъ на паперти. Онъ также всматривался въ проходившихъ и словно искалъ кого-то глазами. Она готова была вскрикнуть: „здѣсь я, здѣсь!“ но онъ, замѣтивъ ее, быстро сошелъ со ступеней и поспѣшно вышелъ изъ ограды. Онъ умѣрилъ свои шаги тогда только, когда увидалъ себя въ пустынномъ переулкѣ. Она не спускала его съ глазъ и быстро догнала его.

— Я нарочно сюда отошелъ, — проговорилъ онъ, протягивая ей обѣ руки; — тамъ могли бы васъ увидеть, а я не хочу, чтобы про васъ сочинялись какія-либо пошлыя сплетни.

И онъ такъ ласково взглянулъ на нее, что она въ ту же минуту забыла про всѣ свои страданія.

Онъ былъ крайне возмущенъ, выслушавъ ея рассказъ про оплеуху, и возмущеніе это было настолько искренно, что онъ тотчасъ же рѣшилъ преслѣдовать „мадамъ“ судомъ.

— Это жестоко, это безчеловѣчно, — говорилъ онъ; — прощать этого нельзя.

Она сперва не понимала въ чемъ именно будетъ состоять преслѣдованіе, но когда узнала, что „мадамъ“ потащутъ къ мировому, она даже въ ужасъ пришла.

— Что вы, что вы, ништо это возможно? — за-

дѣло, повеселѣла какъ-то и все пошло по старому. Она по-прежнему работала за деслтерыхъ: ставила и чистила самовары, таскала утюги, мыла полы и бѣгала во всѣ концы города, разнося узлы и картоны. Дѣло въ томъ, что она опять какъ-то встрѣтила его и, узнавъ, что онъ куда-то уѣзжалъ изъ города, успокоилась. Она увидала его, и счастье снова возвратилось къ ней! Ее тревожило одно только, что съ нѣкотораго времени она начала себя чувствовать какъ-то неловко. Прежде, взбѣгая на лѣстницу, она никогда не задыхалась—такъ бывало и взбѣжить съ перваго на пятый этажъ; только, бывало, пятки сверкаютъ!—а теперь начала чувствовать какую-то одышку. Взбѣжить на десять, пятнадцать ступеней—и задохнется!— „Господи, что ужъ это такое со мной!“ думала она и немощно опускалась на ступеньку.

Замѣтилъ эту перемену и онъ и крайне смутился.

— Слушай-ка,—проговорилъ онъ однажды, — ты, кажется, тово...

Она даже не поняла, на что именно онъ намекаетъ, и только широко раскрыла глаза и ротъ.

— Ты бы себѣ кофточку сшила,—продолжалъ онъ.

— Зачѣмъ?

— Не такъ бы въ глаза бросалось...

Но, подумавъ, прибавилъ:

— Я тебѣ лѣкарство дамъ... какъ рукой сниметь!

— Дайте,—обрадовалась она,—а то одышка одолѣла...

— Ну вотъ, я тебѣ отъ одышки-то и дамъ лѣкарство,—проговорилъ онъ, улыбаясь, и ласково потренилъ ее по плечу.

Она чуть руку не поцѣловала у него за это обѣщаніе! „Вонъ, вѣдь какой ласковый!“ размышляла она.

Весь этотъ день онъ былъ не въ духѣ. — „Нѣтъ, такъ нельзя, — разсуждалъ онъ... Это скандалъ... Надо непременно все это уничтожить!“ И онъ пошелъ къ пріятелю-аптекарю, но почему-то лѣкарства „отъ одышки“ не спрашивалъ, а ограничился только тѣмъ, что взялъ флаконъ ароматическаго одеколона да зубного порошка, попросивъ все это записать въ его счетъ. А она недѣли двѣ все бѣгала по улицамъ и бульварамъ, чтобы заполучить отъ него лѣкарство отъ „одышки“. Она готова была даже сходить къ нему на домъ за этимъ лѣкарствомъ, но она не знала, гдѣ именно онъ квартируетъ.

„Должно опять уѣхать!“ подумала она и, спивъ себѣ кофточку, успокоилась.

Въ то самое время въ магазинѣ „мадамы“ произошло слѣдующее: къ магазину, скрипя колесами по мерзлому снѣгу, подкатила щегольская карета, запряженная парю вороныхъ коней. Дверка отворилась и изъ кареты вышла дама въ собольяхъ. Увидавъ въ окно подѣхавшую, „мадамъ“ радостно вслеснула руками и опрометью бросилась въ сѣни отворять дверь. Это была богатая и именитая купеческая вдова, женщина лѣтъ сорока, съ нарумяненными щеками и подведенными глазами и бровями.

— Какими судьбами? — вскрикнула „мадамъ“.

— Къ вамъ, голубушка...

— А ужъ я думала, что совсѣмъ забыли меня...

— А вотъ когда пришла надобность, и вспомнила.

— Очень рада...

Войдя въ залу, „мадамъ“ сняла съ пріѣхавшей ротонду и разсыпалась комплиментами.

А вдова съ улыбкой проговорила:

— Приданое шейте, голубушка, — замужь выжожу!..—И, засмѣявшись, прибавила:—надоѣли мнѣ эти баритоны-то!..

«Мадамъ» чуть съ ума не сошла отъ радости, предвидя наживу.

Часа три пробесѣдовали онѣ, наконецъ, порѣшили завтра же съ утра ѣхать въ магазины и закупить все, требующееся для гардероба богатой невѣсты.

Весь городъ заговорилъ про эту свадьбу, и толкамъ и пересудамъ не было конца.

Въ магазинѣ „мадамы“ происходилъ содомъ. Цѣлые тюки всевозможныхъ матерій завалили собою не только мастерскую, но даже и жилия комнаты „мадамы“. Въ залѣ былъ поставленъ громадныхъ размѣровъ столъ, и на столѣ этомъ матеріи рѣзались на куски, клинья, полоски и затѣмъ превращались въ платья. Вся лишняя мебель была перенесена на чердакъ, а вмѣсто нея вдоль стѣнъ стояли манекены, на которые надѣвались сшитыя платья. Странную картину представляли собою эти манекены! Разодѣтые въ шелкъ, бархатъ и кружева—они словно олицетворяли собою потерявшую голову невѣсту. Въ гостиной тоже кипѣла работа. Тамъ помѣщались прибавленныя „мадамой“ мастерицы, которымъ не хватало мѣста въ мастерской. Гостиная огласилась лязгомъ ножицъ и гуломъ швейныхъ машинъ, и, подзадоренныя этимъ непривычнымъ шумомъ, канарейки немилосердно трещали, оглушая мастерицъ. Работали съ утра и до поздней ночи, и даже сама „мадамъ“ не давала себѣ отдыха. Карета размазанной невѣсты ежедневно подѣзжала къ мастерской и каждый день подвозила новые тюки и картоны. Это былъ какой-то рогъ изобилія, выбрасывавшій изъ себя цвѣты, кружева и ленты.

Но моей героинѣ доставалось чуть-ли не больше всѣхъ! Были прибавлены мастерицы, былъ купленъ даже лишній самоваръ, такъ какъ одного не доставало, было прибавлено нѣсколько утюговъ, а на „побѣгушки“ она по-прежнему оставалась одна. Ее гоняли въ магазины за тесемками, нитками и крючками, ее жучили, когда она не поспѣвала съ утюгами и самоварами, ее чуть не били, когда замѣчали на полу соръ и обрѣзки, и въ то же время по нѣскольку разъ въ день она должна была бѣгать на край города съ разными порученіями къ ликующей невѣстѣ. А морозы стояли страшные, захватывающіе дыханіе и околѣнявшіе тѣло.

Она еще ни разу не видала невѣсты, ради за-тѣй которой ей приходилось недосыпать, недоѣдать и мерзнуть. Она входила въ домъ черезъ заднее крыльцо, черезъ горничную передавала барынѣ свои порученія и черезъ ту же горничную получала отвѣты.

Пока горничная была съ докладомъ у барыни, она вскакивала на теплую лежанку, поджимала подъ себя ноги и отогрѣвала свои околѣвшіе члены. Но какъ-то разъ барыня сама вышла къ ней въ дѣвичью и, увидавъ ее, комочкомъ сидѣвшую на лежанкѣ, разжалобилась. И, дѣйствительно, не мудрено было разжалобиться! На ней былъ какой-то рваный „дипломатишко“, тотъ самый, который по ночамъ замѣнялъ ей одѣяло, рваныя холодныя ботинки, а на головѣ шерстяной платокъ, концами котораго она опутывала себѣ шею. Руки ея были красны, лицо синее, и вся она дрожала, какъ въ лихорадкѣ. Счастливая невѣста была женщина добрая и сжалилась надъ полузамерзшей „побѣгушкой“. Она приказала заложить карету и поѣхала съ нею въ магазинъ. Тамъ она купила ей готовое платье, готовое ваточное паль-

то, теплыя ботинки и калоши, и при себѣ-же заставила ее надѣть все это на себя. Когда она переодѣлась, невѣста замѣтила:

— Что это, душечка, какой у тебя животикъ большой?

— Больна...—отвѣтила та.

— Не водянка-ли?..

А когда она была одѣта въ новос платье, невѣста опять посадила ее въ карету и сама отвезла ее къ „мадамѣ“.

„Мадамъ“ была очень недовольна всеѣмъ этимъ.

— Не стоитъ она того,—говорила она,—лѣн-тяйка... изъ жалости и держу только...

Но она съ этого времени сдѣлалась любимицей невѣсты. Она каждый разъ поила ее чаемъ, давала ей денегъ на извозчиковъ и любовалась ее милovidнымъ личикомъ. Это возбудило зависть въ подругахъ:

— Намъ обидно,—говорили онѣ.—Она подарки получаетъ, а мы ничего! Посылайте насъ по очереди.

„Мадамъ“ устроила очередь, но невѣста и слышать объ этомъ не хотѣла. Она потребовала отъ „мадамы“, чтобы къ ней присылали только одну ея любимицу. Съ этой поры она опять принялась бѣгать къ невѣстѣ, къ великой досадѣ своихъ подругъ.

Однажды какъ-то она встрѣтила его на улицѣ. Она даже замерла отъ счастья, руками всплеснула. Но онъ мчался на рысакѣ, въ щегольскихъ санкахъ, въ цилиндрѣ, въ бобрахъ, и не замѣтилъ ее, переходившую черезъ улицу съ громаднымъ узломъ въ рукахъ. Онъ промчался мимо и только обсыпалъ ее съ головы до ногъ вихремъ мелкой морозной пыли. Она даже не успѣла крикнуть ему: „здравствуйте“! Но она все-таки была счастлива, узнавъ, что онъ снова вернулся въ городъ.

Теперь ей не стыдно будетъ встрѣтиться съ нимъ. Она хорошо обута, одѣта, и она долго, долго будетъ ходить съ нимъ. Ей необходимо обо многомъ переговорить съ нимъ, очень обо многомъ, такъ какъ съ нѣкотораго времени подружки не даютъ ей прохода своими насмѣшками. Но она еще не убѣждена, справедливы-ли эти насмѣшки, или же смѣются надъ ней подъ вліяніемъ зависти за щедрые подарки, получаемые ею отъ невѣсты. Но тѣмъ не менѣе сомнѣніе все-таки закралось, и она приходила въ ужасъ. Что будетъ она дѣлать, ежели все это правда? Что скажетъ „мадамъ“? Что скажетъ мать? Мать проклянетъ ее!..

И вотъ, чтобы встрѣтиться съ нимъ, она опять начала бѣгать по улицамъ и по садамъ. Но онъ нигдѣ не встрѣчался ей. Подошла суббота, и она опять отправилась ко „всенощной“, думая хоть тамъ встрѣтить его, но его и тамъ не было. Она досадовала на себя, что ей никогда не приходило въ голову спросить у него его адресъ. — Тогда бы и бѣгать нечего было, — думала она, — пошла бы къ нему и конецъ дѣлу! — „Неужели онъ опять уѣхалъ“? разсуждала она съ ужасомъ. Но ужасъ этотъ скоро миновалъ. Она опять встрѣтила его мчавшимся на рысакѣ! На этотъ разъ они встрѣтились лицомъ къ лицу, и она только было собралась крикнуть ему: „постойте, остановитесь!“ какъ онъ быстро отвернулся и закутался въ боберъ. — „Не узналъ! — подумала она; — не привыкъ видѣть меня въ хорошемъ-то платьѣ!“ Однако, встрѣча эта все-таки успокоила ее: она убѣдилась, что онъ въ городѣ и что рано или поздно должны же они встрѣтиться.

И точно, они встрѣтились. Эту встрѣчу подсказало ей ея наболѣвшее сердце...

Какъ-то принесла она невѣстѣ какую-то работу. Невѣста была въ самомъ радужномъ на-



строении, (впрочемъ, настроеніе это не покидало ее съ самаго момента, какъ женихъ сдѣлалъ ей предложеніе). Она приказала горничной напоить любимицу чаемъ, дала ей цѣлую горсть какихъ-то сластей и даже предложила показать жениха.

— Хочешь,—говоритъ,—посмотрѣть!

И какъ-то подмигнувъ, прибавила:

— Онъ теперь здѣсь, у меня сидитъ...

— Я не смѣю... —отвѣчала она, вся вспыхнувъ.

— Ничего, не бойся...

И взявъ ее за руку, потащила въ комнаты.

Онѣ прошли огромный залъ съ паркетными полами, тропическими растеніями и съ массивной бронзовой люстрой, спускавшейся съ потолка; прошли гостиную съ тяжелыми портъерами и мягкими коврами; прошли еще какихъ-то двѣ комнаты, и, наконецъ, добрались до роскошно убраннаго будуара, въ глубинѣ котораго теплился каминъ. Женихъ, развалясь въ креслѣ, сидѣлъ передъ каминомъ спиной къ вошедшимъ. Онъ не слыхалъ, какъ онѣ вошли, и продолжалъ курить ароматическую сигару, пуская кверху синеватую струйку дыма.

— Володька!—крикнула невѣста, остановясь въ дверяхъ;—на тебя моя фаворитка посмотрѣть желаетъ! Да оглянись же!..

Онъ лѣниво повернулъ голову и вдругъ лицо его позеленѣло, перекопилось, и онъ какъ-будто не зналъ куда дѣвать глаза, а она какъ стояла, такъ и замерла на мѣстѣ. Передъ нею былъ онъ, этотъ ласковый баринъ! онъ, котораго она такъ любила, въ котораго такъ вѣрила, и которому отдала все свое сердце, всю свою жизнь! Будь на ее мѣстѣ не она—почти еще ребенокъ, не она—простая дѣвчонка на „побѣгушкахъ“, дочь чумазой кухарки, будь на ея мѣстѣ другая, болѣе бойкая, болѣе энергичная, то встрѣча этихъ

трехъ лицъ, такъ тѣсно связанныхъ однимъ и тѣмъ же интересомъ, могла бы превратиться въ эффектную и красивую сцену, могла бы дать богатый матеріалъ и драматургу, и актеру, и, перенесенная на подмостки театра, произвела бы эффектъ и вызвала бы громы рукоплесканій, но въ описываемой мною сценѣ эффектовъ не было. Она стояла какъ убитая, съ опущенными глазами, блѣдная, растерянная, и хотя бы пикнула! Только тогда, когда счастливая невѣста спросила ее: — „ну что, хорошъ?“ она чуть слышно прошептала: — „да!“ И вслѣдъ за тѣмъ, шатаясь и цѣпляясь за мебель, пошла въ дѣвичью.

А когда она вышла изъ будуара, когда шаги ея, медленно удалявшіеся, замолкли, и когда тамъ, гдѣ-то далеко, скрипнула послѣдняя затворившаяся за нею дверь, онъ подошелъ къ невѣстѣ и, нахально улыбаясь, проговорилъ:

— А твоя фаворитка, кажется, въ интересномъ положеніи!..

Съ этой минуты она погибла безвозвратно!

Она больше не приходила къ богатой невѣстѣ. Невѣста замѣтила это и какъ-то разъ спросила „мадаму“.

— Да куда же дѣвалась моя фаворитка?

Но „мадамъ“ брезгливо отвѣтила:

— Насилу съ рукъ сбыла...—И пригнувшись къ невѣстѣ, прошептала:—Представьте... въ интересномъ положеніи.

И тотчасъ добавила:

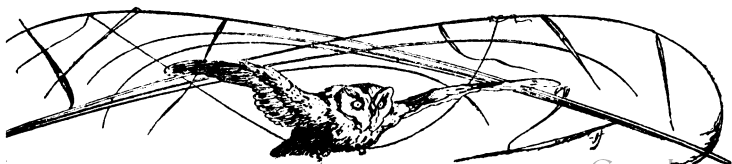
— А теперь во всѣ тяжкія пустилась. По кабакамъ шатается!

И, дѣйствительно, разъ какъ-то невѣста увидала ее изъ окна кареты. На дѣвочкѣ уже не было подареннаго ею костюма. Жалкіе лахмотья прикрывали ея маленькую фигурку и вмѣсто ботинокъ и калошъ на ногахъ ея болтались дыря-

вые валеные сапоги. Свѣжаго, румянаго личика  
ея нельзя было узнать. Оно было теперь сине-  
багроваго цвѣта, и кабакъ наложилъ на него свою  
печатъ.

Онъ тоже встрѣтилъ ее. Дѣло было такъ:

Онъ опять мчался на рысакѣ въ бобрахъ, въ  
цилиндрѣ, а ее, пьяную, тащилъ „блюстителъ“ въ  
околодокъ. Она ругала блюстителю самую отвра-  
тительною бранью, а тотъ молча продолжалъ та-  
щить ее за рукавъ и только изрѣдка награждалъ  
ее пинками. Онъ даже отвернулся,—такъ отвра-  
тительно показалась ему эта сцена!..



## Фотій Цбаньичъ.

(изъ воспоминаній пріятеля.)

---

Случалось-ли вамъ когда-нибудь пировать, или, какъ говорятъ, „гулять“ на крестьянскихъ свадьбахъ? Вѣроятно, нѣтъ, а вотъ я, однажды, такъ „погулялъ“, что до сихъ поръ помню эту свадьбу, хотя и много лѣтъ прошло съ того времени. Дѣло это было осенью, на Михайловъ день. Осень была дождливая, грязная, но теплая, и вся дичь, какъ то: утки, дрофы, стрепета и проч. даже и не помышляли о своемъ переселеніи въ болѣе теплыя страны, находя, что пока и здѣсь хорошо. Я былъ тогда человѣкомъ совершенно свободнымъ; на службѣ не состоялъ, никакихъ „отношеній и рапортовъ“ не писалъ, кокарды не носилъ, и, по неимѣнію надъ собою какого-либо начальства, никого не боялся.

Все свое свободное время, котораго у меня хватило бы еще на полсотню подобныхъ мнѣ ничегонедѣлателей, я посвящалъ охотѣ и разнымъ предосудительнымъ (по мнѣнію, впрочемъ, меньшинства) развлеченіямъ. Я колотилъ все, что только мнѣ попадалось подъ руку. Колотилъ утокъ, куропатокъ, дрофъ, стрепетовъ и дичью этой уго-

щаль не только своихъ друзей и знакомыхъ, но даже крестьянскихъ бабъ и дѣвокъ. — „На, моль, красавица, бери, ѣшь, — только люби!“

Въ одну изъ такихъ-то охотничьихъ экскурсій, я совершенно случайно попалъ на свадьбу къ одному своему пріятелю, крестьянину села Обливнаго, Фотію Ивановичу, который только-что повѣнчалъ своего сына Мокія (или Мокашку, какъ его всѣ звали) съ крестьянской дѣвицей Маврой. Фотій Ивановичъ былъ мужикъ зажиточный, вліятельный; на молодую сноху свою не нарадовался, души въ ней не чаялъ и свадьбу справилъ такую, что буквально споилъ все село. Водки куплено было двѣ бочки, браги наварено вдоволь, были даже пиво и медъ, зато не было ни одного человѣка, который могъ бы похвастаться крѣпостью своихъ ногъ и способностью размышлять и говорить, какъ размышляютъ и говорятъ трезвые люди. Всѣ были словно въ туманѣ, ничего не понимали и ничего не видѣли! Мы безпрестанно пили водку, брагу, пиво... (я помню, у меня даже пальцы опухли отъ этой браги!) Ёли: курники, лапшенники, вареную и жареную баранину, студни, гусей, куръ, поросятъ съ кашей, поросятъ съ хрѣномъ; плясали, орали пѣсни, обогрѣвали постель молодымъ и били горшки! \*) Ёздили мы по роднымъ новобрачныхъ, на тройкахъ, съ колокольчиками, съ бубенчиками, и съ дугами, разукрашенными разноцвѣтными платками; разѣзжали большею частью не сидя, а стоя, обнявшись, съ гармониками, и оглашая воздухъ гиканьемъ и пѣснями. Тамъ тоже пили и

---

\*) Въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ существуетъ обычай, прежде чѣмъ класть на постель молодыхъ, на нее ложится кто-либо изъ родственниковъ (мужъ и жена), которые и обогрѣваютъ постель. — Битье горшковъ означаетъ цѣлому-дренность новобрачной.

*Асторъ.*

ѣли и нисколько не смущались, что во-врѣмя этихъ переѣздовъ насъ поролъ дождь, а лошади и колеса обдавали грязью! Спали мы въ повалку, кто гдѣ упалъ! Спали крѣпко, непробудно, а, проснувшись, опять принимались за старое! Самъ Фотій Ивановичъ, въ обыкновенное время чело-вѣкъ трезвый, и даже презиравшій пьянство, до-пился до того, что началъ пріударять за своей молодой снохой, и на первый же день свадьбы вечеромъ, поймавъ ее въ сѣняхъ, прижалъ въ уголь, обнялъ и принялся цѣловать! Допился и я до того, что чуть было и самъ не повѣнчался съ крестьянской дѣвкой Палагой (подругой Мавру-ры), да спасибо, дѣло обошлось безъ вѣнчанья! Пелагея или Палага дѣвка была разухабистая, задорная... лихо плясала, за словомъ въ карманъ не лазила и обладала такимъ голосомъ, что за-глушала имъ оранье пьяныхъ бабъ и мужиковъ. Съ Палагой этой мы такъ хорошо поладили, что, пользуясь всеобщимъ опьяненіемъ, а отчасти, и „простою нравовъ“, нисколько никого не стѣ-снялись и поступали такъ, какъ будто возлѣ насъ и не было никого. „Ну-ну!“ скажетъ, бывало, Мавруша (единственный трезвый чело-вѣкъ во всемъ нашемъ обществѣ), какъ-нибудь случайно взгля-нувъ на насъ, и только, бывало, головой пока-чаетъ.

Какъ возвратился я домой и кто именно доста-вилъ меня туда, — я не помню. Помню только, что, проснувшись ночью, я увидалъ себя лежав-шимъ на собственной своей кровати и въ соб-ственной комнатѣ, тускло освѣщенной лампой съ темнымъ абажуромъ, а возлѣ — дремавшаго на кре-слѣ земскаго фельдшера.

Недѣли двѣ я не могъ оправиться отъ этого пиршества, ходилъ какъ шальной; не могъ ни чи-тать, ни писать, а тѣмъ болѣе — соображать что-

либо; чувствовалъ какое-то всеобщее трясенье, вздыхалъ какъ-то въ три приема и только все лежалъ и стоналъ. Когда я всталъ, то былъ очень удивленъ, увидавъ въ окно, что снѣгъ успѣлъ уже покрыть всю землю, а по рѣкѣ потянулись обозы съ хлѣбомъ. Охотиться за зайцами я не люблю, во-первыхъ, потому, что холодно, а во-вторыхъ, и потому, что трудно ходить по сугробамъ, и волей-неволей про охоту надо было забыть, а съ ружьемъ — надолго распроститься. Только тутъ я вспомнилъ про ружье и насилу отыскалъ его. Но, Боже мой! въ какомъ оно было ужасномъ положеніи. Оно было покрыто ржавчиной, грязью и даже безъ одного курка!... Только тогда я вспомнилъ, что салютовалъ тройными зарядами подъемъ молодыхъ съ брачнаго ложа. Я тотчасъ же вычистилъ его, привелъ въ надлежащій видъ и отправился съ нимъ въ городъ, чтобы придѣлать курокъ. Всю зиму я просидѣлъ дома, какъ сурокъ въ своей норѣ, и никуда не выѣзжалъ. По той же самой причинѣ я не видѣлся и съ Фотіемъ Ивановичемъ.

За-то весной, какъ только показались первые вальдшнепы, охотничье сердце мое затрепетало, и я тотчасъ же отправился въ село Обливное, въ окрестностяхъ котораго были превосходныя вальдшнепныя мѣста, и, конечно, на все время охоты поселился у Фотія Ивановича. Старикъ ждалъ меня и успѣлъ уже приготовить для меня „горницу“, отдѣлявшуюся отъ избы большими сѣнями, въ которой я и расположился какъ дома. Это была просторная комната, безъ печки, раздѣленная досчатой перегородкой на двѣ половины, и съ окнами, выходившими и на улицу, и во дворъ. Въ переднемъ углу „горницы“ помѣщался рѣзной кіотъ съ иконами, вдоль стѣнъ тянулись широкія скамьи, а самыя стѣны, тщательно выстроганныя,

были увѣшаны портретами Царской фамиліи и выдающихся русскихъ генераловъ. Здѣсь я устроилъ себѣ нѣчто вродѣ гостиной, а за перегородкой у меня была спальня. Фотій былъ очень радъ моему пріѣзду. Тотчасъ же былъ поставленъ самоваръ, и за чаемъ мы невольно вспомнили про наши свадебныя похождения. Старикъ даже рукой махнулъ.

— Хворалъ, братецъ, вотъ какъ хворалъ, — проговорилъ онъ, — что чуть было не подохъ. За то съ той поры водки—ни, ни! И ты не пей! Ну ее къ лѣшему!—добавилъ онъ серьезно, сдвинувъ брови.

— Ну, а какъ молодые, какъ сноха? — спросилъ я.

— Вотъ какая бабенка выдалась!—вскрикнулъ Фотій, пріятно улыбнувшись, — что, кажись, такихъ и не найти!

И дѣйствительно, по всему было видно, что старикъ былъ очень доволенъ своей снохой. Онъ расхваливалъ ея характеръ, ея расторопность, ея умѣнье взяться за какое бы то ни было дѣло, и кончилъ тѣмъ, что даже сознался, что такая баба хошь-бы и не такому нерасторопному и вялому, какъ его Мокашка, а настоящему заправскому мужику и то бы подъ пару была! „Во всей формѣ баба!“—вскрикнулъ онъ, — „всѣмъ домогъ орудуетъ!“

Пришла Мавруша, принесла намъ молока, кренделей, меду, и я даже не узналъ ее—такъ она похорошѣла, пополнила за зиму. Это была теперь совсѣмъ смазливенькая бабенка, съ смугловатымъ цвѣтомъ лица, темнымъ румянцемъ, черными бровями, почти сросставшимися надъ переносицей, и такими же черными усиками надъ алымъ пухленькимъ ртомъ. Особенно же нарядно выдѣлялись на этомъ смугломъ лицѣ совсѣмъ свѣтло-голубые



глаза и бѣлые, какъ сахаръ, зубы. Я пригласилъ ее вмѣстѣ съ нами напиться чаю, и вечеръ прошелъ у насъ незамѣтно. Въ горницу раза два входила къ намъ жена Фотія Ивановыча, сморщенная, сгорбившаяся и забитая старуха лѣтъ шестидесяти, съ крошечными слезившимися глазами и ввалившимися губами, доставала что-то изъ сундука, помѣщавшагося за перегородкой, и уходила. Когда она вошла къ намъ во второй разъ, старикъ даже разсердился.

— Чего ты тутъ шатаешься-то! — прикрикнулъ онъ.

— Завтра къ обѣднѣ собираюсь, да вотъ чулки вынуть забыла, — прошамкала она, показывая пару шерстяныхъ чулокъ.

— Заразъ бы и брала чего нужно!

— Не приду больше.

И дѣйствительно, старуха больше не приходила.

Когда чай былъ допить и Фотій Ивановычъ зачѣмъ-то вышелъ изъ горницы, Мавруша проговорила, лукаво улыбаясь.

— А Палага-то совсѣмъ истосковалась по тебѣ.

— Ну ее къ чорту, — проговорилъ я.

— Что такъ? Аль разлюбилъ?..

— Съ пьяныхъ-то глазъ кого не полюбишь.

— А она такъ скучаетъ...

Вернулся Мокашка, зачѣмъ-то ѣздившій въ городъ, и Мавруша поспѣшно выбѣжала къ нему. Я видѣлъ въ окно, какъ она подбѣжала къ нему, бросилась ему на шею и начала цѣловать его, а потомъ принялась распрягать лошадь. За зиму значительно измѣнился и Мокашка. И безъ того уже хилый и болѣзненный, онъ теперь выглядѣлъ совсѣмъ уже мервымъ. Щеки его какъ-то ввалились, ротъ обтянулся, губы посинѣли, и изъ-подъ этихъ посинѣвшихъ губъ какъ-то неприятно выглядывалъ рядъ желтыхъ зубовъ. За то глаза

словно искрились огнемъ. Посмотрѣлъ онъ этими глазами на жену, суетившуюся вокругъ лошади, и только покачалъ головой. А съ крылечка слышался шамкающій голосъ слезливой старухи.

— Мокаша, а Мокаша! Иди, сынокъ, въ избу, я тебя молочкомъ тепленькимъ напою! Иди, родимый...

— Телокъ что-ли онъ, что ты его молокомъ-то отпаиваешь, — проворчалъ Фотій Ивановичъ, выходявшій въ это время на то-же крыльцо, и, сурово нахлобучивъ на глаза шапку, вышелъ со двора.

Въ тотъ-же вечеръ я улегся рано, спалъ какъ убитый, а утромъ, чуть только забѣлилась заря, я шелъ уже по направленію къ темнѣвшемуся неподалеко дубовому лѣсу, покрывавшему собою скать къ рѣкѣ. Лѣсъ былъ обращенъ на югъ и потому снѣгъ въ этомъ лѣсу таялъ быстрѣе и ранѣе, чѣмъ въ другихъ. Такъ случилось и въ описываемое время. Снѣгъ бѣлѣлъ только въ лощинахъ и оврагахъ, все же остальное полугоріе начинало уже просыхать и высыпка вальдшнеповъ была роскошная. Моя Леди стала чуть-ли не на самой опушкѣ, — поднялся вальдшнепъ, я вскинулъ ружье, выстрѣдилъ, и вальдшнепъ, размашисто повернувшись въ воздухъ, брякнулся на землю. Отъ перваго удачнаго выстрѣла зависитъ и остальная удача охоты. По крайней мѣрѣ я всегда испытывалъ это на себѣ. Стоило только „пропуделять“ по первой поднятой дичинѣ, какъ я уже пуделялъ самымъ отчаяннымъ образомъ въ теченіе всего дня, и на-оборотъ. Сразу убитый вальдшнепъ придалъ мнѣ самоувѣренности и въ какихъ-нибудь два-три часа я набилъ ихъ штукъ двадцать. Охота была вполне удачная, пролетъ оказался обильнымъ, и вальдшнепъ отлично держивалъ стойку. Исходивъ весь лѣсъ вдоль и поперекъ, я порѣшилъ перейти въ другой, сосѣд-

ній. Я свистнулъ собаку и, перекинувъ ружье черезъ плечо, вышелъ на опушку. Но только-что успѣлъ я выйти на перемычку, отдѣляющую первый лѣсъ отъ второго, какъ передъ мной словно изъ земли выросъ урядникъ. Онъ подскакалъ ко мнѣ и, приложивъ руку подъ козырекъ, проговорилъ:

— Господинъ, теперь стрѣлять не полагается...

Я попробоваль-было доказать ему, что по вальдшнепамъ охота не воспрещена, такъ какъ птица эта перелетная и здѣсь не выводится, потомъ пошелъ-было на подкупъ, но урядникъ былъ непоколебимъ. Это меня взорвало.

— Ну, а ежели я васъ не послушаю!. вскричалъ я.

— То-есть какъ же это такъ?—спросилъ урядникъ.

— Пойду себѣ въ этотъ лѣсъ и буду стрѣлять?

— Тогда я актъ составлю.

Я уже говорилъ вамъ, что въ то время я еще никого не боялся, и потому, объяснивъ уряднику, что пускай себѣ составляетъ какіе угодно акты, направился въ сосѣдній лѣсъ. Но увы! — возмущенный духомъ я пропуделялъ по первому же поднявшемуся вальдшнепу, пропуделялъ по второму, по третьему и, наконецъ, проклиная урядника, порѣшилъ вальдшнеповъ не пугать и отложить охоту до слѣдующаго дня. Такъ я и сдѣлалъ. Возвратясь домой, я встрѣтилъ на крылечкѣ Маврушу.

— А тутъ сейчасъ урядникъ былъ, — проговорила она, лукаво улыбаясь.

— Зачѣмъ?

— Спрашиваль: кто ты такой, какъ тебя зовутъ? Записаль все на бумажку и ускакалъ. Какую-то на тебя жалобу писать хочетъ.

— А ты бы попросила, чтобы не писалъ. Ты

такая хорошенькая, — прибавилъ я, обнимая ее за талию, — такая привлекательная, что онъ навѣрное бы исполнилъ твою просьбу...

— И то просила...

— И что же?

— Куда тебѣ!.. Нельзя, говорить, строго запрещено!

А вечеромъ, когда я пилъ чай, опять вошла Мавруша (она какъ-то постоянно лукаво улыбалась, а на этотъ разъ еще лукавѣе) и прошептала таинственно.

— А вѣдь Палага то пришла...

— Ну? — испугался я.

— Право слово!.. Ужъ ты ее попой чайкомъ-то...

— А старикъ-то не разсердится?

— Уѣдетъ онъ сегодня!.. не будетъ его! Да хоша-бъ и не уѣхалъ! Какое ему дѣло!..

— Онъ куда же ѣдетъ то?

— Въ городъ!.. Только завтра къ вечеру вернется...

— Ну ладно — зови... И сама приходи съ ней.

— Зачѣмъ?

— Вмѣстѣ чаю напьемся...

— Ну, живеть!..

И она быстро выбѣжала изъ комнаты.

Однако, позвольте познакомить васъ покороче съ Фотіемъ Ивановичемъ.

Это былъ старикъ высокаго роста, крѣпкаго сложенія, мускулистый, съ лицомъ серьезнымъ и необыкновенно крупными чертами лица. Большой, прямой носъ, большіе на выкатѣ глаза, густыя брови и большой ротъ съ толстыми губами. Лицо это, блѣдное и неподвижное, казалось высѣченнымъ изъ камня; даже сѣдая борода, волосы которой какъ-то скручивались локонами, — и та имѣла видъ каменной, словно борода Іоанна Грознаго на статуѣ Антокольскаго. Фотій Ивановичъ ста-

рикъ былъ угрюмый, разговаривалъ мало, а съ семьей не говорилъ даже ничего, — только ограничивался одними приказаніями. Водку пилъ, но умѣренно, и былъ того убѣжденія, что отъ водки доходъ казнѣ только кажущійся, — на самомъ же дѣлѣ — одинъ только убытокъ, ибо затемняетъ разумъ народа и разоряетъ его. Это былъ консерваторъ въ полномъ смыслѣ слова, никакихъ новшествъ не любилъ и безусловно вѣрилъ только однимъ старымъ порядкамъ. Къ земскому дѣлу относился съ какимъ-то пренебреженіемъ, и смотрѣлъ на него, какъ на учрежденіе придуманное только для того, чтобы „господамъ разныя должности раздавать! — Ужъ ежели мы къ своему собственному огороду не умѣемъ рукъ приложить, такъ ужъ куда намъ за такое большое дѣло браться!“ Не смотря, однако, на свое несочувствіе къ земскому дѣлу, онъ, будучи гласнымъ, все-таки не пропускалъ ни одного земскаго собранія. На собраніяхъ этихъ онъ уже былъ совершенно каменнымъ человѣкомъ: сидѣлъ молча, съ сдвинутыми бровями, неподвижно, и словно ничего не слышалъ и не видалъ. Но онъ все видѣлъ и все слышалъ и домой возвращался всегда больнымъ. — „Что это ты желтый какой, не здоровится, что ли?“ спросишь его бывало. — „Пожелтѣешь!“ ворчалъ онъ и вдругъ, размахнувъ какъ-то руками, вскрикивалъ: — „Вѣдь еще пятнадцать тысячъ нахлестнули! Препжнихъ недоимокъ не выколотили, скотину изъ-за нихъ продаютъ... у одного мужичка даже квашню съ тѣстомъ описали и продали, а они еще пятнадцать накинули!“ По поводу этихъ „накидокъ“ и „нахлестокъ“ онъ какъ-то рассказалъ слѣдующее: — „былъ, братецъ, у насъ здѣсь баринъ, при крѣпостномъ правѣ еще! Баринъ былъ крутой, строгій и мужиковъ своихъ поролъ, какъ нельзя

чище. Чуть, бывало, мужикъ свой загонъ скверно вспахаль—онъ его пороть! Пьянымъ увидить—пороть! Въ церковь не придетъ—пороть! Не было у него ни больницъ, ни школъ, ни этихъ аптекъ добрыхъ, а народъ у него изо всѣхъ отличался: крѣпкій былъ, краснощекій, ходилъ чисто, жилъ богато, въ хорошихъ избахъ и много скота водилъ. Померъ старый баринъ и пріѣхаль молодой! Молодой, точно, говоритъ нечего, баринъ былъ добрый и, какъ видно, ученый. Настроилъ онъ больницъ, школъ, аптекарей разныхъ привезъ; по мужичьимъ избамъ сталъ ходить, и чего только мужикъ у него не попросить, — онъ сейчасъ же давалъ ему. Раздавалъ лѣсъ, раздавалъ хлѣбъ, скотину и даже деньгами не отказывалъ. И что же? Не прошло 15—20 лѣтъ, какъ баринъ разорилъ и себя и мужиковъ. И у него не осталось ничего, да и мужики-то до сихъ поръ поправиться не могутъ! А какая тому причина? Причина тому—безтолковщина! И съ карманомъ то своимъ онъ не соображался, да и мужичьихъ нуждъ не зналъ! Такъ-то и мы на своихъ собраніяхъ! Мы и думать позабыли, что у насъ карманы пусты, что въ одномъ карманѣ — вошь на арканѣ, а въ другомъ—блоха на цѣпи, а все каваемъ цѣлыми тысячами! А того не сообразимъ, что ради всѣхъ этихъ затѣвъ мы всѣ задолжали и разорились! Вотъ теперича, говорилъ онъ, зачали мужикамъ хлѣбъ раздавать на сѣмена!.. Глядѣтъ—оно будто и хорошо! Почему бѣдному человѣку не помочь! А на дѣлѣ-то выходитъ куда какъ скверно! Ты думаешь, что помогаешь ему, а на самомъ-то дѣлѣ только балуешь, какъ тотъ молодой баринъ, о которомъ я тебѣ рассказывалъ!.. Вѣдь мы таперича такъ набаловали мужика, что онъ о сѣменахъ и думать пересталъ! Все до послѣдняго зерна изъ амбара выцарапа-

еть да на базаръ и свезеть! Ты думаешь деньги то онъ на дѣло повернулъ, а онъ ихъ — въ кабакъ. — „Какъ же это ты на сѣмена то себѣ ничего не оставилъ?“ спросишь его; а онъ въ отвѣтъ: — „дадутъ!“ и пошелъ себѣ, словно какъ дѣло сказалъ! Плюнешь ему вслѣдъ-то, только и всего!“

Къ земскимъ дѣятелямъ, а въ особенности къ врачамъ, онъ тоже относился враждебно. — „Видѣлъ ли ты, братецъ, говорилъ онъ, грачей да галокъ въ ту пору, когда мужикъ хлѣбъ сѣеть? Идетъ это мужикъ по загопу съ кошолкой и бросаетъ сѣмена на землю; позадь его, словно саранча, грачи да галки... То же самое и наши слуги. Всѣ-то они грачи, да галки, а ужъ эти ваши лѣкаря добрые... Я, братецъ, ихъ всѣхъ знаю, со всѣми знакомъ и всѣ у меня въ гостяхъ бывали. Насъ, мужиковъ, лѣчутъ они какъ Господь на душу пошлетъ, лишь бы только порядокъ отвести, да какъ можно больше приходящихъ больныхъ въ свою книжечку записать, да потомъ на собраніяхъ передъ гласными похвастаться: — „Вотъ, молъ, я сколько народу перелѣчилъ!“ Лѣчутъ они насъ на скорую руку: ста полтора въ часъ вылѣчить и все кричить: „Скорѣй, скорѣй подходи, скорѣй!“ А коли замѣшкался кто, такъ и обругаетъ еще! И вотъ, братецъ, посмотрю я на этпхъ самыхъ лѣкарей, когда они на земскомъ собраніи свои доклады читаютъ. Господи Ты Боже мой, и не узнаешь его! И голосъ-то перемѣнить, и ласковый такой сдѣлается, мужикамъ всѣмъ руки пожимаетъ и за мужиковъ горой стоитъ. И больницы-то нужны, и аптеки-то... докторовъ бы прибавить вмѣсто фельдшеровъ... И все на мужичковъ таково-то ласково смотреть, а на самомъ-то дѣлѣ только о своемъ брюхѣ хлопочетъ, какъ бы ему нажрать-

ся посытитѣ! И точно. Глядишь, къ концу-то собранія либо награду себѣ охлопочеть, либо жалованья накинуть!“ — Точно также враждебно отнесся онъ къ школьному дѣлу. — „Учатъ, учать, говорилъ онъ, а ни одного путнаго грамотѣя нѣтъ, а коли выучился царапать кое-какъ, сейчасъ мужичье дѣло бросаетъ, на легкія работы идетъ, а то либо трактиръ, либо кабакъ откроетъ! Прежде, бывало, народъ-то псалтыри читалъ, житія святыхъ угодниковъ Божіихъ, и хорошо было послушать его, а теперь какія-то побасенки... Ты, братецъ, погляди-ка, кто теперь въ храмъ-ать Божій ходитъ. Старики да старухи! А коли въ какой-нибудь праздникъ большой, на Пасху, къ примѣру, или на Троицу, и соберется народъ, такъ только грѣхъ одинъ! Въ храмѣ-то служба идетъ, а въ оградѣ-то въ орлянку играютъ, да чуть не хороводы водятъ!“ Пыталъ было я вступать съ Фотіемъ Иванычемъ въ споры, но всѣ мои попытки оказались тщетными. Онъ ничего слушать не хотѣлъ и крѣпко стоялъ за свои вѣрованія. А когда я какъ-то, заговоривъ однажды о расколѣ, приписалъ таковой единственно только безграмотному толкованію священныхъ книгъ (разговоръ этотъ зашелъ по поводу необходимости школъ), то Фотій Иванычъ даже съ мѣста привскочилъ! — „Какъ бы не такъ, вскричалъ онъ, дождайся... Вы вотъ, господа-то и грамотный народъ, и учились много, должны бы, кажись, понимать священныя-то книги, а изъ васъ рѣдкій кто въ Бога-то вѣруетъ! Вотъ что, милый баринъ!“

Человѣкъ это былъ очень набожный. Почти каждое воскресенье ходилъ въ церковь, становился тамъ на правый клиросъ и подтягивалъ дьячкамъ. Грамоты онъ не зналъ, но зналъ наизусть не только много молитвъ, а даже и обычное богослуженіе. Каждый праздникъ въ его домѣ



служилось молебствіе, и сельскій „батюшка“ былъ его любимымъ гостемъ. Говѣлъ онъ въ годъ два раза и неперемѣнно на первой недѣлѣ великаго поста, и на послѣдней—въ „Петровки“. Нѣсколько лѣтъ онъ сряду былъ старшиной, но и въ этой своей служебной дѣятельности оставался тѣмъ же консерваторомъ, какимъ былъ и въ семьѣ, и въ земствѣ. Старшина онъ былъ строгій, суровый, взыскательный и никакихъ недоимокъ у него по волости не существовало. Разсказанное имъ про квашню съ тѣстомъ было сдѣлано никѣмъ инымъ, какъ имъ же самимъ. Пьянство онъ преслѣдовалъ жестоко и во время его управленія волостью ни въ одномъ селеніи у него кабаковъ не было. Онъ даже уничтожилъ въ своей волости только-что было открывшуюся ссудную кассу. — „Не надо ее! говорилъ онъ, и господа-то разорились отъ самыхъ отъ этихъ банковъ, такъ и насъ разорить хотять,—не надо!“ И прикрылъ. Всѣхъ подчиненныхъ ему властей онъ держалъ въ рукахъ и даже вмѣшивался въ дѣла волостного суда. За исправные сборы податей онъ былъ награжденъ медалью, становой велъ съ нимъ дружбу, исправникъ благоволилъ къ нему и самъ губернаторъ зналъ его лично. Однажды, послѣ ревизіи, губернаторъ при полномъ волостномъ сходѣ даже пожалъ ему руку и благодарилъ за порядокъ. „Благодарю васъ, Фотій Ивановичъ, проговорилъ онъ, очень благодарю!“ И потомъ пилъ у него въ домѣ чай и позавтракалъ. Изба и вообще все надворное строеніе Фотія Ивановича рѣзко отличалось отъ остальныхъ построекъ села Обливнаго. Изба, раздѣленная большими сѣнями на двѣ половины, была срублена изъ толстыхъ бревенъ и покрыта желѣзомъ, а надворное строеніе—тесомъ. Въ одной половинѣ помѣщалась семья Фотія Ивановича, а въ другой, съ которой я уже успѣлъ познакомить

читателя, была „чистая горница“. Да не подумаетъ, однако, читатель, чтобы все это было нажито Фотіемъ Ивановичемъ нечестнымъ путемъ! Нѣтъ, будучи старшиной, Фотійъ Иванычъ взятокъ не бралъ, водкой никогда не торговалъ и денегъ подь проценты никому не давалъ. Все свое добро, — а добра у него было много, — онъ нажилъ собственнымъ своимъ трудомъ и умѣніемъ распорядиться тѣмъ, что имѣлъ. Благодаря этому умѣнію, у него былъ свой пчельникъ, своя вѣтряная мельница съ крупорушкой и даже свой собственный участокъ земли, десятинъ въ пятьдесятъ, купленный имъ у какой-то старушки помѣщицы.

Семья у Фотія Иваныча была довольно многочисленная, но семья эта почему то съ нимъ не жила. У него было, кромѣ знакомаго намъ Мокашки, еще три сына, но всѣ они, поженившись, оставили отца и разѣхались по разнымъ сторонамъ. Въ описываемое время при немъ состоялъ только одинъ Мокашка съ своей Маврушей, да старуха жена. Почему именно покинули дѣти своего отца — я не допытывался и обстоятельство это приписывалъ единственно деспотизму старика, невысказанному въ настоящее время даже и въ крестьянской семьѣ. Мокашку я зналъ мальчуганомъ лѣтъ десяти. Онъ часто сопровождалъ меня на охоту, лазилъ по болотамъ и камышамъ, выпугивалъ мнѣ утокъ, таскалъ ягдтажъ съ дичью, разводилъ костры и варилъ кашу, иногда же, когда мнѣ требовались лошади, садился на облучекъ телѣжки (или „тарантаса“, какъ называлъ эту телѣжку Фотійъ Иванычъ) и разѣзжалъ со мной въ качествѣ кучера. Мальчуганъ это былъ некрасивый, рябой и вообще какой-то хилой и разслабленный. — „Отъ этого проку не будетъ, говаривалъ Фотійъ Иванычъ, посматривая на Мокашку: хлѣба не добудеть!“ И немощь сына онъ приписывалъ единствен-

но только престарѣлому возрасту своей жены. „Отъ гнилой яблони, говорилъ онъ, хорошихъ яблоковъ не жди!“ Про свою же собственную старость не упоминалъ, ибо дѣйствительно, отличался и силой, и крѣпостью, и здоровьемъ. Это былъ словно старый дубъ, крѣпко засѣвшій корнями въ землю и гордо смотрѣвшій на грозы и бури, пролетавшія надъ его вершиной.

Но возвратимся къ разсказу.

Мавруша привела Палагу, и я опять чуть не свихнулся съ нею. Сперва все шло у насъ чинно и скромно! На столѣ кипѣлъ самоваръ, мы честь-честью нили чай и вели самую скромную бесѣду. Пришелъ даже Фотій Иванычъ, выпилъ съ нами тоже чайку, а потомъ объявилъ, что онъ сейчасъ ѣдетъ въ городъ и потому не будетъ ли отъ меня какихъ-либо порученій. Я поблагодарилъ старика и сказалъ, что никакихъ порученій нѣтъ, и онъ, пожелавъ намъ „веселой компаніи“, вышелъ. Когда онъ уѣхалъ, мы стали размышлять объ ужинѣ. Мавруша вызвалась изготавить яичницу, а я—изжарить въ паровой кастрюлѣ нѣсколько вальдшнеповъ.

— А я за водочкой смахаю!—вскрикнула Палага!

Я сталъ было отнѣкиваться отъ водки, но Палага объявила, что безъ водки „никакъ невозможно!“

— Полбутылки развѣ,— замѣтилъ я нерѣшительно.

— Что-жъ, и полбутылки довольно съ насъ,— проговорила она:—давай деньги!

Я далъ ей двугривенный; она набросила на голову платокъ, на плечи—зипунъ и, отворивъ дверь плечомъ, быстро выбѣжала вонъ.

Однако, когда полбутылка была выпита, потянуло на другую.

— Извѣстно!—говорила Палага,— чего намъ на

троихъ-то! Давай еще 40 коп.—я сбѣгаю, бутылку принесу...

Мавруша заспорила, начала доказывать, что до кабака далеко, что, пока она бѣгаетъ, яичница замерзнетъ; но Палага перебила ее:

— А я тутъ у бабушки, у Петровны возьму... Только и всего... Она продаетъ тихонько-то!

— Хорошо какъ продаетъ!—замѣтила Мавруша.

— Ну! чего тамъ не продать-то! Тѣмъ и кормится... Только у нея 50 коп. бутылка-то!—прибавила она.

И, взявъ отъ меня деньги, захватила съ собой „посудку“ и побѣжала въ шинокъ.

— Проворъ дѣвка!—замѣтила Мавруша.

Минуть черезъ пять бутылка стояла уже на столѣ, и мы принялись за яичницу. Пришелъ Мокашка и, молча усѣвшись на скамью, принялся смотрѣть въ окно на дворъ.

— Водочки не хочешь-ли?—спросилъ я его.

— И впрямь,—подхватила Мавруша, наливая, рюмку; выпей-ка, Мокаша... можетъ и повеселѣешь!..

И она протянула налитую рюмку; но Мокашка только головой покачалъ и снова уткнулся въ окно.

— Не хочешь? Ну, какъ знаешь!—говорила Мавруша и, засмѣявшись, прибавила,—такъ я за тебя выпью.

И она выпила.

По примѣру Мавруши, выпили и мы съ Палагой и даже чокнулись.

— Ну,—говорила она, — со свиданьемъ!—и кивнула головой.

— Съ приятнымъ!—прибавилъ я и то же кивнулъ.

— Чтобы весело было!—подхватила она, все еще держа рюмку и продолжая кивать головой.

И мы, еще разъ чокнувшись, опрокинули рюмки.

Мы принялись за яичницу. Палага улетала за обѣ щеки и при этомъ съѣла два громадныхъ ломтя чернаго хлѣба. Не забыли мы, конечно, и про бутылку и чуть не каждую ложку съѣденной яичницы запивали водкой. Веселье наше возростало, и только одинъ Мокашка, все еще продолжавшій молча смотрѣть въ окно, нѣсколько отравляя это веселье.

— Да что ты все молчишь-то?—спросилъ я его наконецъ.

А онъ вмѣсто отвѣта обратился къ женѣ и какъ-то раздражительно проворчалъ:

— Ты чего это съ этихъ-то поръ постель свою въ клѣть перетащила?

— Захотѣла и перетащила!—отвѣтила та.

— Въ такую-то стыдь!..

— Замерзнуть, что ли, боишься?

— Знамо, что „стыдно“... \*) не лѣто...

— А стыдно—такъ на печь полѣзай.

И тотчасъ же прибавила:

— Мнѣ ужъ надоѣло въ духотѣ-то блохъ кормить...

Мокашка метнулъ на жену какимъ-то сверкающимъ взглядомъ и затѣмъ молча вышелъ изъ комнаты. Взглядъ этотъ мнѣ ужасно не понравился, но я вскорѣ позабылъ о немъ.

Покончивъ съ яичницей, мы принялись за вальдшнеповъ. Но вальдшнепы Палагѣ не понравились. Она вытащила одного за носъ изъ кастрюли (конечно, руками) и расхохоталась.

— Да тутъ и ѣсть-то нечего!—вскрикнула она.

— Да ты попробуй!—уговаривалъ я.

Но она даже и пробовать не хотѣла.

— Кабы поросятина, или курятина,—проговорила она,—ну, точно, тамъ есть надъ чѣмъ похлопо-

\*) Стыдь—холодь. Стыдно—холодно.

тать, а изъ-за этакой-то дряни и рукъ марать не стоитъ!

И она брезгливо швырнула вальдшнепа обратно въ кастрюлю...

Но только что она успѣла сдѣлать это, какъ дверь отворилась и въ комнату вошелъ въ сопровожденіи какихъ-то двухъ крестьянъ знакомый намъ урядникъ. Палага чуть-было подъ столъ не запряталась при видѣ его, но не успѣла и замерла на мѣстѣ. Войдя въ комнату, онъ вѣжливо раскланялся и проговорилъ, обращаясь ко мнѣ:

— Извините, господинъ, что нарушаю вашу компанію, но я явился по дѣламъ службы...

И, подойдя къ столу, онъ взялъ бутылку, въ которой оставалось еще рюмки двѣ водки и, злобно посматривая на поблѣднѣвшую отъ страха Палагу, спросилъ:

— Вы, барышня, гдѣ брали эту водку?

— Убабушки, у Петровны!—буркнула та съ испугу.

— Деньги заплатили?

— Знамо заплатила, ништо безъ денегъ продають!..

Урядникъ повернулся къ сопровождавшимъ его крестьянамъ.

— Прислушайте, господа свидѣтели,—проговорилъ онъ,—деньги заплатила...

Потомъ онъ вынулъ изъ кармана сургучъ и печать, зажегъ спичку и, опечатавъ бутылку, сунулъ ее къ себѣ въ карманъ. Затѣмъ подошелъ къ столу, вытащилъ вилкой одного вальдшнепа изъ кастрюли и, завернувъ его въ бумагу, взялъ съ собой.

— А теперь,—прибавилъ онъ, обращаясь ко мнѣ,—вторично прошу извинить меня!.. Приятнаго аппетита!

И, раскланявшись, вышелъ изъ комнаты вмѣстѣ съ свидѣтелями.

Все это было дѣломъ трехъ, четырехъ минутъ, и я опомнился тогда только, когда урядника уже не было. Только тогда сообразилъ я, какой тяжелой отвѣтственности подвергли мы „бабушку Петровну“, какъ видно, торговавшую виномъ безъ надлежащаго патента. Не менѣе меня были поражены и мои собесѣдницы. Онѣ о чемъ-то очень долго перешоптывались, но о чемъ именно—я не слыхалъ.

— Теперь чего же намъ за это будетъ?— испуганно спросила Палага.

Я рассказалъ имъ послѣдствія, и обѣ онѣ ужаснулись.

— Да за что же это!—вскрикнули онѣ,—вѣдь она этимъ только и кормится: старая разстарая, работать не можетъ... И продаетъ-то какихъ-нибудь пять-шесть ведеръ въ годъ!..

— Взяла бы патентъ...

— Ну, а мнѣ что будетъ?—спросила Палага, тебѣ меня за рукавъ;—слышь-ка ты... мнѣ, моль, чего?

— Тебѣ ничего не будетъ,—проговорилъ я,—ты свидѣтельница.

— Отлупятъ тебя нагайкой,—вскрикнула Мавруша, покатываясь со смѣху,—и будетъ съ тебя!

Приходъ урядника, конечно, отравилъ наше веселье, тѣмъ не менѣе, однако, мы кончили ужинъ, и мои собесѣдницы стали собираться домой.

— Ну, спасибо за хлѣбъ, за соль,—говорили онѣ, кивая головами и подавая мнѣ руки, причемъ Палага такъ стиснула мою, что даже кости захрустѣли.

— Больно!—вскрикнулъ я.

— Любя!—подхватила она.

Мавруша вышла прежде, она пошла спать въ клѣтъ. Мы видѣли, какъ она побѣжала дворомъ,

какъ вошла въ клѣтъ и слышали какъ, хлопнувъ дверью, заперла ее изнутри засовомъ. Ночь была свѣтлая, лунная, и я пошолъ проводить Палагу. Мы вышли на церковную площадь. Каменная выбѣленная церковь, окруженная рѣшоткой и облитая луннымъ свѣтомъ, казалась высѣченною изъ бѣлаго мрамора, также какъ и лѣпившаяся возлѣ нея небольшая сторожка, крытая желѣзомъ. Деревья, которыми была обсажена церковь, не успѣли еще распуститься и имѣли тощій и жалкій видъ. На этой же площади, въ нѣкоторомъ разстояннн отъ церкви, возвышался общественный магазинъ съ крытымъ тесовымъ крыльчкомъ. Я предложилъ Палагѣ присѣсть на это крылечко. Мнѣ хотѣлось поразвѣдать отъ нея про житье-бытье Мавруши и Мокашки: мнѣ все казалось, что живутъ они не ладно.

— Скажи ты мнѣ, на милость, — проговорилъ я, когда мы, обнявшись (это она обняла меня и даже прикрыла полой своего зипуна, а не я), — скажи ты мнѣ: Мавруша любитъ своего мужа или нѣтъ?

— А что?

— Да такъ, задается мнѣ, что она его не любитъ.

— Такъ ништо можно любить такого мужа. Морда-то видѣлъ какая! Хоть воблу объ нее око-лачивай! \*)

— Зачѣмъ же она замужъ выходила?

— А затѣмъ и выходила, что ѣсть нечего было...

И нѣжно потрепавъ меня по щекѣ, она прибавила:

---

\*) Прежде чѣмъ употреблять воблу въ пищу, ее око-лачиваютъ обо что-нибудь жесткое, чтобы свободнѣе сдиралась съ нея шкура.



— Будь-ка ты такой, какъ Мокашка, и я-бы на тебя плевать хотѣла!

Это меня нѣсколько покорило. Но такъ какъ въ мысляхъ у меня было одно только желаніе— покорооче познакомиться съ отношеніями Мавруши и Мокашки, а не преклоненіе передъ изяществомъ русской деревенской красавицы, то я и не обратилъ особеннаго вниманія на сдѣланную мнѣ любезность.

— Какъ же это такъ?—спросилъ я, отстраняя отъ щеки руку Палаги. — Она мужа не любитъ, а старикъ Фотій Ивановичъ не нахвалится своей снохой?

— Значить, мила, по душѣ пришлась!—проговорила Палага и даже захохотала.

Я поспѣшилъ зажать ей ротъ рукой.

— Что ты это, съ ума, что ли, сошла!—проговорилъ я:—насъ могутъ услышать.

— Небось... никто не услышитъ, спать всѣ...

И тотчасъ же прибавила:

— Сказать тебѣ, кто не спитъ объ эту пору?

— Кто?

— А вотъ такіе же, какъ мы съ тобой!.. Тоже, поди, гдѣ-нибудь на гумнахъ парочками сидятъ!

И вдругъ, крѣпко прижавъ меня къ себѣ и прильнувъ губами къ моей щекѣ, прошептала:

— Эхъ, ты, окаянный! Хошь сейчасъ за щеку укушу?

— Постой,—перебилъ я ее.

— За постой-то деньги платятъ!—сострила она, и вслѣдъ за тѣмъ, мощно охвативъ меня обѣими руками, принялась цѣловать.

— Пусти,—чуть не вскрикнулъ я.

— Не пущу, до смерти зацѣлую.

Однако, до смерти не зацѣловала, и только шляпа слетѣла съ головы, которую я, впрочемъ,

тотчасъ же и поднялъ. Убѣдившись, что, сидя съ Палагой, разговаривать пельзя, я всталъ и пошелъ съ ней по улицѣ. Она опять обняла меня и опять прикрыла полой своего зипуна: „точь въ точь,—подумалъ я,—Кудряшъ съ Варварой въ „Грозъ“ Островскаго!“

— Такъ-то потеплѣ будетъ!—говорила она.

— Ты все не то толкуешь!—перебилъ я ее съ нѣкоторой даже досадой.

— Чего же тебѣ еще?

— Ты мнѣ вотъ что растолкуй...

— Ну, сказывай, растолкую.

— Какъ же это такъ? Фотій не нахвалится снохой, а сноха не любить сына?

— Такъ вѣдь я жъ тебѣ сказала!—вскрикнула Палага.—Оглохъ, что ли?

— Ты сказала только, что „по душѣ пришлась“, такъ вѣдь не можетъ же она придтись по душѣ...

— Эхъ ты, дуралей... Да ты что, маленький что ли?

— Ты врешь!—чуть не вскрикнулъ я, объятый ужасомъ.

— Деньги, что ли, ты мнѣ за вранье-то заплатилъ.

— Быть не можетъ!

— Поди-кась, важность какая... За то порядокъ-то какой въ домѣ пошелъ... Одного масла за зиму-то на сорокъ цѣлковыхъ продали... Право слово!.. Сама Мавруша сказывала!..—Знамо!..—гдѣ-же старухѣ съ этакимъ хозяйствомъ справиться?.. А сколько холста-то наткали!.. болѣе полста аршинъ!.. Сама напярла, сама соткала и мужу рубахъ нашила, и свекору: всѣхъ обула и одѣла! Тоже самое и вокругъ печки... Хоша, скажемъ, семья не велика, да вѣдь у него четверо работниковъ... Поди-ка накорми ихъ!.. Гдѣ-жъ тамъ старухѣ справляться!..

Палага болтала, а я шель и припоминалъ все мною слышанное и видѣное за это время. Вспомнилъ я, какъ во время свадьбы старикъ въ сѣняхъ обнималъ и цѣловалъ Маврушу; вспомнилъ тоскующій взглядъ загнанной матери, устремленный на сына, когда она собиралась попить его теплымъ молочкомъ; взглядъ, брошенный Мокашкой на жену послѣ разговора съ ней о перенесенной въ клѣтъ постели... И мнѣ стало яснымъ, почему именно бѣжали отъ отца старшіе сыновья его.

А Палага продолжала болтать:

— Старикъ, одначе, тaitся, — сообщала она мнѣ, — крѣпко тaitся... кое-кто, слышь, допрашивали его... „Не правда, говорить, брешутъ“. А вотъ намедни не спохватился и самъ себя выдалъ!.. Колоколь у насъ новый на колокольную подымали... Народу за канаты вцѣпилось видимо-невидимо... Шумъ подняли, крикъ... а колоколь хоть-бы съ мѣста тронулся: лежитъ себѣ на землѣ, — да и на поди!.. Былъ при этомъ Фотій Иванычъ, у сторожки стоялъ... Видить, что колоколь не двигается, взялъ да и ушелъ домой... А какъ только онъ ушелъ, такъ колоколь-то, ровно перушко, кверху полетѣлъ! Сколько хохоту надъ этимъ было — такъ это ужаси... Такъ и заржали всѣ!.. \*)

Только часу во второмъ возвратился я домой. Чтобы никого не тревожить своимъ возвращеніемъ, я осторожно взобрался на крылечко, еще осторожно отворилъ дверь и неслышно вошелъ въ темныя сѣни. Вдругъ изъ избы послышался какой-то грудной, задыхавшійся вопль. Узнавъ въ немъ голосъ Мокашки, я остановился и началъ прислушиваться.

---

\*) Существуетъ повѣрье, что, если при поднятіи колокола присутствуютъ „снохачи“, то колоколь не поднять.

— Мамынька,—раздавалось въ избѣ,—родная моя мамынька... моченьки моей нѣту... Вяжи мнѣ руки... Пожалѣй меня!..

— Что ты, что ты сынокъ,—шамкала испуганно старуха,—Господь съ тобой... Опомнись...

— Вяжи, родная, скорѣй вяжи!.. Вотъ тебѣ кушакъ... вяжи кушакомъ... Крути мнѣ руки...

— Опомнись, сынокъ... Хоть, меня-то пожалѣй... Кто меня безъ тебя накормить, напоить...

— Крути, мамынька, крути...

— Господи! и работниковъ-то на грѣхъ никого нѣтъ!—послышался голосъ старухи.

Я быстро подбѣжалъ къ двери и отворилъ ее.

Въ избѣ было темно, и только въ какомъ-то углу слышалась какая-то возня и чье-то торопливое задыхающееся дыханіе.

— Что тутъ такое?—спросилъ я.

Въ избѣ многовенно все стихло, а вслѣдъ затѣмъ раздался голосъ старухи.

— Ничего, батюшка, ничего... Это онъ во снѣ... въ бреду... — говорила она торопливо, — жаръ съ нимъ... Ну, вотъ и приснилось что-то... Ничего, родимый, ничего... пройдетъ...

Я зажегъ спичку.

Мокашка сидѣлъ на лавкѣ, прислонившись къ стѣнѣ, и въ опущенныхъ на колѣна рукахъ держалъ кушакъ. Лицо его было блѣдно, ротъ полураскрытъ, волосы на головѣ всклокочены, воротъ рубахи разстегнуть, а черные блестящіе глаза его смотрѣли на меня! Никогда, кажется, не забуду я этого взгляда, полного отчаянія и въ то же время злобы и негодованія. Это былъ взглядъ разъяреннаго тигра, готоваго броситься на свою жертву. Я зажегъ свѣчку и подаль Мокашкѣ ковшъ съ водой.

— Выпей!—проговорилъ я, поднеся ему ковшъ ко рту.

Онъ жадно началъ глотать холодную ледяную воду. Старуха сидѣла рядомъ, гладила его костью рукою по головѣ и въ то же время что-то шептала и крестилась. Когда Мокашка нѣсколько успокоился, она осторожно обняла его одною рукою и прошептала, глядя на него, умоляющимъ голосомъ.

— Ляжь, сынокъ... засни, родимый... Богъ дастъ, и пройдетъ все... ляжь, ляжь...

Мокашка молча всталъ и подошелъ къ кровати.

Но, взглянувъ на двойную кровать свою, сколоченную изъ досокъ, на которой одиноко валялась его подушка, онъ отвернулся и отошелъ въ противоположный уголъ.

— Здѣсь постели!.. — проговорилъ онъ чуть слышно и указывая на скамью. И когда мать торопливо постелила ему постель на избранномъ мѣстѣ, онъ немощно упалъ на подушку и вскорѣ уснулъ.

Я возвратился въ свою комнату и бросился на постель. Но я заснуть не могъ и тщетно силился разгадать: было-ли все видѣнное мною дѣйствительно бредомъ Мокашки, или же, наоборотъ, чѣмъ-то задуманнымъ не въ бреду, а въ полномъ сознаниі, но невыполненнымъ только потому, что Мокашкой овладѣлъ страхъ, отнявшій у него рѣшимость! Такъ провалялся я весь остатокъ ночи, а какъ только начало свѣтать, отправился на охоту.

Идя по улицѣ, я догналъ Маврушу и Палагу. Они шли рядомъ, о чемъ-то таинственно перешептываясь, и гнали овецъ на едва зазеленѣвшійся выгонъ. Увидавъ меня, онѣ засмѣялись и опять начали шептаться.

— Выспался?—спросила Мавруша, лукаво метнувъ на меня своими свѣтло-голубыми глазами.

— Выспался!—отвѣтилъ я и, обогнавъ ихъ,

завернулъ въ переулочъ и быстро прошелъ по дорогѣ, ведущей къ лѣсу.

Онѣ обѣ были противны мнѣ.

Охота моя началась удачно, но кончилась также плачевно, какъ и вчера. Урядникъ положительно преслѣдовалъ меня. Не успѣлъ я убить пять — шесть вальдшнеповъ, какъ онѣ опять словно изъ земли выросъ передо мной. Только на этотъ разъ онѣ были не одинъ, а въ сопровожденіи тѣхъ же свидѣтелей, съ которыми вчера приходилъ ко мнѣ по поводу купленной у „бабушки Петровны“ водки.

— Господинъ! — крикнулъ онѣ и на этотъ разъ довольно грубо, — вы опять стрѣляете?

— Опять! — крикнулъ я въ свою очередь.

— Извольте отпираться домой! — скомандовалъ онѣ, и, заскакавъ напередъ, преградилъ мнѣ лошадыю дорогу.

Я чуть было не выстрѣлилъ въ него, но тогда одумался, и ограничился тѣмъ, что обругалъ его такими словами, какими никогда еще не ругался.

— Прислушайте, господа свидѣтели, — повторилъ онѣ вчерашнюю фразу, обращаясь къ *господамъ* въ рваныхъ рубахахъ (я такъ былъ озлобленъ, что даже и эти *господа*, бессмысленно смотрѣвшіе на дѣйствія урядника и видимо ничего не сознававшіе, и тѣ бѣсили меня). — Прислушайте, какъ этотъ господинъ обругалъ меня!

И снова, обратясь ко мнѣ, спросилъ:

— Такъ вы, господинъ, не уйдете отсюда?

— Не уйду!

— И завтра стрѣлять будете?

— И завтра, — кричалъ я, — и послѣ завтра, словомъ, до тѣхъ поръ, пока перелетъ не кончится. Можете составлять себѣ акты... я васъ не боюсь...

И, круто повернувъ, я пошелъ себѣ въ лѣсъ, еще разъ обругавъ урядника.

— Будете отвѣчать! — кричалъ мнѣ вслѣдъ урядникъ.

Но я не слышалъ его, и какъ нарочно передъ самымъ его носомъ убилъ стараго вальдшнепа!

— Вотъ ошъ, смотрите, — кричалъ я, потрясая въ воздухѣ вальдшнепомъ.

— Ловко смазаль, — слышалось одобрение *господъ* свидѣтелей.

Но этимъ вальдшнепомъ и кончилась моя удача. Я опять началъ пуделять, пропуделялъ всѣ имѣвшіеся у меня патроны и, опять проклиная урядника, направился домой. Однако, назойливость этого блюстителя порядка (Богъ знаетъ, какихъ только не надавалъ я ему эпитетовъ!) начинала приводить меня въ смущеніе. — „Ежели это будетъ также повторяться каждый день, соображалъ я: — и завтра, и послѣ завтра, то это кончится тѣмъ, что весь вальдшнепный пролетъ я проведу въ однихъ только ругачкахъ съ урядникомъ и не убью ни одного вальдшнепа!“ И, соображая это, я мысленно порѣшилъ завтра же бросить это мѣсто и перебраться на противоположный берегъ рѣки, въ участокъ другого урядника, который, можетъ быть, будетъ „поделикатнѣе этого скота!“

Когда я возвратился домой, то засталъ у себя въ комнатѣ Фотія и Маврушу. Старикъ только-что возвратился изъ города и раскладывалъ на столѣ привезенные подарки. Тутъ были и ситецъ, и китайка, и плись, и бусы и даже шолковый головной платокъ, затканый золотыми букетами. Мавруша смотрѣла на все это восхищенными глазами. Она даже зарумянилась вся алымъ румянцемъ отъ охватившаго ее счастья, словно замерла вся и только ахала, всплескивая поминутно руками.

Приходъ мой нѣсколько смутилъ ихъ, но старикъ тотчасъ же оправился.

— Это я своей сношенькѣ въ гостинецъ привезъ,—говорилъ онъ,—за ея, значить, труды и заботы...

— Благодаримъ,—бормотала она, посматривая на меня не безъ смущенія. (Видно, Палага передала ей вчерашній нашъ разговоръ).

И, завернувъ подарки въ бумагу, отнесла ихъ не въ избу, а ко мнѣ за перегородку, гдѣ и сложила ихъ подъ мою кровать, а затѣмъ выбѣжала въ сѣни.

— Ну—что, какъ охота?—спрашивалъ меня тѣмъ временемъ Фотій Иванычъ, видимо, стараясь перемѣнить тему разговора.—Много настрѣлялъ?

Я рассказалъ ему все случившееся у меня съ урядникомъ, и старикъ расхохотался!

— А сказать тебѣ, за что онъ не любитъ тебя, урядникъ-то, сказать?

— Да я его не знаю совсѣмъ, въ первый разъ вижу... За что же онъ можетъ не любить меня?

— Ты-то не знаешь,—подхватилъ старикъ,—а онъ-то тебя знаетъ очень хорошо...

И, пригнувшись къ моему уху и оглядѣвъ кругомъ, онъ прошепталъ:

— Изъ за Палаги... Понялъ?

Къ Палагѣ я относился, такъ сказать, по-свински, ни малѣйшей любви къ ней не чувствовалъ, но тѣмъ не менѣе, какъ только старикъ уяснилъ мнѣ ея отношенія къ уряднику, такъ въ ту же секунду вспышка ревности чуть не задушила меня, и случись тутъ въ эту минуту Палага, я, кажется, подобно Отелло, задушилъ-бы ее на мѣстѣ. Но вѣдь Отелло любилъ свою Дездемону, а я Палагу—нисколько!

А старикъ между тѣмъ продолжалъ:

— Онъ въ тѣ цоры, опосля свадьбы-то, такъ-то



ей нагайкой полосоваль, что за мое почтение...  
Всю ей спину взбударажилъ...

Обстоятельство это еще болѣе меня побудило переѣхать въ другой участокъ и потому я обратился къ Фотію Иванычу съ просьбой дать мнѣ завтра утромъ лошадей, на которыхъ бы я могъ доѣхать до деревни Львовки.

Старикъ зачесалъ въ затылкѣ.

— Что, нельзя?—спросилъ я.

— То-то и горе-то, что сейчасъ я всѣхъ на участокъ посылаю... ленъ сѣять пора. Нарочно, изъ города ѣхамши, завернулъ на участокъ землю смотрѣть... хороша...

— Да ты мнѣ Мокашку дай, онъ меня и доведетъ...

— И Мокашку туда же отправлю...

И потомъ, вдругъ что то вспомнивъ, онъ прибавилъ:

— Да зачѣмъ тебѣ лошади? Чѣмъ на Львовку то кружить, ты рѣку-то на лодкѣ переѣзжай... рукой подать... Лѣсника Макара знаешь?

— Знаю.

— Знаешь его сторожку?

— Знаю и сторожку.

— Ну, вотъ къ нему и ступай, у него есть лодка, онъ тебя и перевезетъ... А то шутка-ли, прибавилъ онъ, махнувъ рукой,—на Львовку кружить! Покамѣсть ты до Львовки-то доѣдешь, ты ужъ двадцать разъ на мѣстѣ будешь...

Я принялся набивать патроны, и немного погодя, увидалъ въ окно Фотія Иваныча. Онъ стоялъ посреди двора, окруженный тремя дюжими батраками, среди которыхъ виднѣлся и хилый Мокашка. Фотій Иванычъ былъ въ бѣлой рубахѣ и съ обнаженной головой. Въ этой бѣлой рубахѣ, обрисовавшей мускулистыя его руки и плечи, онъ совершенно уже походилъ на каменнаго человѣка.

Лицо его было строго, брови сдвинуты, а большіе выпуклые глаза, устремленные въ землю, стояли неподвижно. Недалеко отъ крылечка и почти подъ самыми моими окнами Мавруша суетливо собирала обѣдъ для рабочихъ.

— Пообѣдаете, — говорилъ Фотій Иванычъ, — и ѣзжайте, земля прочахла... самое оленное время! Сбруя то въ исправности-ли? — спросилъ онъ, оглянувъ работниковъ.

— Въ исправности! — загадѣли тѣ.

— Сѣять подъ борону... да не кое-какъ!...

— Зачѣмъ!... надо какъ слѣдуетъ...

— Сѣмена здѣсь насыпете...

И, обратясь къ Маврушѣ, разрѣзавшей хлѣбъ на ломти, крикнулъ:

— Двѣ четверти сѣмя оленнаго отпустить!...

— Слушаю, батюшка! — отвѣтила та покорно.

— А хлѣбовъ напекла?

— Напекла, батюшка...

— На недѣлю-то хватить имъ?

— Пятнадцать хлѣбовъ, батюшка, — надо-бы хватить!...

— Пшена тоже отпустить... да сала!...

— Сколько пшена-то прикажете, батюшка?

— Не знаешь ништо, — крикнулъ онъ сурово, — сколько на четверыхъ-то въ недѣлю требуется!

Та только глаза опустила.

— Ну, а теперь, — проговорилъ онъ, увидавъ, что столъ былъ совсѣмъ готовъ, — садитесь и обѣдайте.

Всѣ начали креститься, усѣлись за столъ, а Фотій Иванычъ степенной поступью ушелъ въ избу. Мавруша принесла чашку со щами и, поставивъ ее на столъ, проговорила.

— Ну, кушайте на доброе здоровье!

Щи были съ соленой бараниной, жирныя, хорошія, и всѣ дружно принялись за нихъ. Только

одинъ Мокашка сидѣлъ и даже не дотронулся до ложки.

— Ты что же это, Мокашенька голубчикъ, не ѣшь-то? спросила его Мавруша и подѣла къ нему рядомъ.

Тотъ презрительно взглянулъ на жену и проговорилъ словно про себя:

— Это, значить, на цѣлую недѣлю изъ дома то вонъ!

— Въ недѣлю дай Богъ управиться!— замѣтилъ одинъ изъ батраковъ.

— Такъ!— протянулъ Мокашка и тотчасъ же прибавилъ: а тамъ горохъ пойдетъ, овесъ, просо... а тамъ пары пахать...

Работники захохотали.

— Знамо, всё лѣто и проживешь на участкѣ...

— Я тебѣ, Мокашенька, яичекъ накалила, лепешекъ напекла, --говорила Мавруша, ласково обнимая мужа, смотри не забудь про нихъ... кушай...

Но тотъ отстранилъ ея руку. Лицо его было совершенно зеленое, мертвое и только одни огненные черные глаза суетливо бѣгали съ одного предмета на другой...

За щами послѣдовала каша, обильно политая топленымъ бараньимъ саломъ. Но Мокашка и до каши не дотронулся. Слезливая старуха - мать, все время сидѣвшая на крылечкѣ и глазъ не сводившая съ сына, вошла въ избу и вскорѣ принесла ему горшокъ кислаго молока и кусокъ калача.

— Покушай-ка, сынокъ, — проговорила она.

Мокашка перекрестился и принялся за ѣду.

Наконецъ, обѣдъ кончился. Работники, помолвившись Богу, начали собираться въ путь-дорогу, а Мокашка все сидѣлъ за столомъ и ѣлъ молоко съ калачемъ. Вышелъ Фотій Иванычъ и, взглянувъ на сына, проговорилъ:

— Все еще не наѣлся!

— Онъ не ѣлъ ничего, Фотій Иванычъ, прошамкала старуха,—ужъ я молочка принесла ему.

— Отчего же ты не ѣлъ-то? Мужичье кушанье не нравится, что-ли? Господскаго захотѣлъ...

— Не здоровится ему, Фотій Иванычъ, промолвила старушка, утирая кулакомъ слезы.

И затѣмъ, робко взглянувъ на мужа, проговорила чуть слышно:

— Фотій Иванычъ, могу я вамъ слово промолвить?..

— Ну, говори..

— Дозвольте Мокашкѣ дома остаться... Онъ совсѣмъ боленъ... всю ночь глазъ не смыкалъ...

— Тамъ, на степи-то, скорѣй поправится... Воздухъ легкій, здоровый...

Старуха поникла головой.

— Все одно... гдѣ ни помирать!—замѣтилъ Мокашка и всталъ съ мѣста, сверкнувъ глазами на Маврушу, собиравшую со стола.—Что здѣсь умереть, что тамъ—цѣна одна!

— Это еще что за слова такія!—приерикнулъ на него старикъ.

— Двухъ смертей не бываетъ, а одной не миновать!—замѣтилъ Мокашка и направился къ конюшнѣ.

— Ты-бъ лобъ-то перекрестилъ сперва,—крикнулъ ему вслѣдъ старикъ.—Не помолясь изъ за стола вылѣзъ...

— Помолюсь когда-нибудь!—проворчалъ Мокашка и скрылся въ конюшнѣ.

— Басурманъ!—крикнулъ старикъ.

Часъ спустя экспедиція была готова. На дворѣ стояли три запреженныхъ телѣги. Одна была занята сѣменами, а на двухъ остальныхъ навалены сохи, бороны, и разный другой хламъ. Въ одну изъ этихъ телѣгъ засовывала Мавруша и мѣшокъ съ лепешками и яйцами.

— Вотъ, Мокаша,—говорила она мужу,—вотъ смотри... вотъ куда я кладу мѣшокъ... вотъ видишь... здѣсь онъ...

И затѣмъ бросилась въ избу и принесла тулупъ.

— А вотъ тулупъ, Мокашенька,—говорила она, засовывая тулупъ въ ту же телѣгу. А то, бываетъ, озябнешь ночью-то, такъ тулупъ-ать и пригодится... Тутъ же подъ тулупомъ и полость, Мокаша, и сапоги валеные... Видишь, вотъ... все тутъ: и мѣшочекъ, и тулупъ, и полость, и валенки...

Показался Фотій Ивановичъ, а слѣдомъ за нимъ и старуха.

— Ну, готово?—спросилъ старикъ.

— Сичасъ, сичасъ!—отозвался одинъ изъ рабочихъ.

Въ комнату ко мнѣ вошелъ Мокашка.

— Что ты?—спросилъ я его.

— Сапоги забылъ,—проговорилъ онъ и скрылся за перегородкой.

А тѣмъ временемъ на дворѣ старуха говорила мужу:

— Фотій Ивановичъ... дозволю мнѣ съ сыномъ на хуторъ ѣхать.

— Это зачѣмъ еще?

— Боленъ онъ, родимый мой, все-бы присмотрѣла за нимъ. Чуетъ мое сердце недоброе чтойто... Отпусти, кормилецъ ..

Старикъ подумалъ, помолчалъ и, наконецъ, отпустилъ старуху. Та даже въ ноги упала ему, сапогъ поцѣловала и тотчасъ-же бросилась собираться въ путь-дорогу. Сборы ея были очень коротки и она не замедлила возвратиться на дворъ повязанной большимъ теплымъ платкомъ и съ небольшимъ узелкомъ въ рукахъ.

Мокашка вышелъ изъ-за перегородки. Лицо его

какъ-то перекошилось, на глазахъ дрожали слезы, а въ рукахъ онъ держалъ свертокъ съ привезенными Фотіемъ подарками.

— Это ты своей Палагѣ купилъ, что-ли?—спросилъ онъ и лицо его еще пуще перекошилось.

Никогда, кажется, не забуду я этого ужаснаго лица.

— Да, Палагѣ!—поспѣшилъ я отвѣтить ему.

— А гдѣ покупалъ-то? — спросилъ онъ:— въ лѣсу, что-ли?

И, бросивъ на меня взглядъ, полный презрѣнія, (я чувствовалъ, что въ эту минуту онъ презираетъ меня, да и самъ-то я презираю себя за наглую ложь!) онъ отнесъ обратно свертокъ и, взявъ свои сапоги, быстро вышелъ на дворъ.

Увидавъ его, Мавруша бросилась ему на шею.

— Ну, прощай, Мокашенька, прощай...—говорила она, перерывая свою рѣчь поцѣлуями.— Не забудь, смотри, лепешки и яйца въ мѣшкѣ подъ тулупомъ... Прощай, родимый... выздоравливай, касатикъ...

— Ну, будетъ вамъ тамъ цѣловаться-то!—крикнулъ Фотій Иванычъ.— Уѣзжайте... до ночи дай Богъ добратся!—Увидавъ на телѣгѣ закутанную мать, Мокаша вскрикнулъ даже:

— И ты, родная, съ нами?!...

— Съ вами, сынокъ, съ вами...

— Ну, трогай, съ Богомъ... —скомандовалъ Фотій Иванычъ.

И обозъ тронулся. Мавруша поспѣшно отворила скрипучія ворота, и долго еще доносились съ улицы ея добрыя пожеланія, которыми она провожала мужа.

Наконецъ, ворота снова заскрипѣли, стукнулъ засовъ, и дворъ, доселѣ шумный и суетливый, замолкъ и опустѣлъ.

Мнѣ было невыносимо тяжело.

Вбѣжала Мавруша.

— Захлопоталась!—проговорила она,—а про подарки-то и забыла совсѣмъ!

И, взявъ свертокъ, выбѣжала съ нимъ изъ комнаты.

Когда наступили сумерки, кто-то осторожно скрипнулъ дверью. Я оглянулся и увидалъ Палагу.

— Чего носъ-то повѣсилъ!—проговорила она, улыбаясь.— Не приду думаль?

Я быстро вскочилъ съ мѣста и, подбѣжавъ къ ней, крѣпко вцѣпился ей въ горло!

— Ты такъ-то, —шипѣлъ я,—такъ-то!

— Что ты, ошалѣлъ, что-ли! —вскрикнула та, вытаращивъ на меня изумленные глаза; —пусти, задушишь!..

— Ты такъ-то!—продолжалъ я, потрясая ее за воротъ;—такъ-то... Съ урядникомъ живешь!..

Палага смутилась, но тотчасъ же оправилась.

— Какой это кобель набрехалъ тебѣ? И вовсе нѣтъ! И вовсе нѣтъ!—бормотала Палага, силясь оторвать мои, словно заковченѣвшія, руки:—и не правда, и не думала совсѣмъ!..

— А нагайкой-то кто лупилъ тебя?.. говори, кто?

— Когда это, когда?—кричала она.

— А послѣ свадьбы...

— И вовсе нѣтъ... и вовсе неправда... Никто не лупилъ!

— Зубы расшибу!—шипѣлъ я;—косы всѣ выдеру!..

Но вдругъ я почувствовалъ такой сильный толчекъ въ грудь, что даже отлетѣлъ въ противоположный уголъ. Это оттолкнула меня Палага. Почувствовавъ себя освобожденной, она въ свою очередь ухватила меня за грудь и тоже, потрясая, допрашивала:

— Говори, говори сейчасъ... кто набрехалъ,

кто? Ужъ не Маврушка-ли подлая... Ну, хорошо же... вотъ я ей сейчасъ задамъ! Она будетъ у меня помнить, подлюка... какъ честныхъ дѣвушекъ позорить...

И она бросилась было бѣжать къ двери, но я поймалъ ее за подолъ и удержалъ.

— Постой, постой... Не она, совсѣмъ не она!.. — кричалъ я.

— Врешь! говори правду...

Я побожился.

— Кто же, кто... сказывай!

Я даже не радъ былъ, что затѣялъ всю эту исторію; даже самъ проклиналъ себя, что не сумѣлъ воздержаться отъ этой глупой сцены ревности, и не зналъ, какъ вывернуться изъ бѣды. Объявить, что всѣ эти подробности я узналъ отъ Фотія Иваныча, было-бы слишкомъ ужъ рискованно, а потому я все свалилъ на самого себя.

— Никто! — крикнулъ я, — никто мнѣ про это не говорилъ, но я самъ догадался... самъ видѣлъ.

— Когда это ты самъ-то видѣлъ?

— Вчера.

— Ну, вотъ и неправда!..

— Зачѣмъ вчера подъ столъ-то спрятаться хотѣла, когда онъ вошелъ сюда? — спросилъ я, — зачѣмъ?

— Кто онъ?

— Урядникъ, вотъ кто...

Палага захохотала! И, словно убѣдившись, что я ровно ничего не знаю, выпустила меня изъ рукъ.

— Ахъ ты дурень, дурень! — вскрикнула она; — да вѣдь это я съ испугу! Понимаешь, съ испугу!.. Смекнула, что онъ насчетъ водки слѣдство наводитъ пришелъ, — ну, и хотѣла подъ столъ спрятаться... а ты вонъ что вздумалъ!..



И Палага принялась клясться и божиться, что не только съ урядникомъ, но даже съ другими, „которые почище его“, знакомства не водить.

— Намедни слѣдователь прїѣзжалъ,—говорила она,—тоже играть зачалъ, такъ я ему живо носъ-атъ утерла...

Я, конечно, плохо вѣрилъ всему этому, но тѣмъ не менѣе все-таки былъ отчасти удовлетворенъ ея клятвами, что она и съ урядникомъ знакомства не водить и слѣдователю „носъ утерла“. Я даже потомъ не прочь былъ усомниться въ справедливости всего сообщеннаго мнѣ Фотіемъ Иванычемъ про Палагу и приписать его болтливость одному только желанію замаять неприятное впечатлѣніе, произведенное сценою съ привезенными подарками. „Чортъ его знаетъ, думалъ я, можетъ быть, и въ самомъ дѣлѣ старикъ сбрехнулъ, можетъ быть и въ самомъ дѣлѣ она ничего общаго съ урядникомъ не имѣетъ!“ А когда я взглянулъ на Палагу и замѣтилъ разорванный мною воротъ рубахи и порванные нити бусъ, то мнѣ даже какъ-то стыдно стало и я поспѣшилъ дать ей три рубля. Палага долго, однако, не соглашалась брать ихъ—увѣряя, что рубаху зачинить левое дѣло, а что бусы сейчасъ же подберетъ, но все-таки взяла и завязала въ уголокъ платка.

— Ну, мерси васъ!—проговорила она и даже поцѣловала прямо въ губы.

Однако, голодъ давалъ себя знать и я задумалъ выпить чаю. Я послалъ Палагу разыскать Маврушу и попросить ее поставить мнѣ самоваръ.

— А кстати и се позови,—прибавилъ я,—вмѣстѣ опять и напьемся.

Палага пошла разыскивать Маврушу, но вскорѣ возвратилась съ извѣстіемъ, что Мавруша „что-то захворала и заперлась въ клѣти, а старика что-то нигдѣ не видно!..“

- Какъ же быть-то?—спросила я.  
— А что?  
— Чаю хочется...  
— Да у тебя чай-то съ сахаромъ есть, что-ли?  
— Конечно, есть...  
— Ну, а самоваръ я и сама согрѣю!—вскрикнула она и бросилась въ избу.

Я пошелъ за нею. Изба была совершенно пуста.

Палага живо отыскала самоваръ, угли; разыскала чайникъ, чашки, распорядилась словно у себя дома, и не прошло десяти минутъ, какъ мы съ нею опять уже были у себя и сидѣли за чайнымъ столомъ. Она сбросила съ головы платокъ, стащила съ плечъ коротенькую красную „карсетку“ \*) и, опершись локтями на столъ, смотрѣла на меня. Чортъ ее знаетъ, какъ она была красива въ эту минуту.

— А что,—вскрикнулъ я, воодушевленный ея красотой,—водочки не выпьемъ?

— А у тебя есть?

— То-то и горе, что нѣтъ...

— Эхъ ты, голова съ мозгомъ!—проговорила она.—Какъ же это ты такъ-то ѣздишь!.. Водку пьешь, а съ собой не берешь. Лѣтось тутъ какой-то баринъ охотился, тоже здѣсь останавливался... такъ у него цѣлый погребецъ былъ... И какихъ, какихъ только водокъ не было у него!..

Чувство ревности опять было зашевелилось во мнѣ, но Палага не дала мнѣ времени высказать его.

— Что-же, сбѣгать-что?—спросила она.

— Куда?

— Да за водкой-то?

— Гдѣ же ты ее возьмешь?

— Да опять тамъ же, у „бабушки“.

---

\*) Нѣчто въ родѣ кофточки съ таліей.

Я даже испугался, но Палага успокоила меня.  
— Не бойся, теперь ужъ я поумнѣ буду...—  
говорила она.—Я теперь огородами пойду... не-  
бось никто не увидить...

Какъ только она упомянула про огородъ, такъ чувство ревности опять закипѣло во мнѣ. Мнѣ тотчасъ же пришло въ голову, что урядникъ можетъ встрѣтить ее въ этихъ огородахъ и лишить меня ея общества. Но чувство это я все таки скрылъ отъ Палаги и вызвался идти съ нею подъ предлогомъ защитить ее, ежели она опять попадется въ руки ночного обхода.

Ни никакого обхода мы не встрѣтили и благополучно возвратились домой, принеся съ собой водки, воблы и цѣлую связку баранокъ.

Послѣ чаю (во время чая мы водку не пили) Палага разыскала гдѣ-то луку, квасу, состряпала что-то въ родѣ ботвиньи, и мы принялись ужинать... Водки, однако, не достало и мы, опять таки благополучно, сбѣгали къ „бабушкѣ“ за другой бутылкой... Но... но дальше я уже не помню ничего...

Помню только, что передъ разсвѣтомъ, когда чуть только забѣлѣлась заря, кто-то съ улицы торопливо стучалъ въ окно. Помнится мнѣ, что стукъ этотъ продолжался довольно долго, сначала осторожно, тихо, а потомъ все громче, помню, что я слышалъ его чуть-ли не съ самаго начала, но опомниться не могъ. Наконецъ, стукъ повторился, кто-то крикнулъ: „отоприте!“ Я вскочилъ со стула, на которомъ спалъ, положивъ голову на столъ, и подбѣжалъ къ окну.

— Кто тамъ? крикнулъ я.

— Я. Отоприте...

— Кто ты? спрашивалъ я, все еще не придя въ себя.

— Съ участка, работникъ... Несчастье тамъ у насъ...

— Какое?...

— Мокашка удавился...

Я вмигъ опомнился... куда и хмѣль дѣвался, куда и сонъ исчезъ...

— Быть не можетъ! вскрикнулъ я, — врешь ты все...

— Ну, вотъ еще!.. И сейчасъ на ветлѣ висить...

— Изъ за чего же?

— А кто-жь его знаетъ!..

— Какъ же мать-то?..

— Не усмотрѣла! Спали мы всѣ, а онъ на возжахъ и повѣсился...

Я отперъ дверь.

— А хозяинъ гдѣ? спросилъ работникъ.

— Не знаю... проговорилъ я и поспѣшилъ къ себѣ въ комнату.

Тамъ еще горѣла свѣча... На столѣ былъ полнѣйшій хаосъ... Стоялъ самоваръ, чашки, пустыя бутылки, рюмки, деревянная чашка съ недоѣденнымъ лукомъ... валялись кости отъ воблы... обгрызенныя баранки, корки чернаго хлѣба, просыпанная соль... Я заглянулъ за перегородку... На моей кровати, совсѣмъ одѣтая, спала Палага... Я принялся будить ее, но всѣ мои старанія оказались тщетными... Она только мычала что-то... и что-то ворчала...

— Вставай, — кричалъ я, толкая ее; — вставай, Мокашка повѣсился...

Но даже и эта страшная вѣсть не разбудила ее.

Вдругъ со двора послышался шумъ какой-то, раздались стоны, крики... Я подбѣжалъ къ окну... Мавруша лежала на землѣ внизъ лицомъ, и содрагаясь всѣмъ тѣломъ, оглашала воздухъ воплемъ... Старикъ, блѣдный, испуганный, со влохоченной бородой и растеряннымъ взоромъ, метался по двору, приказывая работнику скорѣе за-

прягать лошадь... На крикъ сбѣжались сосѣди... дворъ наполнялся народомъ и гамъ этой толпы потрясалъ собою воздухъ. Влетѣлъ на дворъ урядникъ и, узнавъ въ чемъ дѣло, ударилъ коня нагайкой и поскакалъ куда-то... Народъ окружилъ Маврушу... а та все еще лежала на землѣ внизъ лицомъ, и ее словно кто-то вскидывалъ отъ этой земли... волосы ея были растрепаны, искусанныя руки покрыты кровью, рукава рубахи перепачканы грязью. Наконецъ, телѣга была запряжена... Фотій Иванычъ вскочилъ въ нее, схватилъ дрожавшими руками возжи... Народъ поднялъ Маврушу, замертво взвалилъ ее въ телѣгу, и телѣга быстро покатила со двора...

Дворъ мигомъ опустѣлъ и во всемъ домѣ Фотія Иваныча остались только я, работникъ и ничего не слышавшая и спавшая крѣпкимъ сномъ Палага.

Я наскоро собралъ свои пожитки и бѣжалъ, именно бѣжалъ изъ этого дома разврата и горя...

Но... у каждого непременно есть и свое собственное горе! Оно было и у меня...

Не прошло и мѣсяца послѣ описаннаго, какъ я былъ уже вызванъ въ камеру мирового судьи и судимъ, во-первыхъ, за стрѣльбу дичи въ недозволенное закономъ время, а во вторыхъ, за оскорбленіе словами урядника. По первому дѣлу я былъ присужденъ къ денежному штрафу въ размѣрѣ 25 рублей, а по второму — къ аресту на одинъ мѣсяць. Въ это же засѣданіе разбиралось дѣло и „бабушки Петровны“ по обвиненію ея въ безпатентной торговлѣ виномъ. По этому дѣлу я вызывался въ качествѣ свидѣтеля, такъ же, какъ Палага и Мавруша. Обѣ онѣ были разодѣты въ красные сарафаны, зеленые передники и обѣ увѣшаны бусами; на Маврушѣ даже былъ тотъ самый платокъ, затканый золотыми букетами, который я видѣлъ въ числѣ подарковъ, привезен-

ныхъ ей Фотіемъ Иванычемъ. Когда я сидѣлъ съ ними въ свидѣтельской комнатѣ, Палага спросила меня:

— Никакъ тебя въ жигулевку?..

— Да,—отвѣтилъ я.

— За что же это?

Но я промолчалъ и обратился къ Маврушѣ.

— Ну, а ты какъ?..—спросилъ я ее;—схоронила Мокашку?

— Схоронила!—отвѣтила та.

И, вздохнувъ, принялась утирать концомъ фартука совершенно сухіе глаза свои.

— У свекра все еще живешь?

— Куда же мнѣ дѣваться-то, сиротѣ горькой... знаю, у него... мать померла...

— А свекровь жива?

— Свекровь-то жива... только ужъ совсѣмъ плоха стала... мотри, помретъ скоро...

Меня вызвали къ допросу.

Чѣмъ именно кончилось дѣло „бабушки Петровны“, я не знаю, такъ какъ по окончаніи своихъ показаній я оставилъ камеру и, долго не разсуждая, поѣхалъ въ городъ „отсидивать“ въ арестантской присужденный мѣсячный срокъ.

И отсидѣлъ...



*Дмитрий Павлович  
Свешниковъ.*

## БЕРЕНДѢВСКАЯ ГЕНЕРАЛЬ-МАЮРСКАЯ ШКОЛА.

(РАЗСКАЗЪ.)

Слушайте жь дѣти: въ каждомъ зернышкѣ тихо  
и смирно  
Спать невидимо малютка - зародышъ. Долго,  
долго  
Спать онъ, какъ въ люлькѣ, не ѣсть и не  
пѣть и не пикнетъ, доколѣ  
Въ рыхлую землю его не положить и въ ней  
не согрѣютъ.  
*Жуковский.*

Вздить по нашимъ проселкамъ въ темныя осеннія ночи такое наказаніе, какое трудно себѣ представить. На трактахъ шоссейныхъ и почтовыхъ все таки имѣются нѣкоторыя примѣты: утрамбованный каменный путь, верстовые и телеграфные столбы, иногда деревья даже, а на проселочныхъ—ровно ничего! Спустилась ночь, потухла тлѣвшая полоска зари, и мракъ, черный какъ земля, всецѣло поглощаетъ васъ, вашъ экипажъ, лошадей и возницу. Ничего не видно... Грязная изрытая дорога сливается съ грязною же изрытой пашней... Трудно отличить, гдѣ дорога и гдѣ пашня... Даже нельзя опредѣлить, гдѣ кончается

земля и гдѣ начинается небо, ибо небо становится столь-же чернымъ, какъ и земля.

Именно въ такую-то ночь возвращался я домой изъ уѣзднаго города.

Темнота была непроглядная. Моросиль мелкій дождь, даже и не моросиль, а просто стоялъ въ воздухъ въ видѣ тумана. Густыя облака покрывали небо... Ни единой звѣздочки... Сырой осенний вѣтеръ пронизывалъ до костей и заставлялъ поминутно вздрагивать... Тащились мы шагомъ, то соскакивая колесами въ глубокія колеи, то, съ опасностью опрокинуться, выползали изъ нихъ наружу... На колеса наворачивалась клейкая черноземная грязь и мѣшала имъ вертѣться... Приходилось слѣзать и руками освобождать колеса отъ этой грязи... Измученныя лошади едва передвигали ноги, а кругомъ мракъ нахмуренный, угрюмый... Определить, гдѣ именно ѣхали мы — по дорогѣ-ли, по пашнѣ-ли, тоже было дѣломъ невозможнымъ, и потому пришлось ѣхать наобумъ... Ни собачьяго лая, ни человѣчьяго голоса, ни звука колокола. Мракъ окружалъ со всѣхъ сторонъ и словно давилъ сверху... И жутко было, и тяжело, и холодно.

Выѣзжая изъ города, мы рассчитывали, что доѣдемъ до села Берендѣева засвѣтло, переночуемъ тамъ, а затѣмъ съ разсвѣтомъ отправимся дальше, но вышло иначе. Цѣлую недѣлю лившіе дожди до того растворили землю, что ѣхать рысью оказалось невозможнымъ и потому попасть засвѣтло въ село Берендѣево намъ не удалось. Такъ тащились мы часа четыре... Наконецъ, лошади выбились изъ силъ, начали поминутно останавливаться, тяжело дышали, съ какимъ-то отчаяніемъ металась изъ стороны въ сторону, а немного погодя остановились окончательно... Кучеръ принялся было полосовать ихъ кнутомъ, но не



счастливыя животныя издавали только протяжныя стоны, дергали телѣжку, а съ мѣста все-таки тронуться не могли.

- Шабашъ!—крикнулъ кучеръ въ отчаяніи.
- Что?—спросилъ я.
- Стали!.. Ночевать, значить...
- Да вѣдь мы окоченѣемъ...
- Это какъ есть...
- Нельзя-ли хоть пѣшкомъ добраться?
- Куда это?... грязь выше колѣна!
- А далеко до Берендѣева?
- Да кто-жъ его знаетъ!.. Вишь темъ какая!..
- Съ дороги-то мы все-таки не сбились?
- А шуть знаетъ! Какъ есть ничего не видно—словно въ землю зарылись!

Кучеръ что то проворчалъ, плюнулъ, обругался и, закрутивъ за что-то возжи, соскочилъ съ козелъ.

— Ну ты, растопырилась!—крикнулъ онъ на пристяжную, ткнувъ ее ногой, и шлепая по грязи пошелъ оглядывать мѣстность, чуть не къ самой землѣ наклоняя лицо. Меня даже досада взяла! Точно какъ онъ булавку искать принялся! Но досада эта длилась недолго, ибо кучеръ, сдѣлавъ два—три шага, скрылся во мракѣ. Становилось яснымъ, что осматривать даль было невозможно, а именно, приходилось разглядывать только то, что было подъ ногами. Кучеръ скрылся, а немного погода замерло и шлепанье его сапоговъ. Я остался одинъ. Попробовалъ было закурить сигару, но оказалось, что отсырѣвшія спички, какъ я ни чиркалъ ими объ сухое платье, оставляли на немъ однѣ только огненные полосы, а загорѣться не могли. Лошади фыркали, переминались съ ноги на ногу, отряхивались и гремѣли намокшей ременной сбруей; раза два которая-то изъ нихъ продолжительно вздохнула, и затѣмъ

опять все замолкло... Точно кругомъ все вымерло, и только я одинъ, да лошади оставались живыми среди этого обширнаго царства мрака и смерти. Порывы поднявшагося вѣтра носились какими-то рыдающими вереницами и улетали въ темную даль. Минуть двадцать простоялъ я такимъ образомъ; наконецъ обозлился и принялся звать кучера. Кричалъ я изо-всѣхъ силъ и вмѣстѣ съ тѣмъ слышалъ, что голосъ мой не уносился въ даль, а обрывался тутъ-же возлѣ телѣжки, подавляемый сыростью и туманомъ. Точно онъ въ какую-то стѣну попадалъ и тотчасъ падалъ на землю. Прошло еще минутъ десять и злоба моя смѣнилась опасеніемъ за кучера, а по мѣрѣ того, какъ увеличивалось это опасеніе, болѣзненно напрягались и нервы. Я принялся кричать съ какимъ-то отчаяніемъ и, немного погодя, какъ будто услыхалъ чей-то слабый, чуть слышный откликъ. Я крикнулъ еще разъ, насторожилъ слухъ, и снова чей-то голосъ отозвался мнѣ. Его услышали даже лошади, ибо тотчасъ-же притихли и тоже стали прислушиваться. Голосъ приближался, а вслѣдъ за тѣмъ донеслось какое-то шлепанье и скрипъ колесъ. Одна изъ лошадей радостно заржала, такое же ржаніе послышалось гдѣ-то позади меня, а немного погодя что-то черное ткнулось въ задокъ моей телѣжки.

— Тру!—раздался чей-то голосъ.

И вслѣдъ затѣмъ я почувствовалъ, какъ морда подѣхавшей лошади тяжело дышала какъ разъ подъ моимъ ухомъ.

— Тру! не видишь!

Что это была за лошадь, во что запрожена и кто именно подѣхалъ на ней—я разглядѣть не могъ; я только чувствовалъ на себѣ теплое дыханіе измученнаго животнаго, да слышалъ, какъ подѣхавшій спрыгнулъ на дорогу и съ трудомъ

вытаскивая ноги изъ липкой грязи, силился по-  
дойти ко мнѣ.

— Ну, ночка!—ворчалъ онъ и, ощулавъ нако-  
нецъ мою телѣжку, добрался до меня.

— Здравствуйте!—проговорилъ онъ.

— Здравствуйте.

— Вы чьи будете?

Я сказалъ.

— А куда направляетесь?

— Домой... Только я хотѣлъ было переноче-  
вать въ Берендѣевѣ.

— Такъ поѣдьте вмѣстѣ... Я тоже туда.

— Ъхать-то нельзя мнѣ...

— Что же, здѣсь ночевать предпочитаете?

— Нѣтъ... но кучеръ мой пропалъ. Пошелъ  
искать дорогу и вотъ до сихъ поръ не возвра-  
щается.

— А давно ушелъ?

— Давно.

— Дорога-то здѣсь не далеко... Я только что  
свернулъ съ нея, слышавъ вашъ крикъ.

И, помолчавъ немного, онъ прибавилъ:

— По всей вѣроятности, вашъ кучеръ напалъ  
на дорогу и пошелъ по ней въ село за провожа-  
тыми. Поѣдьте, будемъ кричать, и онъ намъ  
встрѣтится.

— Нѣтъ, лучше подождать.

— Ждать-то мнѣ недосугъ... И такъ припо-  
здалъ...

— А вы кто такой?—спросилъ я въ свою  
очередь.

— Учитель Берендѣевской школы.

— Я немного знакомъ съ этой школой.

— Еще-бы! Кто-жъ ее не знаетъ... Вѣроятно,  
и про генерала слышали?

— Да, слышалъ.

— Человѣкъ курьезный... Только вѣдь теперь

онъ не живетъ здѣсь и почему именно школа носить до сихъ поръ названіе генераль-маіорской— я не знаю... Развѣ потому только, что онъ субсидію даетъ ей... а то вѣдь школа преобразилась теперь въ самую обыкновенную сельскую.

— Вы откуда же возвращаетесь?

— Въ сосѣднее село къ товарищу ѣздилъ. Принципаль завтра долженъ пріѣхать ко мнѣ, такъ ѣздилъ потолковать, какъ принять его? Начальство у насъ новое, строгое и пуще всего, вишь, дисциплины требуетъ, чтобы по формѣ все, по-солдатски, по стрункѣ... Какъ-то, съ недѣлю тому назадъ, проѣзжалъ принципаль чрезъ село Бурдасъ и перемѣнялъ тамъ лошадей. Бурдасовскій учитель прослышалъ про это и побѣжалъ представиться, — вѣжливость хотѣлъ соблюсти: „честь имѣю, говоритъ, рекомендоваться, учитель такой-то!“ А учитель былъ въ парусинной парѣ; принципаль и вознегодовалъ.— „Это что за вольности!—крикнулъ онъ,—какъ вы смѣете ко мнѣ въ такомъ костюмѣ являться? Ужъ не ставите-ли вы приличное платье ниже науки!.. Вонъ отсюда!“ А немного погодя по всеѣмъ школамъ циркуляръ послѣдовалъ, чтобы и учителя и ученики имѣли приличную одежду и чтобы какъ можно строже на счетъ дисциплины наблюдать...

— Въ такомъ случаѣ поѣзжайте, — проговорилъ я.

— Вмѣстѣ-то ѣхать-бы лучше, а то вѣдь какъ разъ собьешься.

— Конечно лучше, но нельзя же и кучера бросить. Хорошо какъ онъ въ село попалъ, а если не попалъ, да все по пашнѣ рыщеть.

— Ну, капутъ тогда... изъ силъ выбьется, залябнетъ.

Но въ это самое время лошади, какъ будто что-то почуявъ, привѣтливо заржали, мы съ учн-

телемъ принялись кричать, а немного погода довольно ясно разбирали уже приближавшееся къ намъ шлепанье нѣсколькихъ ногъ и чьи-то отдаленные голоса, незамедлившіе отозваться на нашъ зовъ. Предположенія учителя оправдались и вскорѣ кучеръ съ двумя верховыми провожатыми подѣзжалъ къ намъ.

— Это вы?—окликнулъ онъ.

— Я.

— Слава тебѣ Господи! а ужъ я не чаялъ и найти васъ. Продрогли небось?

— Продрогъ.

— Ну, ничего, теперь до села недалеко, обогрѣйтесь.

— Вы, пожалуйста, ко мнѣ прямо, — проговорилъ учитель. — Квартирка у меня, правда, небольшая, но насъ только двое я, да мать-старуха.. все лучше чѣмъ въ простой избѣ...

— А начальство-то? — спросилъ я.

— Начальство только завтра къ вечеру приѣдетъ, ибо завтрашній день оно ревизуетъ училище въ вашемъ селѣ, въ Архангельскомъ... Можетъ быть даже и переночуетъ тамъ...

— Но все-таки вамъ надо же подготовиться...

— Это насчетъ дисциплины-то?—спросилъ онъ, юношески захохотавъ, — на счетъ униформіи?

— Да, хотя бы и насчетъ ея.

— На это у меня ревностный помощникъ имѣется, сторожъ, старый-престарый унтеръ Чосовъ; я циркуляръ ему прочелъ... въ восторгъ пришелъ!.. „Вотъ это, говоритъ, по нашему, по военному; все, говоритъ, обдѣлаю... не извольте беспокоиться... Чосовъ, говоритъ, знаетъ эти порядки!“ А по части наукъ я не боюсь, во-первыхъ, потому, что это дѣло, какъ видно, въ глазахъ начальства, второстепенное, а во-вторыхъ, мальчуганы у меня молодцы, лицомъ въ грязь не

ударять... Надѣюсь, что не сконфузятся!.. Какъ угодно экзаменуй—не запнутся... Кстати, я вамъ и училище покажу.

— Въ такомъ случаѣ, съ удовольствіемъ.

— Ну, вотъ и отлично.

И, проговоривъ это, онъ крикнулъ провожа-  
тымъ:

— Эй, вы, братцы, къ училищу везите.

Мы размѣстились, верховые поѣхали впередъ, — а немного спустя мы подѣзжали уже къ небольшому флигелю, крытому соломой, въ двухъ окнахъ котораго привѣтливо свѣтился огонекъ, косыми лучами вырываясь на улицу.

Это и была Берендѣвская генераль-маіорская школа.

— Пожалуйте, пожалуйста, — говорилъ учитель, суетливо вводя меня въ комнату. Имѣю честь представиться: Иванъ Гавриловъ Мурашкинъ! Прошу любить, да жаловать. Очень пріятно познакомиться. Сію минуту мы умоемся, обчистимся, а потомъ чайкомъ займемся; съ холоду-то это будетъ недурно.

И вдругъ, обратясь къ двери, ведущей за пергородку, онъ крикнулъ:

— Мамаша, вы спите, что-ли?

— Заснешь тутъ! — раздался дряблый старушечій голосъ.

— Что такъ?

— Клопы съѣли!

— Дома Чосовъ?

— Нѣтъ. Съ утра ушелъ мальчишекъ муштровать.

— И съ тѣхъ поръ не возвращался?

— Нѣтъ.

— Напьется пожалуй...

— Тебѣ зачѣмъ его?

— Да вотъ самоварчикъ бы согрѣть, — отвѣтилъ

Мурашкинъ. — Ну да ничего! Мы и безъ него обойдемся... Пусть его погуляетъ...

И проговоривъ это, онъ выбѣжалъ въ сѣни, хлопнулъ тамъ какою-то дверью, на что-то наткнулся въ потемкахъ, что-то опрокинулъ; затѣмъ опять вернулся въ комнату, зажегъ свѣчку, выдвинулъ изъ стола ящикъ, разыскалъ какой-то ключъ и съ этимъ ключемъ ринулся за перегородку.

— Аль кто пріѣхаль? — раздался голосъ старухи.

— Пріѣхаль, — отвѣтилъ Мурашкинъ, щелкнувъ замкомъ и погремѣвъ какой-то посудой.

— Левизоръ?

— Нѣтъ.

— Кто-же?

— Проѣзжій.

И вслѣдъ затѣмъ прибавилъ шопотомъ:

— Вы бы вотъ вышли къ нему, поговорили-бы, а я пока самоваръ согрѣю...

— Поговорить? — спросила старуха тоже шопотомъ.

— Да, поговорили-бы... заняли-бы...

— Это можно...

— Все равно клопы спать не дадутъ.

— Только я безъ чаю говорить не буду! — замѣтила старуха рѣшительнымъ тономъ, — чтобы и мнѣ чай былъ.

— Господи! да когда же вамъ отказывали! — упрекнулъ Мурашкинъ.

— То-то! Сколько захочу, столько чтобъ и было! Хочу одну, хочу десять чашекъ выпью.

— Конечно.

— И со сливками, и съ вареньемъ... съ чѣмъ захочу.

И вслѣдъ затѣмъ Мурашкинъ опять вбѣжалъ въ комнату, взялъ со стола зажженную свѣчу и опять скрылся въ сѣняхъ.

Я словно въ баню попалъ, очутившись въ квартирѣ Мурашкина, и чувствовалъ, какъ отъ этой банной теплоты по всему моему назябшему тѣлу точно зудъ какой-то пошелъ, но зудъ не раздражавшій, а, напротивъ, пріятный, нѣжащій и слегка влочившій къ сладкой дремотѣ. Такъ было тепло и хорошо въ этой крохотной комнатѣ. Грошова я керосиновая лампа безъ колпака и съ узенькимъ фитилемъ до того задорно горѣла, что буквально обливала комнату потоками свѣта. Пузатое стекло этой лампы, чистое какъ горный хрусталь, но зато форматомъ походившее на бутылку, до того наполнялось золотистымъ свѣтомъ, что буквально затопляло имъ не только комнату, но даже выбрасывало его въ окно и словно косило имъ, какъ огненнымъ мечемъ, торчавшій у заваленки широкій лопушникъ. Я былъ какъ дома .. Однако, подойдя къ небольшему зеркальцу, висѣвшему въ простѣнкѣ, и нечаянно взглянувъ въ него, я пришелъ въ ужасъ. Оказывается, что отъ излишней теплоты лице мое буквально пылало, а кожа на лицѣ до того начинала саднѣть, что больно было дотронуться до нея.

Вошла старуха.

— Здравствуй, — проговорила она и, кивнувъ головой, принялась зѣвать и крестить широко разинутый ротъ.

— Здравствуйте.

— Поговорить съ тобой пришла...

— Очень радъ.

— Тоже учитель будешь?

— Нѣтъ, я не учитель.

— А я сперва-то подумала: левизоръ пріѣхалъ .. Левизора вѣдь ждемъ мы...

— Да, я слышала.

— Бѣда просто, — проговорила старуха, почесываясь. — Ваня мой съ ногъ сбился... Бойтся



смерть какъ... Новые порядки, вишь, какіе-то пошли, а какіе именно—никто догадаться не можетъ, потому темнота, ничего не разберемъ... Вотъ и страшно всѣмъ, какъ бы не наткнуться...

И, опять зѣвнувъ, спросила:

— Что, аль дождикъ на дворѣ-то?

— Да, идетъ маленькій.

— Теперь его время... Такая-то грязь, что полвъ не намоешься... Сегодня тоже всѣ полы въ училищѣ перемыла.

— Развѣ этимъ вы занимаетесь?

— Положимъ, что не я, ну, а сегодня самой пришлось. Ходила въ волостную бабъ просить, — ну, старшина отказалъ, гуляютъ, вишь, всѣ... а тутъ левизоръ; смутное время... и пришлось самой посудомойничать. Все вымыла: и полы, и окна, и скамейки... Таково-то умучилась, что спину разогнуть не могу. Легла было заснуть, а тутъ клопъ напалъ... ужъ такой-то клопъ, скажу я тебѣ, что сохрани Господи!.. Словно вишня добрая... Домъ-то этотъ у купца купленъ былъ... Генераль купилъ его... а купецъ-то вишь, только изъ-за этого самага клопа и убѣжалъ отсюда.

И, опять зѣвнувъ, прибавила.

— Лѣтомъ-то въ чуланѣ спала, — нѣтъ тамъ клоповъ, ну, и отвыкла отъ нихъ; а теперь скороли опять привыкнешь? такъ вотъ и терзаешься всю ночь... Не знаешь-ли средствія какого?

— Персидской ромашкой посыпьте, — посовѣтовалъ я.

— Сыпала... ничего не вышло!.. И мыломъ-то щели замазывала, и масломъ-то коноплянымъ совѣтовали, и фотогеномъ... не помогаетъ!.. Теперича хочу заговоръ попробовать. Тутъ у насъ на селѣ женщина одна живетъ... Словесами какими-то таракановъ изгоняетъ... можетъ и эту погань изведетъ... Да вотъ все сходить-то недосугъ!

Допрежь, огурцами, да капустой занималась, а теперь вот левизоръ... А ты левизора-то этого не знаешь?—спросила она, устремивъ на меня мутные, но любопытные глаза свои;— не знаешь, какъ онъ такой человѣкъ?

— Не знаю.

— Строгий, вишь, до страсти. И... и... и! Пятнадцать учителей успѣлъ выгнать... Одинъ учитель былъ съ перешибленнымъ носомъ, такъ и его тоже вонъ... Мнѣ, говорить, твой носъ подозрителенъ... Даже, слышь, въ газетахъ писали про него... не читаль?

— Помнится, читаль что-то...

— Ну вотъ, это про него!

Вбѣжалъ Мурашкинъ. Въ рукахъ у него былъ мѣдный тазъ съ глинянымъ кувшиномъ, а на плечѣ висѣло полотенце.

— Пожалуйте-ка, — крикнулъ онъ, — я подамъ вамъ умыться... Ужъ извините, что долго прокопался... сторожа нѣтъ... Пришлось самому къ отцу дьякону за тазомъ бѣжать... своего-то нѣтъ, признаться...

— Не нажили еще!—проворчала старуха.

— Видите, сколько я вамъ хлопотъ надѣлалъ.

— Ничуть не бывало!—перебилъ меня Мурашкинъ.— Дьяконъ рядомъ живетъ... у него на дворѣ я и лошадей вашихъ пристроилъ, а то вѣдь у насъ двора-то не полагается... на юру живемъ.

— Коровку и ту негдѣ поставить!—замѣтила старуха.— Да чего коровка! Для себя пойдешь— такъ срамъ одна... все ужъ къ сумеркамъ пригоняешь.

— Пожалуйте, пожалуйста, — приглашалъ Мурашкинъ, и затѣмъ, обратясь къ старухѣ, прибавилъ: а вы бы, мамаша, покуда къ чаю все собрали: — столъ бы накрыли, баранокъ бы поставили, — самоваръ скоро готовъ будетъ...

— Я и варенья поставлю.

— Поставьте, поставьте.

— И сливокъ.

— Поставьте.

— Это я живой рукой! — проговорила старуха и, кряхтя и охая, пошла за перегородку.

Когда я умылся, Мурашкинъ предложилъ по-смотреть школу.

— Покуда мать чай собираетъ, мы съ вами сходимъ и посмотримъ. Кстати и я посмотрю — все-ли тамъ въ порядкѣ, а то я, признаться, и не былъ еще въ классѣ-то...

Мы пошли.

Классы отдѣлялись отъ квартиры учителя просторными сѣнями и состояли изъ двухъ большихъ комнатъ, заставленныхъ школьною мебелью. Можно было тотчасъ же замѣтить, что ожидался ревизоръ. Все выглядѣло и чисто, и опрятно, и все, начиная съ половъ и кончая мебелью, было тщательно вымыто и вытерто. Отъ только-что выбѣленныхъ стѣнъ пахло мѣломъ и клеємъ. Мебель была разставлена рядами и свѣтъ оконъ падалъ на столы, какъ это и слѣдуетъ, съ лѣвой стороны. Нѣсколько маленькихъ керосиновыхъ лампъ съ зонтиками спускались съ потолка и предназначались для освѣщенія классовъ во время вечернихъ занятій. Такой роскоши мнѣ еще нигдѣ не приходилось встрѣчать въ сельскихъ школахъ. По стѣнамъ были развѣшаны ландкарты, картинки изъ священной исторіи, какія-то таблички въ рамочкахъ и тутъ же громадный портретъ какого-то генерала. Портретъ этотъ висѣлъ какъ разъ противъ ученическихъ партъ, а у подножія его возвышалась учительская кафедра. Генералъ былъ въ полной парадной формѣ, съ красной лентой черезъ плечо и съ грудью, украшенной орденами. Это былъ плотный мужчина съ свирѣ-

пымъ орлинымъ взглядомъ, съ закрученными кверху усами и съ узенькими бакенбардами, въ видѣ запятыхъ, доходившими только до половины щекъ. Лѣвая рука генерала, затянутая въ бѣлую перчатку, опиралась на эфесъ сабли, а указательный палецъ правой руки былъ направленъ на какую-то книгу, лежавшую на столѣ. Я догадался, что это былъ портретъ генераль-маіора Берендѣева и потому попросилъ Мурашкина немного поднять свѣчу и хорошенько освѣтить полотно. Когда это было исполнено, я увидѣлъ, что книга, лежавшая на столѣ, была азбука и что на развернутой страницѣ ея было изображено: азъ—ананасъ, буки—быкъ, вѣди—волкъ и т. д., точь-въ-точь, какъ изображалось все это когда-то въ первобытныхъ русскихъ азбукахъ.

— Что же, исполняете этотъ приказъ?—спросилъ я.

— Ну вотъ, съ какой стати!—вскрикнулъ Мурашкинъ... Теперь ужъ по практичнѣе метода-то есть...

— Звуковая?

— Конечно... Живо приучаются!..

Вдругъ, съ улицы, черезъ двойныя рамы, глухо долетѣло до насъ чье-то хоровое пѣніе, сопровождаемое звуками гармоники; пѣніе приближалось, а поровнявшись со школой замолкло. Вслѣдъ затѣмъ кто-то сильно постучалъ въ окно и чей-то голосъ окликнулъ Мурашкина.

— Кто тамъ?

— Я,—послышался голосъ за окномъ.

— Да кто вы?—не разберу.

— Синайскій... Пойдемте на посидѣлки.

— Куда?—переспросилъ Мурашкинъ.

— На посидѣлки, къ дѣвкамъ...

Мурашкинъ разсердился даже.

— Убирайтесь вы!—крикнулъ онъ.

— Что такъ?

— Не пойду я! И съ чего это вы только выдумали.

— Да сходите хоть разочекъ-то! Поди, не отвалятся ноги-то... Я васъ во всѣ тайны посвящу, — останетесь довольны... Ужъ такія-то, скажу, дѣвки, что просто объѣденье... Настыку Чугунову знаете?.. Красавица вѣдь, неправда-ли? Тамъ будеть... Перепоимъ ихъ... Ну, идемте же.

— Не пойду, да и вамъ не совѣтую...

— Это почему?

— А потому, во-первыхъ, что все это не хорошо, а во-вторыхъ, и потому, что могутъ вамъ ребра переломать...

— Кто это?

— Парни крестьянскіе.

— Ну ужъ это дудки-съ! Насъ самихъ не мало... Цѣлая компанія... и все лихачи собрались.

Подъ окномъ раскатился грубый хохоть нѣсколькихъ человѣкъ.

— Кто же это съ вами?

— Портной Иванъ Ивановичъ, лавочникъ Егоръ Василичъ, сапожникъ Власовъ, фельдшеръ, писмоводитель мирового...

— Идемте!—раздалось нѣсколько голосовъ.—Не бойтесь, въ обиду не дадимъ...

— Нѣтъ, господа, не пойду...

— Рыхлятина!—крикнулъ Синайскій, и вслѣдъ затѣмъ скомандоваль:—айда, ребята, нечего съ нимъ возиться-то...

И, грянувъ веселую хоровую пѣсню, толпа отошла отъ окна.

Пѣсня удаляясь все замирала и замирала и, наконецъ, совсѣмъ замерла, а на смѣну ей опять задробилъ дождь по стекламъ, да такъ уныло и тоскливо, что даже сердце сжималось...

Осмотрѣвши классы, мы возвратились въ комнату и, усѣвшись вокругъ стола, на которомъ привѣтливо кипѣлъ самоваръ, наполняя паромъ

все помѣщеніе, принялись за чай. Старуха-мать успѣла предупредить насъ и аппетитно пила уже чай съ блюдечка, установленнаго на всѣ пять пальцевъ правой руки. Она такъ была занята этимъ дѣломъ и такъ сладко прищуривала глаза, что словно и не замѣтила нашего прихода, и только тогда, когда Мурашкинъ усѣлся рядомъ съ ней и принялся разливать чай, она словно очнулась и, окинувъ насъ испуганнымъ взглядомъ, спросила:

— Что, были?

— Были, мамаша, — отвѣтилъ Мурашкинъ.

— Хорошо, чисто?

— Хорошо...

— А все я... бабъ не дали, — гуляютъ, вишь, гдѣ-то.

Однако расскажу вамъ исторію этой школы.

Генераль майоръ Авила Авенировичъ Берендѣевъ былъ служака Николаевскихъ временъ. Образование получилъ онъ въ какомъ-то кадетскомъ корпусѣ и, предаваясь изученію предметовъ до военной службы касающихся, слишкомъ умѣренно помышлялъ объ усовершенствованіи остальныхъ познаній. Прямо со школьной скамьи поступилъ онъ на службу въ какой-то армейскій полкъ, доблестно, но весьма медленно предававшійся покоренію Кавказа, и съ минуты этого поступленія принялся терпѣливо составлять свою карьеру. Сперва служба его тянулась вяло, незамѣтно; но года черезъ четыре, когда ему удалось въ какой-то стычкѣ съ черкесами проявить храбрость бульдога и силу разсвирѣпѣвшаго медвѣдя, онъ сразу-же выдвинулся изъ ряда обыкновенныхъ людей и быстро пошелъ въ гору. Это былъ человѣкъ безъ всякихъ средствъ, сынъ какого-то мелкаго чиновника, дорожившій службой столь-же жадно, сколько дорожить го-

лодный оборванецъ поданнымъ ему кускомъ хлѣба. Въ службѣ Берендѣевъ вдѣлъ все свое благополучіе, всю свою будущность; лѣзь вонъ изъ кожи и дѣйствительно достигъ желаемыхъ результатовъ. Сдѣлавшись любимцемъ начальника и будучи по натурѣ человѣкомъ безъ претензій (барабаннымъ), онъ такъ быстро зашагалъ по служебной лѣстницѣ, что лѣтъ сорока съ небольшимъ достигъ генераль-майорскаго чина и сдѣлался уже самъ самостоятельнымъ начальникомъ. Берендѣевъ былъ генераль строгій, исполнительный, легко переносившій голодъ и холодъ, не мигавшій даже глазомъ при свистѣ летавшихъ мимо него пуль, питавшійся тѣмъ-же, чѣмъ питался солдатъ, и недопускавшій въ своей домашней жизни не только роскоши, но даже и самаго необходимѣйшаго комфорта. Спалъ онъ на жесткомъ тюфякѣ, ходилъ въ солдатской шинели и, сидя верхомъ на конѣ, чувствовалъ себя несравненно покойнѣе, чѣмъ въ мягкомъ съ пружинами креслѣ. Черкесы боялись его, какъ только можно бояться развирѣпѣвшаго медвѣдя! Сломать, изуродовать, спустить шкуру, содрать черепъ— было для него дѣломъ пустяшнымъ, такимъ-же пустяшнымъ, какъ выкурить трубку табаку или сѣздить по мордѣ солдата. Но всему бываетъ конецъ! Конецъ постигъ и карьеру генераль-майора Берендѣева. Дошли до Петербурга слухи о его медвѣжьемъ усердіи, о его ловкости хапать даже и тамъ, гдѣ хапать не рекомендуется, и ему было предложено оставить службу. Генераль подалъ прошеніе объ отставкѣ и, затаивъ злобу, возвратился въ Россію. Тамъ въ Россіи купилъ онъ 1000 душъ крестьянъ и, поселившись въ своемъ новокупленномъ имѣніи, которое изъ села Лопатина переименовалъ въ честь своей фамилии въ село Берендѣево, почувствовалъ себя

охваченнымъ потокомъ политическихъ мечтаній того времени. Онъ былъ озлобленъ и въ припадкѣ этой злобы принялся либеральничать. Либеральничанье свое онъ началъ съ того, что сталъ пробуждать въ мужикѣ забытые благородные инстинкты, принялся развивать его; и съ этой цѣлью построилъ въ своемъ селѣ, во-первыхъ, берендѣвскую генераль-майорскую школу, во-вторыхъ, берендѣвскую генераль-майорскую больницу, а въ третьихъ, приглашалъ мужика къ себѣ въ кабинетъ, сажалъ его съ собой на диванъ и вмѣстѣ съ нимъ пилъ чай. Училище дѣйствительно онъ выстроилъ на славу! Оно было четырех-класснымъ, помѣщалось въ большомъ домѣ, нарочно для этого выстроенномъ, и далеко превосходило училища того времени. Въ немъ преподавались предметы, проходившіеся въ уѣздныхъ училищахъ; но такъ какъ на наемъ учителей генераль Берендѣевъ денегъ не жалѣлъ, то нечего говорить, что берендѣевскіе учителя превосходили казенныхъ, а потому и ученье шло настолько успѣшно, что вскорѣ въ Берендѣвскую генераль-майорскую школу стали отдавать своихъ дѣтей и бѣдные окрестные помѣщики. Въ то время, когда даже простое ношеніе бороды возбуждало въ умахъ тревогу, а сѣрные спички съ трудомъ завоевывали себѣ права гражданства, поступки генераль-майора Берендѣева, конечно, могли показаться крайне подозрительными; но генераль этого-то именно и добивался. „Я знаю, говорилъ онъ, что грамотности боятся, такъ вотъ на-же, смотри!“ Болѣе благонамѣренные люди угваривали его бросить это либеральничанье, предсказывали ему могущее возникнуть недовольство или просто недоразумѣніе, но генераль именно въ этомъ только и видѣлъ удовлетвореніе своей мести. Больница и школа сдѣлались его люби-



мымъ мѣстопробываніемъ. Прикажетъ, бывало, осѣдлатъ себѣ коня (конь у него былъ тотъ же самый, на которомъ онъ гарцовалъ на Кавказѣ, бѣлый, безъ отмѣтинъ), вскочитъ въ сѣдло, подбоченится и курць-галопомъ, какъ передъ фронтомъ, отправится сначала въ больницу, а потомъ въ школу. „Здорово, ребята!“ крикнетъ бывало, а въ отвѣтъ ему: „здравія желаемъ, ваше превосходительство!“ И генераль добродушно улыбался. „Я имъ насолю, мечталъ онъ; и вотъ когда мужики мои начнутъ книжки читать, такъ они тогда и узнаютъ, какъ генераловъ-то изъ службы выгонять!“ Увлечение его доходило до того даже, что онъ, гарцуя на своемъ бѣломъ конѣ по улицамъ села и глядя на своихъ мужичковъ, гордо выпрямлялся и воображалъ себя чѣмъ-то въ родѣ Мирабо! И тогда онъ прищпоривалъ коня и на низкіе поклоны встрѣчавшихся ему крестьянъ отвѣчалъ не движеніемъ руки подъ козырекъ, а высоко поднимая надъ головой свою форменную генеральскую фуражку, какъ дѣлалъ то самъ Мирабо. Изъ свирѣпаго, строгаго и взыскательнаго, каковымъ онъ былъ на Кавказѣ, онъ сдѣлался настолько сдержаннымъ и дипломатичнымъ, что даже ни единого школьника пальцемъ не тронулъ, хотя и находили на него такія минуты, въ которыя онъ готовъ былъ-бы разорвать его на части. Насколько былъ хорошъ персоналъ школы, настолько-же таковой былъ хорошъ и въ больницѣ. Для завѣдыванія больницей генераль-майоръ Берендѣевъ пригласилъ весьма почтеннаго и свѣдущаго медика, а въ помощь ему поставилъ двухъ опытныхъ фельдшеровъ. Для помѣщенія больницы, доктора и фельдшеровъ онъ не задумался уступить свой господскій берендѣевскій домъ, а самъ съ своей фавориткой, молодой и красивой грузинкой, съ маленькими чер-

ненькими усиками и большущими пламенными глазами (генераль былъ знатокъ по этой части), поселился въ небольшомъ флигелѣ, въ которомъ когда-то, при старыхъ владѣльцахъ, помѣщалась вотчинная контора и управитель—остзейскій нѣмецъ. Несмотря, однако, на то, что докторъ былъ весьма опытный и знающій человекъ, генераль все-таки любилъ просматривать его рецепты, надписывалъ на нихъ свои резолюціи, свои мнѣнія, а иногда такъ вовсе отмѣнялъ ихъ. Въ такомъ случаѣ онъ перекрещивалъ рецептъ: и на обратной сторонѣ надписывалъ: „отмѣнить и давать то-то. Генераль-майоръ Берендѣевъ“. На первыхъ порахъ докторъ обижался на это; однажды хотѣлъ было даже бросить службу, но многочисленное семейство и уютное теплое помѣщеніе съ окнами, выходящими въ старинный садъ, заставили его примириться съ выходками генерала. Точно также распорядился онъ и въ своей Берендѣевской генеральской школѣ. Разъ какъ-то, придя въ школу, онъ былъ пораженъ тѣмъ, что учитель, объясняя мальчикамъ азбуку, выговаривалъ буквы не по старинному, а по новому, а именно: вмѣсто азъ произносилъ а, вмѣсто буки—бе. Генераль слушалъ, слушалъ и наконецъ вспылить. „Это еще что за новости, кричалъ онъ, это еще что такое! Чтобы у меня этого не было!“ И въ ту-же секунду отмѣнилъ новый методъ, а чтобы учителя и ученики даже и въ будущемъ помнили его распоряженіе по поводу преподаванія азбуки, онъ въ тотъ-же день отправился въ городъ, разыскалъ тамъ живописца и заказалъ ему знакомый уже намъ портретъ.

Такъ прошло года три-четыре, и вотъ наконецъ либеральничанье генераль-майора Берендѣева достигло своей цѣли въ смыслѣ „насоленія“ и дошло до губернскаго начальства. Сперва при-

слали къ генералу становаго съ приказаніемъ разнюхать, затѣмъ исправника съ предписаніемъ развѣдать, потомъ чиновника особыхъ порученій съ предложеніемъ тщательно провѣрить и взвѣснить, а наконецъ пріѣхалъ и самъ начальникъ. Послѣдній пріѣхалъ къ генералу какъ будто въ гости. Попросилъ показать ему больницу, школу, пообѣдалъ у него, выпилъ нѣсколько бокаловъ шампанскаго, раза два фамиллярно подмигнулъ даже генералу, увидавъ какъ-то мелькомъ блеснувшій изъ-за двери чернѣйшій глазъ грузинки, одобрилъ его вкусъ, а потомъ, незамѣтно перейдя къ школѣ, отозвался о ней какъ объ учрежденіи слишкомъ дорого обходящемся и сверхъ того крайне непригодномъ для русскаго мужика, назначеніе котораго — воздѣлывать землю, отбывать рекрутскую и другія повинности, а ужъ никоимъ образомъ не заниматься чтеніемъ книгъ и газетъ. Онъ даже высказалъ по секрету, что таковыя учрежденія не желательны, что для народнаго образованія имѣется достаточное количество казенныхъ школъ и въ концѣ концовъ объявилъ, что если ужъ генералу непременно хочется имѣть школу, то пусть откроетъ одноклассную, въ которой ребятишки обучались-бы чтенію церковныхъ книгъ, Закову Божьему и хорошему пѣнію на клиросѣ. Но торжествующій генералъ ничего и слушать не хотѣлъ! Напротивъ, онъ высказалъ даже свое намѣреніе расширить программу школы введеніемъ въ нее естественныхъ наукъ и политической экономіи (словно онъ бѣлены объѣлся!), коснулся необходимости пробужденія инстинктовъ, рассказалъ при этомъ, какъ онъ пьетъ чай съ мужиками, намекнулъ слегка о Мирабо и кончилъ тѣмъ, что съ пѣной у рта принялся проводить параллель между образованнымъ Западомъ и безграмотной матушкой Россіей и параллель эту до того

подсобилъ собственными своими измышленіями, что начальникъ махнулъ рукой и уѣхалъ. Послѣдствіемъ этого посѣщенія было то, что не далѣе какъ черезъ мѣсяць послѣдовало распоряженіе о переименованіи четырехклассной берендѣвской генераль-майорской школы въ одноклассную съ правомъ сохраненія присвоеннаго ей наименованія и съ обязательнымъ преподаваніемъ чтенія церковныхъ книгъ и пѣнія на клиросахъ.

Однако, съ тѣхъ поръ прошло такъ много времени и сверхъ того такъ много послѣдовало перемѣнъ, что теперь трудно вѣрится даже въ справедливость только-что мною рассказаннаго. Теперь не то! Школы растутъ какъ грибы: желающихъ учиться такъ много, что пришлось прибѣгнуть къ помощи конкурентныхъ экзаменовъ и къ исключеніямъ вонъ изъ заведеній мало-мальски опростоволосившихся; безграмотный мальчуганъ или дѣвочка (по крайней мѣрѣ въ городахъ) являются рѣдкостью, и грамотные указываютъ на нихъ пальцами; учебники печатаются милліонами экземпляровъ; пошли въ ходъ реальныя и ремесленныя училища, учительскія семинаріи, школы даже для глухонѣмыхъ, женскія гимназіи и прогимназіи, частныя пансіоны, не говоря уже о классическихъ гимназіяхъ, женскихъ институтахъ и исправительныхъ пріютахъ, и то, что казалось прежде опасною и вредною роскошью, сдѣлалось жизненною потребностью. Измѣнилась опять и берендѣвская генераль-майорская школа. Эго уже было третье превращеніе. Изъ пѣвческихъ классовъ она превратилась въ обыкновенную сельскую школу. Роскошный домъ, когда-то вмѣщавшій ее въ своихъ стѣнахъ, давно уже сгнилъ и разрушился и школа переведена въ другое помещеніе... Но увы! Это уже и не то зданіе, которымъ справедливо гордился когда-то генераль Берендѣ-

евъ. Это уже не тотъ красивый домъ, крытый желѣзомъ, столь сильно возбуждавшій собою предусмотрительность начальства, а простая русская изба съ клопами, соломенной крышей и жалкимъ крылечкомъ, украшеннымъ, однако, роскошною вывѣскою. Только одна эта вывѣска съ золотою надписью „Берендѣвская генераль-майорская школа“, какъ-то уцѣлѣвшая отъ всеокрушающаго времени, какъ-бы говорила о прежнемъ величїи школы. Много измѣнился и самъ генераль Берендѣевъ. Крестьяне его съ пробужденными въ нихъ инстинктами и съ дарованной имъ волей попали въ лапы арендатора-кулака и не знаютъ какъ освободиться отъ этихъ живыхъ тисковъ. Самъ генераль, покончивъ съ арендаторомъ и получивъ съ него аренду за годъ впередъ, перѣхалъ въ Петербургъ. Граціозная черноокая грузинка, не захотѣвшая покидать Берендѣевку и промѣнявшая генерала на того же самаго арендатора, замѣнена неуклюжей съ карими и сонными глазами бабой; берендѣвская больница, какъ учрежденіе, вызвавшее даже похвалу начальства, была уничтожена генераломъ тотчасъ-же послѣ извѣстнаго намъ начальническаго посѣщенія, и только одна школа продолжала по прежнему получать отъ генерала довольно серьезную субсидію. Самъ генераль значительно посѣдѣлъ, какъ-то сгорбился, но зато снова воспрялъ духомъ. Получивъ въ Петербургъ какую-то должность въ какомъ-то учрежденіи, и поселившись съ своей бабой въ просторной казенной квартирѣ съ отопленіемъ, освѣщеніемъ и швейцаромъ, онъ, подобно своей школѣ, тоже переживалъ третье превращеніе; изъ пробудителя инстинктовъ перечислился снова къ отряду старыхъ своихъ сослуживцевъ. Разъ какъ-то, а именно когда до генерала дошли вѣсти, что въ дѣла его школы стали вмѣ-

шиваться какіе-то земцы и какая-то мѣстная инспекція и что кто-то изъ этихъ людей распорядился замазать навывѣскѣ слова „генераль-майорская“ онъ даже хотѣлъ было отступить и отъ школы, но пріѣхавшій къ нему сановникъ, тотъ самый начальникъ, который былъ у него съ просьбой о закрытіи школы, уговорилъ его переменить это рѣшеніе. „Помилуйте, ваше превосходительство, что вы дѣлаете!... Вы, который такъ много сдѣлали на пользу науки, который, такъ сказать, далъ первый толчекъ этому по истинѣ святому дѣлу,— и вдругъ!...“ Кончилось тѣмъ, что генераль дѣйствительно рѣшеніе свое переменялъ, но однако съ тѣмъ непремѣннымъ условіемъ, чтобы вывѣска была реставрирована и чтобы она непремѣнно гласила, что школа эта есть именно: „Берендѣвская генераль-майорская школа“. Сановникъ далъ слово. Вывѣска была возобновлена, и съ тѣхъ поръ субсидія аккуратно и ежегодно высылается генераломъ.

Возвратимся къ разсказу.

Было уже часовъ одиннадцать вечера, а мы съ Мурашкинымъ все еще сидѣли за чайнымъ столомъ и бесѣдовали. Старуха-мать, досыта напившись чаю, давно ушла за перегородку и не то стонала, не то храпѣла, лежа на своей кровати. Мурашкинъ былъ въ сильно-возбужденномъ состояніи и разсказывалъ мнѣ про тѣ невзгоды, которыя терпитъ онъ въ Берендѣвской школѣ. Изъ разсказовъ этихъ, правда, немного фантастичныхъ, становилось однако яснымъ, что самымъ злѣйшимъ врагомъ его являлся берендѣвскій „батюшка“, искавшій случая опредѣлить на его мѣсто своего сына, исключеннаго изъ семинаріи, а поводомъ къ раздору послужило то обстоятельство, что Мурашкинъ отказалъ на-отрѣзъ отпускать своихъ учениковъ на спѣвки въ тѣ часы, когда онъ за-

нимался уроками. Къ отказу этому придрался священникъ, посыпались обвиненія его и въ маловѣрїи, и въ тайномъ сотрудничествѣ въ мѣстныхъ газетахъ, и въ пьянствѣ. Однако, какъ священникъ ни хлопоталъ, но всѣ его хлопоты оканчивались ничѣмъ. Приѣзжалъ инспекторъ, приѣзжали члены совѣта, спрашивали про Мурашкина крестьянъ, экзаменовали со всею строгостію его учениковъ, незамѣтно осматривали его квартиру, и, не найдя ничего предосудительнаго, уѣзжали, не сдѣлавъ никакихъ перемѣнъ. Рассказывая все это, онъ, видимо, страдалъ и болѣлъ душою. Это былъ еще очень молодой человѣкъ, только что кончившій курсъ въ какой-то учительской семинаріи и только годъ тому назадъ вступившій на учительское поприще. Видно было по всему, что на дѣло свое онъ смотрѣлъ съ увлеченіемъ, предался ему всею душою и въ святость его вѣрилъ безусловно. Школа и ребятишки были для него все. Онъ посвящалъ имъ все свое время, дѣлился съ ними всѣмъ, что только зналъ, посвящалъ ихъ во все, во что былъ посвященъ самъ, и съ наслажденіемъ замѣчалъ, что и они тоже начинаютъ какъ будто вѣрить въ святость школьнаго дѣла. Но дѣйствительность не замедлила, какъ видно, отравить его мечты. Онъ не то чтобы потерялъ вѣру, но словно испугался своего положенія, словно чувствовалъ, что возжи выпадаютъ изъ рукъ его... Онъ сознавалъ какъ будто, что хотя доносы на него и кончились ничѣмъ, но что все-таки тѣмъ не менѣе школьное дѣло далеко не такъ прочно, какъ думалъ онъ прежде. Чуть не со слезами на глазахъ, онъ жаловался мнѣ на невѣжество училищнаго совѣта, состоявшаго большею частію изъ полуграмотныхъ купцовъ, и въ подтвержденіе своей жалобы рассказывалъ, какъ прошлой весной одинъ изъ членовъ,

купецъ по профессіи, для производства въ сельскихъ школахъ выпускныхъ экзаменовъ, возилъ съ собою какого-то отставного писаря, которому впоследствии и далъ учительское мѣсто. Видя все это, онъ пришелъ къ тому убѣжденію, что въ школьномъ дѣлѣ не достаетъ почвы, не говоря уже о той отвлеченности, которая лежитъ собственно въ основаніи этого дѣла, лишаящей его жизненнаго смысла и оставляющей въ душѣ школьника пустоту и крайнюю нервозность. По поводу этой нервозности онъ разговорился особенно горячо, даже вышелъ какъ будто изъ предѣловъ сельской школы и прямо приписалъ развитіе этой нервозности непосильному труду, который требуется отъ школьника, непосильной тяжелой работѣ и тому отчаянію, въ которое впадаетъ школьникъ, чувствуя себя не въ силахъ сладить съ заданнымъ ему дѣломъ. Ему, видимо, хотѣлось, чтобы нервы школьника оставались неприкосновенными, чтобы до нихъ не дотрогивались, какъ не смѣли дотрогиваться до кожи завѣта, а чтобы школьникъ, наоборотъ, укрѣплялся въ школѣ и физически, и нравственно и чтобы умственные способности его обогащались не путемъ долбленія уроковъ, иногда совершенно даже ненужныхъ, не стремленіемъ схватить хорошей баллъ, награду или извѣстную льготу, а путемъ развитія въ немъ тѣхъ воодушевленій, которыя волей-неволей одухотворяютъ его и заставляютъ понять необходимость науки. Не съ розгой въ рукахъ, не съ угрозой на устахъ хотѣлось бы ему заниматься съ дѣтьми, а быть ихъ товарищемъ, заручиться ихъ любовью, вмѣстѣ даже пошалить съ ними и, вполне отрѣшившись отъ начальнически-оффиціальнаго тона, жить ихъ жизнию. И, какъ бы сомнѣваясь въ самомъ себѣ, онъ принялся цитировать мнѣ Спенсера, Шмидта, Вирхова и другихъ.



— Но, — вскрикнулъ, онъ, откинувъ назадъ свои шелковистые волосы — какой же я пентюхъ! Къ чему говорю я все это... Что тутъ Спенсеръ, къ чему онъ, когда проходится возиться не со Спенсерами, а съ полуграмотнымъ народомъ, смотрящимъ на науку съ своей торгашеской точки зрѣнія... Какія у насъ школы... Школа у насъ не потребность, а просто модный вопросъ, съ модными канцелярскими упражненіями... Свою берендѣвскую школу, — продолжалъ онъ, — хотя и носящую смѣшное названіе генераль-маіорской, благодаря той субсидіи, которую отпускаетъ ей генераль, я ставлю еще въ нѣкоторое болѣе счастливое положеніе, но большинство другихъ школъ не отвѣчаютъ не только педагогическимъ, но даже и гигиеническимъ требованіямъ. У меня хоть „посуда“ есть, какъ выражается про помѣщеніе школы мой унтеръ Чосовъ, а есть и такія, которыя помѣщаются либо въ церковныхъ сторожкахъ, либо при волостныхъ правленіяхъ. Послѣднія самыя несчастныя, ибо классныя занятія сплошь да рядомъ прерываются площадною руганью и пьяными пѣснями пьяныхъ стариковъ и глотовъ. Холодъ, темнота, сырость, развѣдающій глаза дымъ, убогая обстановка, — вотъ тѣ условія, въ которыхъ находится большинство школъ. Во многихъ изъ нихъ, — продолжалъ онъ, все болѣе и болѣе воодушевляясь, — нѣтъ даже порядочныхъ и толковыхъ учебниковъ, и вся библіотека ихъ заключается въ нѣсколькихъ растрепанныхъ экземплярахъ „Родного Слова“ и двухъ, трехъ книжкахъ для чтенія Водовозовой... И вотъ съ какими школами возится бѣдный сельскій учитель, не имѣющій, въ свою очередь, ни теплаго угла, ни порядочнаго общества, ни книгъ, ни журналовъ... Только одна „Нива“ съ ея олеографіями, — прибавилъ онъ, презрительно кивнувъ головой на стѣну, на которой

висѣла картина „Дорогой гость“...— Даже мѣстные газеты не рекомендуются,—говорять, что духомъ противорѣчія переполнены, а ужъ какой тамъ духъ...

И, помолчавъ немного, онъ чуть не вскрикнулъ.

— Какъ-то недавно у моего товарища членъ совѣта, тотъ самый, который съ писаремъ-то разъѣзжалъ, систему логики Милля розыскалъ и не прошло недѣли, какъ учитель былъ уволенъ. Какъ-то разъ пригласилъ я къ себѣ того же самаго члена на чашку чая, — вѣжливость ему оказать хотѣлъ, а онъ послѣ чаю-то, вмѣсто спасибо, всѣ мои бумаги перерылъ.— Нѣтъ-ли, говорить, у васъ чего на счетъ этого!?

И потомъ, какъ будто вспомнивъ что-то, онъ быстро вскочилъ съ мѣста, подбѣжалъ къ столу и, схвативъ лежавшую на немъ бумагу, подаль ее мнѣ.

— Чуть было не забылъ! — проговорилъ онъ, — натека почитайте; это тотъ самый циркуляръ новаго начальства, о которомъ я говорилъ вамъ, когда мы въ полѣ стояли...

Бумага эта заключала въ себѣ обращеніе новаго начальства къ своимъ подчиненнымъ. Начинаясь она увѣдомленіемъ о вступленіи начальника въ должность и о его намѣреніяхъ, не щадя „живота“, посвятить себя всецѣло на пользу вѣреннаго ему дѣла. Затѣмъ высказывалась надежда, что господа учителя сельскихъ школъ не откажутъ придти къ нему на помощь и своими просвѣщенными трудами раздѣлятъ возложенный на него священный, но тяжкій трудъ. Далѣе излагался взглядъ на благотворное вліяніе цивилизаціи, на плоды, ожидаемые отъ нея; проводилась параллель между народами цивилизованными и нецивилизованными; указывалось на Спарту, Аѣны и Римъ и, наконецъ, уже рекомендовались тѣ мѣ-

ропріятія, коими начальство предполагаетъ руководствоваться, какъ безусловно цѣлесообразными и безспорно необходимыми для достиженія того величія, котораго достигли когда-то упомянутыя страны въ дѣлѣ цивилизаціи. Въ этой части обращенія особенно часто упоминалось о Спартѣ, о выносливости и мужествѣ спартанцевъ, о способности ихъ съ похвальной гордостью выносить холодъ, голодъ и лишенія, о львиной храбрости ихъ въ борьбѣ съ многочисленными врагами, о той дисциплинѣ, преданіе о которой сохранилось до нашего времени, и, наконецъ, объ отсутствіи въ нихъ тѣхъ элементовъ броженія, которые не токмо не укрѣпляютъ умъ, но, наоборотъ, способствуютъ къ слѣпотствованію и крайне вредному легкомыслію. Рекомендовалось строго и непрестанно внушать ученикамъ, что, находясь въ школѣ, они не должны утруждать себя заботами о своемъ существованіи, о своемъ житьѣ-бытьѣ, о шахъ и кашѣ, а должны помышлять токмо объ обогащеніи своего ума одобренными на сей предметъ учебниками, а душу религіозными упражненіями, укрѣпляющими...

Но тутъ случилось нѣчто такое, чего я ужъ никакъ не ожидалъ. Я не успѣлъ еще дочитать бумагу до конца, именно до того мѣста, гдѣ излагается рядъ мѣръ, рекомендуемыхъ касательно дисциплины, какъ вдругъ дверь съ шумомъ отворилась и въ комнату не вошелъ, а скорѣе влетѣлъ какой-то юродивый, не то какой-то сумасшедшій и, выкинувъ колѣно, какимъ-то рѣзкимъ пѣтушинымъ голосомъ крикнулъ: „Миръ честной компаніи!“ Это былъ дряхлый-предряхлый старичишка, въ длинномъ солдатскомъ сюртукѣ, съ золотыми нашивками на рукавахъ, нѣсколькими орденами на груди и въ форменной фуражкѣ, съ захавшей на затылокъ. Старикъ видимо хлебнулъ!

Въ одной рукѣ онъ держалъ ножницы, которыми стригутъ овецъ, въ другой довольно большой холщевый мѣшокъ, чѣмъ-то туго набитый, а подъ мышками два пучка тонкихъ и гибкихъ розогъ.

— Миръ честной компаніи! повторилъ онъ, — какъ то взвизгивая и широко раскрывая беззубый ротъ.

— Миръ вамъ, съ пальцемъ девять, съ огурцомъ пятнадцать!.. Чай да сахаръ.

— А, дѣдушка! насилу-то! — вскрикнулъ Мурашкинъ и потомъ, обратясь ко мнѣ, прибавилъ: рекомендую-съ, мой помощникъ и сослуживецъ, унтеръ-офицеръ Чосовъ.

— Сторожъ берендѣевской генераль-маіорской школы, — подхватилъ старикъ, и вытянулся въ струнку, комически растопыривъ сѣдые свои усы и выпуча бессмысленно глаза.

— Кульмскій крестъ имѣеть, не шутите-съ, — замѣтилъ Мурашкинъ.

— Точно такъ, вашескородіе... вотъ онъ, вѣтъ... тутъ, съ пальцемъ девять, съ огурцомъ пятнадцать.

— Ну садись-ка. Чаю хочешь?

Но Чосовъ словно не слышалъ этого приглашенія. Онъ выкинулъ еще какое-то колѣно, положилъ мѣшокъ и розги на полъ, подпрыгнулъ, прищелкнулъ пальцемъ и, поднявъ кверху ножницы, крикнулъ опять-таки по пѣтушинуму.

— Окарналь, всѣхъ окарналь... Теперь не бойся...

— Остригъ? — спросилъ Мурашкинъ.

— Окарналь... самими этими ножницами... всѣхъ какъ есть оболванилъ... мозоли индо на пальцахъ набилъ... Сашка горбоносый заартачился было, не давался, подлець... самъ знаешь, ловкачъ вѣдь, шустрый мальчишка, волосы золотистые, хорошіе такіе .. бѣгать отъ меня пустился..  
Эй, Сашка, говорю, не буянь, хуже будетъ, зав-

тра въ школу придешь — руками выщиплю!“ Од-  
наче все-таки изловилъ, ущемилъ голову промежъ  
колѣнъ и давай карнать... Въ слезы даже уда-  
рился!.. „Дѣдушка, говоритъ, не уродуй, Хри-  
стомъ Богомъ прошу!“ Плачетъ разливается... Ну,  
да вѣдь Чосовъ свое дѣло знаетъ! Такъ окарналъ,  
что почитай совсѣмъ лысымъ сдѣлалъ... хе, хе,  
хе, вотъ такъ съ пальцемъ девять...

И вдругъ, раскрывъ мѣшокъ, онъ вытащилъ  
изъ него цѣлый пукъ волосъ и, высоко припод-  
нявъ его кверху, прибавилъ.

— На, смотри, вотъ они!

— Это что такое? — спросилъ Мурашкинъ.

— Волосы.

— Да зачѣмъ же ты принесъ-то ихъ сюда?

— А чтобы ты не беспокоился... вотъ зачѣмъ!..

Чосовъ знаетъ... Чосовъ жалѣетъ тебя, жалѣетъ...  
Онъ даромъ что слѣпъ, а все видитъ... Онъ вѣдь  
видитъ, что заробѣлъ ты совсѣмъ.. Ну, а теперь  
не бойся. . Теперь у насъ все въ порядкѣ... маль-  
чишки острижены, галстуки есть...

— Развѣ и галстуки есть? — удивился Мураш-  
кинъ.

— Все какъ требуется, — солдатскіе во всей  
формѣ, съ двумя крючками... Всю ночь тачалъ  
вчера... Ты спалъ, а Чосовъ нѣтъ, — онъ знаетъ  
свое дѣло... любо-дорого посмотришь... Хошь сей-  
часъ левизоръ пріѣзжай...

— Ну, спасибо тебѣ, дѣдушка, спасибо,

— А главное дѣло — ты не робѣй... Чего ро-  
бѣть... Вона!.. Ты только мнѣ не мѣшай, а Чо-  
совъ все устроить... все... У меня шалишь, съ  
пальцемъ девять, съ огурцомъ пятнадцать... Такъ  
выправлю, что хоть самъ главнокомандующій прі-  
ѣзжай.. А то ништо порядокъ!.. Это даже и я  
скажу, что непорядокъ... Совсѣмъ зря мальчи-  
шки сидѣли! Тутъ маленькій, чуть отъ земли вы-

рось, а рядомъ верзила — верста коломенская. Ништо это возможно, другъ любезный!..

— Да вѣдь большой-то маленькому помогаетъ, дѣдушка.

— А все-таки нельзя, мало бы чего, не порядокъ! Ты ужъ лучше молчи, коли не знаешь!.. Ранжиръ долженъ быть — вотъ что... я вотъ завтра бичевку протяну, да сбоку и буду смотрѣть... Такъ разсажу: макушка въ макушку, носъ къ носу, чтобы значить линия была... Чосовъ знаетъ!.. Ты меня не учи!..

И затѣмъ, вдругъ бросившись къ розгамъ и поднося ихъ къ Мурашкину, прибавилъ.

— А вотъ и розги, съ пальцемъ девять...

Мурашкинъ даже ужаснулся.

— Ну ужъ нѣтъ, — этого я не допущу! крикнулъ онъ, ударивъ по столу кулакомъ.

— Вотъ и дуракъ вышелъ!

— И кто тебя просилъ объ розгахъ?

— Да вѣдь пороть мы не станемъ, — перебилъ его Чосовъ; — пороть не надо, не хорошо... а все таки, чтобы начальство видѣло... а уѣдетъ начальство, мы въ печку ихъ... хе, хе, хе... Такъ-то, другъ любезный... А ты думалъ, что Чосовъ и въ самомъ дѣлѣ пороть будетъ... Нѣтъ, шалишь, я вѣдь тоже эти палки-то помню, знаю какова въ нихъ сласть-то!..

— А выучилъ какъ начальника привѣтствовать?

— Все готово, все... дружно подхватываютъ!...

Мурашкинъ горько улыбнулся, какъ-то тяжело вздохнулъ и, наливъ Чосову стаканъ чаю, немощно опустилъ голову на столъ.

Минуть черезъ двадцать мы разошлись уже по мѣстамъ. Мнѣ постелили постель на диванѣ, я потушилъ лампу, раздѣлся и улегся. Озябшія и утомленныя кости просили отдыха, и я немедлен-

но заснулъ. Не знаю—долго-ли я спалъ, но вдругъ почувствовалъ, что тѣло мое словно горѣло въ огнѣ... Я вскочилъ въ испугѣ. Прежде всего мнѣ представилось, что не уронилъ-ли я какъ-нибудь папиросу и не загорѣлась ли простыня или одѣяло, но то и другое было цѣло и невредимо. Я зажегъ лампу — и вдругъ увидѣлъ сотни клоповъ, кишѣвшихъ по моей сорочкѣ, по простынѣ, укрывавшихъ собою всю стѣну и будто спѣшившихъ со всѣхъ сторонъ къ тому дивану, на которомъ чуяли свою добычу. Я даже ужаснулся при видѣ такого количества клоповъ и поспѣшно принялся сбрасывать ихъ съ себя... Такъ всю ночь я и не ложился. Не спалось, какъ видно, и тѣмъ, которые были за перегородкой. Старуха охала, стонала, Мурашкинъ что-то ворчалъ, поминутно вертѣлся на кровати и стучался о досчатую перегородку. А осенній дождикъ билъ себѣ въ окна и крупными каплями катился по стекламъ. Вѣтеръ тоскливо завывалъ въ трубѣ, чѣмъ-то хлопалъ снаружи, чѣмъ-то стучалъ... Тоска.

Всю ночь просидѣлъ я въ ожиданіи разсвѣта и наконецъ-таки дождался его. Я вышелъ на крыльцо... Дождь давно успѣлъ уже перестать и добрый морозецъ, серебристымъ инеемъ разсыпавшійся по землѣ, сковалъ немного жидкую грязь. Небо было совершенно безоблачное, чистое, блѣдно-голубое, вчерашнихъ хмурыхъ тучъ не было и въ поминѣ... Вставало солнце багровое, лучистое и потопляло окрестность въ яркомъ розовомъ сіяніи... Морозъ заискрился алмазами... Я разыскалъ кучера, расплатился съ дьякономъ за постой, а немного погода ѣхалъ уже домой. Съ Мурашкинымъ я не простился, ибо, заглянувъ за перегородку и увидавъ, что онъ спитъ безмятежнымъ сномъ младенца, я пожалѣлъ будить его.

Отъ села Берендѣева до Архангельскаго, въ

которомъ я жилъ, считалось верстъ двадцать. Дорога была прелестная, потому что, пролегая болъшею частію по выгонамъ и лугамъ, она, во первыхъ, не такъ разминалась, какъ полевая дорога, а во-вторыхъ, давала возможность объѣзжать свои дурныя мѣста. Морозъ сковаль землю и телѣжка моя гулко катилась какъ по паркету. Отдохнувшія лошади весело бѣжали, пофыркивая и потряхивая головами, и топотъ копытъ ихъ звонко разносился въ сухомъ холодномъ воздухѣ... Холодъ этотъ какъ-то особенно хорошо прибодрялъ меня, не спавшаго всю ночь... Было весело и легко. На лугахъ и выгонахъ морозъ былъ еще замѣтнѣе... Можно было подумать даже, что это снѣжокъ запорошилъ землю... Кое-гдѣ попадался слѣдъ проѣхавшей телѣги и слѣдъ этотъ, точно желѣзные рельсы, пролегалъ по инистой муравѣ... Отъ быстро вертѣвшихся колесъ минутно отлетали комочки грязи и, мелькая мимо глазъ, напоминали собою полетъ шаровъ въ рукахъ искуснаго фокусника... Въ лежавшихъ на пути деревняхъ и селахъ шла усиленная работа. Дождавшись, наконецъ, краснаго денечка, всѣ высыпали на гумна и дружно принялись за молотбу и вѣйку. Тутъ гремѣли цѣпы, тамъ народъ копошился съ граблями и вилами, здѣсь вѣяли. Хлѣбъ словно стайка воробьевъ взлеталъ на воздухъ и, падая на землю тяжелымъ зерномъ, отдавалъ вѣтерку свою легкую оболочку. Иногда мякина эта желтой полоской падала поперекъ дороги и, подѣхавъ къ ней, лошади приостанавливались, фыркали и затѣмъ робко перепрыгивали черезъ нее. Дымъ отъ топившихся избъ сѣровой пеленой разстилался надъ селеніями, и яркіе кресты церквей горѣли какъ въ огнѣ. Въ прозрачной вышинѣ звонко перекликались журавли и медленно тянули на югъ.



Часа черезъ два я ѣхалъ уже по улицѣ села Архангельскаго. Проѣзжая мимо сельской школы, я увидалъ на крылечкѣ старшину, учителя изъ отставныхъ унтеръ-офицеровъ и нѣсколько стариковъ. Всѣ были разодѣты въ новые дубленые полушубки (старшина имѣлъ даже знакъ на груди) и видимо кого-то ждали. Изъ отвореннаго окна училища, какъ изъ кратера огнедышущей горы, вырывался гулъ и гамъ, остановить который тщетно старался видимо взволнованный учитель.

— Что, иль ждете кого?—крикнулъ я.

— Такъ точно-съ,—отвѣтило нѣсколько голо-  
совъ.

— Кого это?

— Начальства школьнаго...

— Скоро будетъ?

— Сейчасъ должны прибыть.

И дѣйствительно, не успѣлъ я отъѣхать отъ училища и четверть версты, какъ тонкій звукъ колокольчика долетѣлъ до меня и я увидалъ катившійся на встрѣчу тарантасъ. Тройка земскихъ лошадей путалась и металась въ разныя стороны, сбивала оглобли то на одинъ бокъ, то на другой и что было мочи влекла экипажъ. Растрепанный ямщикъ отчаянно вертѣлъ надъ головой кнутомъ... Въ тарантасѣ, утопая въ красныхъ мягкихъ подушкахъ, сидѣлъ мужчина лѣтъ сорока пяти, съ усами и въ форменной фуражкѣ съ кокардой, а рядомъ съ нимъ толетый, въ лисьей шубѣ старикъ съ нахлобученной до ушей мѣховой шапкой. Первый, какъ узналъ я впоследствии, былъ инспекторъ, а второй — членъ училищнаго совѣта, тотъ самый купецъ, который возилъ съ собою по школамъ отставнаго писаря.

Мѣсяцъ спустя пришелъ ко мнѣ какъ-то Мурашкинъ.

— Поздравьте!—проговорилъ онъ.

— Съ чѣмъ?  
— Съ увольненіемъ.  
— Какъ такъ?  
— Начальство осталось недовольнымъ.  
— Это послѣ того, какъ я у васъ-то былъ?  
— Именно. Нашли, что я мало обращаю вниманія на дисциплину, безъ которой немислимо будто школьное дѣло. Нашли, что учителю не подобаетъ держать себя съ учениками такъ, какъ я держалъ себя съ ними. Поставили мнѣ въ упрекъ, что я удилъ съ ними какъ-то рыбу, гулялъ съ ними по лѣсамъ и полямъ, а пуще всего, что въ день Пасхи я, пригласивъ къ себѣ своихъ учениковъ, дозволилъ себѣ играть съ ними въ яйца и качаться на качеляхъ. Нашли, что ученики мои слишкомъ свободно держатъ себя въ классѣ и что я, въ свою очередь, тоже слишкомъ по-товарищески обращаюсь съ ними, а тутъ подвернулся священникъ, шепнулъ о моемъ маловѣрїи и нежеланїи, чтобы ученики обучались церковному пѣнію, и меня уволили. Я просилъ было проэкзаменовать моихъ учениковъ и посредствомъ экзаменовъ убѣдиться въ ихъ отличныхъ успѣхахъ, но мнѣ отвѣтили на это, что дисциплина—прежде всего и дѣтей экзаменовать отказались. Я прибѣгнулъ было къ защитѣ генераль-маіора Берендѣева, какъ почетнаго попечителя школы, письменно сообщилъ ему подробности дѣла, но и тутъ не выгорѣло.

— Не отвѣтилъ?—спросилъ я.

— Напротивъ, весьма скоро.

И, подавъ мнѣ письмо, проговорилъ.

— Прочтите, если желаете.

Вотъ что писалъ генераль:

„Милостивый государь мой! На письмо ваше, пущенное ко мнѣ отъ 8 октября мѣсяца сего года, отвѣтствовать честь имѣю, что въ дѣлѣ, о

которомъ вы пишете и въ которомъ, по мнѣнію вашему, я принимаю отеческое участіе, то сіе совершенно не вѣрно, и ежели я когда-то хлопоталъ о школѣ имени моего, то все сіе давно прошло и въ оныхъ моихъ поступкахъ усматриваю болѣе юношескаго легкомыслія, ничѣмъ поощренія достойнаго. Распоряженіе вашего теперешняго начальствая вполнѣ одобряю и раздѣлять ваше мнѣніе за излишество съ своей стороны считаю, ибо токмо симъ путемъ желаемыхъ результатовъ достигъ возможно. При семъ удобномъ случаѣ, съ чувствомъ благоговѣнія вспоминаю незабвенное изреченіе моего начальника и благодѣтеля директора корпуса нынѣ умершаго генераль-лейтенанта Клингера, что „русскихъ надо менѣе учить, а болѣе бить“ \*). А впрочемъ, можете принять увѣреніе въ совершенномъ моемъ къ вамъ благоволеніи и ежели вамъ потребуется мука или пшено или другое что изъ сельскихъ продуктовъ, то можете обратиться въ мою вотчинную берендѣевскую контору съ указаніемъ на сіе мое къ вамъ письмо. Генераль-маіоръ Акимъ Берендѣевъ“.

— Кто же на ваше мѣсто назначень?—спросилъ я Мурашкина, возвращая ему письмо.

— Сынъ священника. Теперь все партеснымъ пѣніемъ занимаются.

И, помолчавъ немного, онъ прибавилъ.

— Мальчика еще одного исключили...

— За что?

— А за то, что на локтяхъ у него заплаты оказались. „Если, говорятъ, родители твои не имѣютъ средствъ сшить тебѣ порядочнаго кафтана, то пусть тебя въ сапожники отдають“... а

---

\*) Справедливость воспоминанія этого подтверждается статьею Н. А. Титова: „Младшее отдѣленіе 1-го кадетскаго корпуса“. См. „Рус. Стар.“, 1870 г. за май мѣсяць.

его мать живетъ въ какой-то землянкѣ и Христовымъ именемъ питается.— Того самаго мальчугана, про котораго, помните, Чосовъ-то рассказывалъ, что стричся не давался.

— Стало-быть зря оболванили мальчика-то?

— Конечно, зря.

— А что Чосовъ?—спросилъ я, вспомнивъ старика?

Мурашкинъ разсмѣялся даже.

— Оскорбился, сидитъ въ своей конурѣ и никуда носа не показываетъ. Не смыслятъ, говорить, ни уха, ни рыла, а туда же суются... Все было въ порядкѣ. А сегодня пришелъ ко мнѣ, отвелъ меня въ сторону и шепчетъ:— „ты того... не плачь... Коли тебѣ, говорить, деньжата спонадобятся, такъ шепни только... Чосовъ найдетъ, небось... Чосовъ изъ земли выкопаетъ, съ пальцемъ девять, съ огурцомъ пятнадцать“...

И дѣйствительно, у Чосова, какъ говорятъ, гдѣ-то на огородѣ зарыты небольшія деньжонки.



*Митрий Павловичъ  
Савининъ*



## СОДЕРЖАНІЕ.

	<i>Стр.</i>
Шуклинскій Пироговъ . . . . .	1
Дармоѣдка . . . . .	19
Глоты . . . . .	55
Четыре времени года . . . . .	77
Маленькій покойникъ . . . . .	125
Въ засадѣ . . . . .	138
Ободѣлый . . . . .	152
Лекція въ деревнѣ . . . . .	167
Старый колоколь . . . . .	180
Кавалеръ . . . . .	189
Ласковый баринъ . . . . .	222
Фотій Иванычъ . . . . .	244
Берендѣвская генераль-маіорская школа . . . . .	287



# „АРТИСТЪ“

(годъ 5-й.)

## съ приложеніемъ „ДНЕВНИКА АРТИСТА“

выходитъ ежемѣсячно, двѣнадцать разъ въ годъ.

Въ январѣ, февралѣ, мартѣ, апрѣлѣ, октябрѣ, ноябрѣ и декабрѣ выходятъ книжки „АРТИСТА“ (отъ 25 до 35 листовъ), а въ маѣ, юнѣ, юлѣ, августѣ и сентябрѣ въ томъ же форматѣ и по той же программѣ—„ДНЕВНИКЪ АРТИСТА“, книжками отъ 5 до 8 листовъ.

„ТЕАТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА“ ежемѣсячный журналъ. Въ каждой книжкѣ помѣщается отъ 4 до 8 актовъ драматическихкихъ произведеній.

Подписная цѣна на журналъ „Артистъ“ на годъ 10 р., съ доставкой и пересылкой—12 р., за границу—14 р.; вмѣстѣ съ ежемѣсячнымъ журналомъ „Театральная Библиотека“—13 руб., съ перес. 16 руб., за границу 18 руб. Подписка на журналъ „Театральная Библиотека“ принимается *только* отъ подписчиковъ на журналъ „Артистъ“ и *только* на текущій годъ.

Для лицъ, подписавшихся въ редакціи, допускается **разсрочка**: при подпискѣ на „Артистъ“—4 руб., а затѣмъ ежемѣсячно по 2 руб. до полной уплаты всей подписной суммы; при подпискѣ вмѣстѣ съ „Театральной Библиотекой“—5 руб. и затѣмъ ежемѣсячно по 3 руб. до полной уплаты всей суммы.

Для учащихся въ специально-театральныхъ, музыкальныхъ и художественныхъ школахъ подписная цѣна на „Артистъ“ на годъ 9 руб., съ пересылкой 10 руб.

Отдѣльные номера „Артиста“ по 2 руб., „Дневника Артиста“ и „Театральной Библиотеки“ по 1 руб.

Подписка принимается и отдѣльные номера продаются въ ксенторѣ редакціи (Москва, Страстной бульваръ, д. Адельгеймъ, Телефонъ № 502), въ отдѣленіяхъ конторы: въ книжныхъ магазинахъ „Новаго Времени“ (въ С.-Петербургѣ, Москвѣ, Одессѣ и Харьковѣ) и Т-ва Вольфъ и въ конторѣ Н. Н. Печковской (Москва, Петровскія линіи) и кромѣ того въ книжной лавкѣ московскаго Большого театра и во всѣхъ из-

вѣстныхъ книжныхъ, музыкальныхъ и эстампныхъ магазинахъ въ С.-Петербургѣ и Москвѣ; въ Кіевѣ у г. Оглоблина; въ Казани у г. Дубровина; въ Костромѣ у г. Бекенева; въ Варшавѣ у г. Карбасникова; въ Орлѣ и Курскѣ у г. Кашкина.

## ПРОГРАММА „АРТИСТА“:

1. Правительственные распоряженія. 2. Драматическія произведенія, съ снимками, портретами и пр. 3. Либретто. 4. Режиссерскій отдѣлъ, постановка пьесъ, указанія авторовъ, виды и планы декораций, монтировки, костюмы (съ рисунками), статьи по гриму (съ рисунками), снимки съ извѣстныхъ артистовъ въ гримировкѣ и костюмахъ, снимки съ картинъ и портретовъ историческихъ лицъ. Виды и планы театровъ съ чертежами. Устройство театровъ съ чертежами и смѣтами. 5. Критическія статьи по вѣсмымъ вопросамъ искусства. 6. Историческія статьи. 7. Хроника. 8. Романы, повѣсти, рассказы, стихотворенія и пр.

## ПРИЛОЖЕНІЯ:

а) оригинальные рисунки, снимки съ картинъ, портреты артистовъ и писателей и т. п., исполненные гелиографіей, фототипографіей, фототипіей, хромолитографіей, автотипіей, и пр. и б) музыкальныя произведенія.

Въ вышедшихъ книжкахъ (1889 — 1893 г.), между прочимъ, помѣщено:

Письма *А. Н. Островскаго*, *Э Росси*. Романы, повѣсти и рассказы *И. А. Салова*, *С. Н. Филиппова*, *И. Л. Щелова*, *М. П. Садовскаго*, *П. П. Гнѣдича*, *А. А. Лувова*, *кн. Д. П. Голицина (Муравлина)*, *Ж. Кларти*, *Л. Галеви*, *Вл. И. Немчиновича-Данченко*, *П. М. Свободина*, *Д. Н. Мамина (Сибиряка)*, *И. Н. Потапенко* и др. Статьи *С. А. Юрьева*, *проф. Н. С. Тихонравова*, *П. Д. Боборыкина*, *проф. А. Н. Веселовскаго*, *В. А. Голмцева*, *проф. Н. И. Стороженко*, *И. И. Иванова*, *Н. Д. Кашикина*, *А. А. Киселева*, *С. Н. Круликова*, *Ц. А. Кюи*, *А. Н. Сиротина*, *Коклена*, *Т. Сальвини*. Мемуары *Ристори*. Воспоминанія *М. П. Садовскаго* и *В. С. Сыровой*. Музыкальныя произведенія *Ц. А. Кюи*, *П. И. Чайковскаго*, *А. С. Аренскаго*, *Н. А. Римскаго-Корсакова*, *Э. Ф. Направника*, *А. Ф. Арендса*, *Маскани*, *Массне*, *Сень-Санса*, *П. И. Бларамберга*, *А. К. Глазунова*, *А. Ю. Симона*. Снимки съ картинъ: *К. Е. Маковскаго*, *В. Е. Маковскаго*, *И. Е. Рѣпина*, *И. И. Шишкина*, *И. М. Прянишникова*, *К. А. Савицкаго*, *Фриана*, *К. А. Трутовскаго*, *Л. О. Пастернака*, *А. С. Степанова*, *Н. В. Неэрева*, *бар. М. П. Клодта*, *Г. А. Рыбакова*, *А. А. Киселева*, *Аллерса*. Портреты. „Сказка о золотомъ пѣтушкѣ“, *А. С. Пушкина*, съ акварельными рисунками *гр. Ф. Л. Соллогуба* (листы 1—7) и 100 драматическихъ сочиненій.

## ДРАМАТИЧЕСКІЯ СОЧИНЕНІЯ,

напечатанныя въ №№ 1—29 журнала «Артистъ»,  
№№ 1—6 «Дневника Артиста» и №№ 1—25  
журнала «Театральная Библіотека».

	№№ кн. «Артиста»	№№ кн. «Т. Библи.»
„Автора въ театрѣ нѣтъ“, ш. въ 1 д. И. Л. Щеглова. (Къ представленію разрѣшено безусловно см. „Правит. Вѣстн.“ 91 г. № 176). . . . .	—	3
„Арсеній Гуровъ“, др. въ 5 д. В. М. Михеева. (Пр. Вѣстн. 92 г. № 48) . . . . .	19	—
„Ахъ мужчины, мужчины!“ ком.-фарсъ въ 4 д. перед. изъ ком. Залевскаго Н. А. Тихановымъ (91 г. № 144). . . . .	—	2
„Бабье дѣло“, ш. въ 2 д. А. Н. Канаева (90 г. № 202)	7	—
„Безъ кинжала“, ш. въ 1 д. В. Р. Щиглова (90 г. № 202) . . . . .	7	—
„Безъ руля“, др. въ 3 д. въ стихахъ О. Н. Чюминой. (93 г. №№ 11 и 33) . . . . .	26	—
„Биржевики“, ком. въ 1 д. Станислава Добржанскаго („Zloty sielec“). Передѣлана для русской сцены Н. А. Тихановымъ (92 г. № 142) . . . . .	—	13
„Богатый“ („Кротость—что бѣлая зорька“), к. въ 4 д. Е. П. Гославскаго (92 г. № 7) . . . . .	18	—
„Божья коровка“, ком. въ 4 д. П. Д. Беборыкина. (90 г. № 12). . . . .	4	—
„Борьба за существованіе“, піеса въ 5 д. А. Додэ, пер. Э. Э. Матерна. (90 г. № 12). . . . .	4	—
„Братъ и сестра“, пьеса въ 1 д. В. Гете, переводъ Э. Э. Матерна (92 г. № 7). . . . .	18	—
„Букетъ“ ком. въ 1 д. И. Н. Поталенко. (92 г. № 242) . . . . .	—	18
„Бываетъ!“ ком. въ 4 д. Н. В. Казанцева. (92 г. № 271) . . . . .	—	19



	№№ эк. „Архива“	№№ эк. „Г. Вибл.“
„Быть или не быть“? ком.-шутка въ 1 д. Скриба, передѣл. для русской сцены Э. Э. Маттернгь. (92 г. № 216) . . . . .	—	15
„Баби“, комедія въ 3 дѣйств. Н. И. Северина (92 г. №№ 48 и 79) . . . . .	—	11
„Вамъ таня сцены не знакомы?“ Сценка въ 1 д. Дрейфуса. Перев. Н. А. Тиханова. (91. г. №№ 144 и 176) . . . . .	—	4
„Василекъ“, ком. въ 4 д. В. А. Крылова. (90 г. № 283) . . . . .	11	—
„Вильгельмъ Тэль“, др. въ 5 д. Шиллера, перев. А. А. Крыль . . . . .	22—25	—
„Viola Tricolor“ („Трехцвѣтная фіалка“), ком. въ 1 д. П. П. Гитдича (93 г. № 88) . . . . .	—	23
„Внизъ по матушкѣ по Волгѣ“, кар. для оконч. спектакля В. Щигрова (92 г. № 242) . . . . .	—	18
„Водоворотъ“, др. въ 5 д. И. В. Шпагинскаго. (90 г. № 12) . . . . .	3	—
„Волшебный вальсъ“ („Zaubervalzer“), шутка въ 1 д. съ пѣніемъ А. М. Шмидтгофа, (съ приложе- <i>ніемъ клавираусула</i> ) . . . . .	—	24
„Вольная волюшка“, др. въ 5 д. И. В. Шпагин- скаго. (91 г. № 31) . . . . .	12	—
„Вольная пташка“, ком. въ 3 д. Е. П. Карпова (91 г. № 276) . . . . .	—	7
„Вотъ тань водевиль“, шутка въ 1 д. Г. Н. Грес- сера (91 г. № 276) . . . . .	—	7
„Встрѣча“, карт. въ 1 д. П. П. Гитдича (91 г. № 276) . . . . .	17	—
„Всякому свое“, ком. въ 4 д. Н. В. Казанцева. (90 г. № 202) . . . . .	5	—
„Втируша“ (L'Intruse), др. въ 1 д. М. Метер- линка, перев. Е. Н. Клетновой (93 г. № 88) . . . . .	28	—
„Въ глуши“, драматическій этюдъ въ 4-хъ дѣй- ствіяхъ. В. В. Туношенскаго. (92 г. № 216) . . . . .	—	17
„Въ лунную лѣтнюю ночь“, этюдъ въ 1 д. А. Степановой (92 г. № 7) . . . . .	—	8
„Въ мутной водѣ“, ш. въ 1 д. Н. С. Семенова (91 г. № 144) . . . . .	—	1
„Въ неравной борьбѣ“, др. въ 4 дѣйств. Влад. А. Александрова (91 г. №№ 233 и 120) . . . . .	16	—
„Въ слѣдующій разъ“, сценка-монологъ въ 1 актѣ Грене-Данкура, перев. съ французск. О. А.		

	М.М. кн. „Артиста“	М.М. кн. „Г. Висл.“
Куманина. (90 г. № 202). (Въ отдѣльн. изд. на- шего журнала—91 г. № 31) . . . . .	8	—
„Въ сонномъ царствѣ“, ком. въ 4 д. И. Я. Гур- лянда. (90 г. № 202) . . . . .	8	—
„Въ старые годы“, др. въ 5 д. И. В. Шпажин- скаго. (89 г. № 258). . . . .	1	—
„Въ царствѣ поэтовъ“, ком.-фарсъ въ 2 д. В. Корнеліевой. (92 г. № 271) . . . . .	24	—
„Вытуриль“, шут. въ 1 д. и 2 карт. Г. Н. Грес- сера и С. В. Чирикова (92 г. № 242). . . . .	—	18
„Вѣчность въ мгновеніи“, драм. этюдъ въ 1 д. Т. Л. Щепкиной-Куперникъ (93 г. № 33) . . . . .	25	—
„Гамлетъ“, трагедія В. Шекспира, переводъ П. П. Гнѣдича . . . . .	19	—
и „Дневникъ Артиста“ №№ 1 — 4.	21	—
„Гастролерша“, шутка въ 1 дѣйствиИвана Щег- лова. (90 г. № 228) . . . . .	9	—
„Геніальная женщина“, шутка въ 1 д. А. Р. Г. (91 г. № 144) . . . . .	—	1
„Гибель Содома“ др. въ 5 д. Г. Зудермана, пе- рев. П. Н. (92 г. № 242) . . . . .	23	—
„Гость“, др. въ 2 д. Эдуарда Брандеса, переводъ П. Ганзена. (92 г. №№ 48 и 79) . . . . .	19	—
„Грамотѣй“, анекд.-шутка въ 1 д. И. Н. Ге. (92 г. № 142) . . . . .	—	13
„Графъ де-Ризооръ“ (Patrie) драма въ 5 д. и 7 картин. Викторѣна Сарду, пер. Н. Ѳ. Арбенниа. (Разрѣшена къ представленію только на сценахъ Императорскихъ театровъ). . . . .	24	—
„Гусь лапчатый“, др. въ 5 д. И. А. Салова. (90 г. № 283) . . . . .	11	—
„Дармоѣдка“, комедія въ 5 дѣйствиИ. А. Салова. (90 г. № 202) . . . . .	8	—
„Дачный мужъ“, ком.-шутка въ 3 д. Ивана Щег- лова (92 г. № 142) . . . . .	—	14
„Двѣ семьи“, ком. въ 5 д., Эмиля Ожье, перев. И. Л. Щеглова (92 г. № 216). . . . .	22	—
„День въ Петербургѣ“, сцены въ 3 картинахъ М. И. Чайновскаго (93 г. № 88). . . . .	28	—
„Джэкъ“, драма въ 5 д. Альфонса Додэ, пере- дѣлано И. Н. Ге. (92 г. № 79) . . . . .	—	11
„Докторъ Штокманъ“, др. въ 5 д. Г. Ибсена, перев. Н. Мировичъ. (91 г. №№ 120 и 233). . . . .	15	—

	№№ кн. „Аргонтовъ“	№№ кн. „Г. Библ.“
„Долгъ чести“, драма въ 1 д. П. Гейзе, перев. Э. З. Матернъ. (91 г. № 176) . . . . .	—	3
„Донъ Карлосъ инфантъ испанскій“, тр. въ 5 д. Шиллера. Приспособленный для сцены переводъ И. Н. Гренова. Съ рисунками костюмовъ гр. Ф. Л. Соллогуба . . . . .	1—4	—
„Донъ Фернандо, стойкій принцъ“, траг. въ 5 д. Кальдерона, перев. Н. Ф. Арбенина (91 г. № 94) 12—14	—	—
„Дочь невесты“, ком.-шутка въ 4 д. В. М. Михеева (91 г. № 276) . . . . .	—	7
„Другъ Фритцъ“, ком. въ 3 д. Эрмана Шатриана пер. Э. Э. Матерна ((93 г. № 33). . . . .	—	20
„Душа потомки“, сцены въ 3 д. М. П. Садовскаго. (91 г. № 233) . . . . .	—	5
„Дуэль“, шут. въ 1 д. Владиміра А. Александрова (93 г. № 88) . . . . .	—	23
„Дядюшкина квартира“, шутка въ 3 д. И. И. Масницкаго . . . . .	—	25
„Елка“, ком. въ 1 д. Влад. И. Немировича-Данченко (92 г. №№ 216 и 242) . . . . .	23	—
„Женихъ пріятный“, сцена-монологъ И. И. Масницкаго (93 г. № 88) . . . . .	—	23
„Женская чепуха“, ш. въ 1 д. И. Щеглова (93 г. № 88). . . . .	—	23
„Женскій вопросъ“, фарсъ въ 2 д. Л. Фульда, перев. Н. Ф. Арбенина (92 г. № 48). . . . .	20	—
„Жизнь Илимова“, будничная драма въ 5 карт. В. С. Лихачова. (91 г. № 233) . . . . .	15	—
„Жить надоѣло“, ш. въ 1 д. В. В. Билибина. (91 г. № 176). . . . .	—	3
„Житѣе привольное“, др. изъ народной жизни въ 5 д. Е. П. Карпова (92 г. №№ 79 и 98) . . . . .	—	12
„Жоржинья“, комедія-фарсъ въ 2 д. Чека. (91 г. № 94). (Въ отдѣльномъ изданіи нашего журнала—91 г. № 120). . . . .	14	—
„Жрица искусства“, ком. въ 4 д. Е. П. Карпова (91 г. № 59) . . . . .	14	—
„Загадка“, ком. въ 2 д. въ стихахъ, О. Н. Чюминой. (92 г. № 271) . . . . .	—	19
„За золотымъ руномъ“, сцены изъ похода современ. аргонатовъ, въ 4 д. А. Лугового (93 г. № 33). 25	—	—
„За рюмочку“ картинка будничной жизни В. Р. Щиглева (92 г. № 216). . . . .	—	15

	№№ эк. „Артиста“	№№ эк. „Г. Бюб.“
„Зяцъ“, комедія-фарсъ въ 3 д. И. И. Мясницкаго (92 г. № 7) . . . . .	—	8
„Зеленый яръ“, к. въ 4 д. П. П. Гитдича (93 г. № 33) . . . . .	—	21
„Золотая рыба“, ком. въ 3-хъ д. М. А. Салова и М. Н. Ге. (90 г. № 12) . . . . .	3	—
„Зубъ, разскавъ для сцены И. И. Мясницкаго . . . . .	—	24
„Иванъ да Марья“, шутка въ 1-мъ дѣйствіи Г. Н. Грессеръ (92 г. № 216) . . . . .	—	17
„Избытокъ счастья“ ком.-шутка въ 4 д. Г. Смоленскаго и И. Н. Ге. (93 г. № 88) . . . . .	—	22
„Изломанные люди“, пьеса въ 4 д. Вл. А. Александрова . . . . .	29	—
„И ночь,.. и луна,.. и любовь!..“ („Nottigpo“), шутка въ 1 д. съ пѣніемъ (оригинальная) Г. Н. Грессера (съ приложеніемъ <i>клавираусуца</i> ), (92 г. № 98) . . . . .	—	12
„Интересная больная“, шутка въ 1 д. В. Холостова. (91 г. № 233) . . . . .	—	6
„Ирэнъ“, ком. въ 1 д. Т. Л. Щепкиной-Нуперникъ . . . . . „Дневникъ Артиста“ № . . . . .	6	—
„Искорна“, ком. въ 1 д. Пальерона, перед. для русск. сцены А. Н. Плещеевымъ. (91 г. № 233) . . . . .	—	5
„Назусъ въ театрѣ“, шутка въ 1 д. Ф. Ралнера, перев. Э. Э. Матерна (93 г. № 33) . . . . .	—	21
„Камень при распутии“, ком. въ 3 д. кн. Н. П. Урусова. (91 г. № 176) . . . . .	—	4
„Кайсаровы“, пьеса въ 4 д. Влад. А. Александрова (92 г. № 48) . . . . .	—	9
„Коминъ по натурѣ“, шутка въ 1 д. Ив. Щеглова (92 г. № 48) . . . . .	—	9
„Компаньоны“, ком. въ 4 д. П. М. Невѣмина (91 г. № 276 и 92 г. № 7) . . . . .	18	—
„Крама“, драм. этюдъ въ 1 д. кн. Д. П. Голицына (Муравлина). (90 г. № 228) . . . . .	9	—
„Крокодиловы слезы“, ком. въ 5 д. Е. П. Карпова (93 г. № 88) . . . . .	—	23
„Лебединая пѣсня“ („Калгасъ“), др. эт. въ 1 д. А. П. Чехова. (89 г. № 274) . . . . .	2	—
„Лѣтняя картинка“, въ 1 д. Т. Л. Щепкиной-Нуперникъ (92 г. № 242) . . . . .	23	—
„Мамаево нашествіе“, ком.-шут. въ 3 д. Ивана Щеглова. (90 г. № 283) . . . . .	10	—
„Матап“, ком. въ 2 д. С. Н. Терпигорова (Сергѣя Атавы). (90 г. № 12) . . . . .	3	—

	№№ кн. С. Артиста	№№ кн. Т. Вибл.
„Медвѣдь“, ш. въ 1 д. А. П. Чехова (90 г. № 202)	—	5
„Мельхиоръ“, ком. въ 1 д. С. Меллера, перев. Н. Г. (91 г. № 233) . . . . .	—	5
„Молодость Людовина XIV“, ком. въ 5 д. А. Дюма, переводъ А. Ѳ. Крюковскаго. (93 г. № 88).	27	—
„Молчаніе“, шутка въ 1 д. В. В. Билибина. (91 г. № 31) . . . . .	12	—
„Мужъ и жена“, ком. въ 5 д. О. К. Ситкина . . . . .	29	—
„Муравейникъ“, ком. въ 2 д. Н. Криницкаго. (92 г. №№ 97 и 216.) . . . . . „Дневникъ Артиста“ №	4	—
„Мушоловна“ („Цвѣтокъ людоѣда“), ком. въ 5 д. Л. Г. . . . .	—	25
„Мышеловна“, ш. въ 1 д. И. Л. Щеглова (89 г. № 258) . . . . .	1	—
— тоже, въ новой редакціи . . . . .	—	25
„Мюзота“, др. въ 3 д. Гюи де-Мопассана и Ж. Нормана перев. Н. И. Северина (92 г. № 142) . . . . .	—	13
„Навожденіе“, ком. въ 3 дѣйст., Н. Криницкаго и А. Воронескаго. (92 г. № 79) . . . . .	21	—
„На своихъ мѣстахъ“, комедія въ 4 д. Ник. Вл. Казанцева (92 г. № 7) . . . . .	—	8
„На станціи“, карт. въ 1 д. Т. Л. Щепкиной-Нуперникъ (93 г. № 83) . . . . .	—	21
„Не всякому наизъ Якову“, картина сельской жизни въ 1 д. Е. П. Гославскаго. (91 г. № 59) . . . . .	13	—
„Не въ добрый часъ“, ш. въ 1 д. И. Л. Щеглова. (91 г. № 233) . . . . .	—	5
„Нежданный гость“ („Жакъ Дамуръ“), др. въ 1 д. Эниика (передѣлано изъ романа Эмиля Золя), переводъ съ франц. И. Л. Щеглова. (90 г. № 202).	5	—
„Незадачный денекъ“, ш. въ 1 д. Н. Каменскаго. (91 г. № 233) . . . . .	—	5
„Незванный гость“, небывалый анекдотъ въ 1 д. Н. Г. Леонтьева. (91 г. № 233) . . . . .	—	6
„Не лги!“, фарсъ въ 3-хъ д. И. И. Мясническаго, передѣланный изъ ком. Шамберта „Iedénacte prikázáni“ (92 № 48) . . . . .	—	10
„Немашье“, ком. въ 1 д. П. П. Гибдича. (91 г. № 59) . . . . .	11	—
„Неудачный день“, ком. въ 1 д. Т. Барриера, пер. Э. Э. Матерна (92 г. № 189) . . . . .	—	16
„Ни минуты покоя“, ком.-фарсъ въ 3 д. И. И. Мясническаго. (93 г. № 88) . . . . .	—	22

	№№ ян. „Аргумент“.	№№ кн. „Г. Бюджет“
„Новое дѣло“, ком. въ 4 д. Влад. Ив. Немировича-Данченко. (90 г. № 283). (Въ отдѣльномъ изданіи нашего журнала—91 г. № 31). . . . .	10	—
„Обухъ“ („Ни съ того, ни съ сего“) („Nowy dziennik“), ком. въ 3 д. Балудкаго. Перед. для русской сцены Е. М. Б—аго. (91 г. № 176) . . .	—	4
„Одурачили!..“ („Мужъ на прокатъ“), (Le mari à Babette), ком. въ 3 д. Г. Мелльяна и Ф. Жилья, перев. съ франц. П. И. Кичеева (92 г. № 216) . . .	—	15
„Озимь“, др. въ 4 д. А. А. Луговаго (90 г. № 202). . . . .	7	—
„Она одна“, сцена-монологъ И. И. Мясническаго (93 г. № 33) . . . . .	—	21
„Опасные люди“ („Два полюса“), драма въ 4 д. Н. В. Назарьева. (91 г. № 176). . . . .	—	3
„Осень“, ком. въ 3 д. В. М. Михеева (91 г. № 144) . . . . .	—	2
„Осенняя роза“, комедія въ одномъ актѣ Огюста Доршена. Переводъ съ французскаго А. Н. Михеевой. (92 г. № 98). . . . „Дневникъ Артиста“ №	1	—
„Осколки минувшаго“, ком. въ 5 д. и 6 картинахъ, передѣлана изъ повѣсти Вс. Крестовскаго (псевдонимъ) „Въ ожиданіи лучшаго“ И. Н. Ге. (91 г. № 233). . . . .	16	—
„Отетавка“, шутка въ 1 дѣйст. (91 г. №№ 144. и 176) . . . . .	—	4
„Отрѣзанный ломоть“, фарсъ-водевиль въ 1 д. С. А. Алякринскаго (92 г. № 216) . . . . .	—	15
„Перекасти поле“, ком. въ 4 д. П. П. Гитѣдича (90 г. № 12). (Въ отд. изданіи нашего журнала—90 г. № 228) . . . . .	4	—
„Петербургскій нузень“, ком. въ 3 д. В. Кигна и В. Тихонова (92 г. № 142) . . . . .	—	14
„Плагіатъ“, ком. въ 1 д. К. С. Баранцевича. (90 г. № 202). . . . .	6	—
„Подвижной лагерный сборъ“, карт. въ 1 д. Н. П. Неймана (91 г. № 144) . . . . .	—	1
„Подъ властью сердца“, др. въ 5 д. И. Н. Ладженскаго (89 г. № 274). . . . .	2	—
„Подъ душистой вѣтної сирени“, ком. въ 1 д. В. Корнеліевой (92 г. № 189). „Дневникъ Артиста“	5	—
„По красному звѣрю“, ком.-шутка въ 2 д. И. Н. Захарына . . . . .	—	25

	№№ кн. „Артиста“	№ № кн. Т. Бюл.
„По кровавымъ слѣдамъ“, фарсъ въ 1 дѣйст. Г. Н. Грессера. (90 г. № 283) . . . . .	10	—
„По памятной книжкѣ“, ком.-шутка въ 1 д. Пе- редѣлана Э. Э. Матерномъ изъ пьесы Г. Мюрге „Le sergent d'Hoage“ (92 г. № 142) . . . . .	—	14
„По разстоянности“, к. въ 3 д. Н. В. Казанцева (92 г. № 242) . . . . .	—	18
„По ревизіи“, эт. въ 1 д. М. Л. Кропивницкаго. (91 г. № 94) . . . . .	14	—
„Порывъ“, др. въ 4 д. Н. О. Ракшанина (91 г. № 31). . . . .	12	—
„Последнее сокровище“, др. эт. въ 2 д. В. М. Михеева (91 г. № 144) . . . . .	—	1
„Последняя воля“, ком. въ 4 д. Влад. Ив. Неми- ровича-Данченко (92 г. № 48) . . . . .	—	9
„Похищеніе Сильфиды“, ком. въ 1 д. В. В. Били- бина. (91 г. № 233) . . . . .	—	5
„Праздникъ въ Солгаугѣ“, др. въ 3 д. Генрика Ибсена (93 г. № 33) . . . . .	26	—
„Предложеніе“, ш. въ 1 д. А. П. Чехова (90 г. № 12). „Привѣтствіе искусствъ“, лирическая сцена Шил- лера, перев. Н. Ѳ. Арбенина. . . . .	3	—
„Приданое принимаютъ“, ком. въ 1 д. М. В. Ла- рюнова (92 г. № 189) . . . . .	2	—
„Приступомъ“, сцены въ 2 д. И. В. Шпагинскаго. (90 г. № 202) . . . . .	—	16
„Пуганая ворона“, сцены изъ жизни пріятнаго общества, В. Щигрова (92 г. № 142) „Дневникъ <i>Артиста</i> “ . . . . . №	5	—
„Рабочая слободка“, драма въ 4 д. Е. П. Кар- пова. (91 г. № 276) . . . . .	3	—
„Разладъ“, др. въ 4 д. В. А. Крылова (89 г. № 274) . . . . .	17	—
„Ранняя осень“, драма въ 4 д. Е. П. Карпова. (91 г. № 59). (Въ отдѣл. изд. нашего журнала— 91 г. № 31). . . . .	2	—
„Ревнивый актеръ“, монологъ въ стихахъ гр. Ѳ. Л. Соллогуба. (89 г. № 258) . . . . .	7	—
„Револьверъ“, ком. въ 1 д. В. В. Билибина. (90 г. № 283) . . . . .	13	—
„Самъ у себя подъ стражей“, ком. въ 3 д. Донъ Педро Кальдерона дель Барна, приспособл. къ сце- нѣ перев. С. А. Юрьева. (91 г. № 276) . . . . .	1	—
	10	—
	15—17	—

	№№ кн. „Архива“	№№ кн. „Г. Бюл.“
„Сарданапал“, трагедія Байрона, переводъ О. Н. Чюминой (90 г. № 283) . . . . .	9—11	—
„Сафо“, трагедія въ 5 д. Гримальпарцера, перев. Н. О. Арбенина . . . . .	26—29	—
„Семь бѣдъ—одинъ отвѣтъ“, ш. въ 1 д. Хеля, перев. Н. О. Арбенина. (90 г. № 202) . . . . .	6	—
„Симфонія“, комедія въ 5 дѣйств. Модеста М. Чайковскаго. (90 г. № 228) . . . . .	9	—
„Скитальцы“, сц. въ 5 д. Н. С. Генкина. (90 г. № 202)	6	—
„Случайно случившійся случай“, фарсъ въ 1 д. Г. Н. Грессера (92 г. № 142) . . . . .	—	13
„Старая погудка на новый ладъ“, к. въ 1 д. въ стихахъ О. Н. Чюминой (90 г. № 202) . . . . .	6	—
„Старообрядецъ“, сцены въ 4-хъ дѣйствіяхъ Чу- жаго (92 г. № 189) . . . . .	—	16
„Степной Богатырь“, др. въ 5 д., И. А. Салова (92 г. № 216) . . . . .	22	—
„Стоячія воды“, картинки соврем. жизни въ 3 д. П. П. Гнѣдича. (90 г. № 228) . . . . .	9	—
„Счастливецъ“, пьеса въ 4 д. Влад. И. Немиро- вича-Данченко (92 г. № 48) . . . . .	—	10
„Сыщикъ“, оригин. ком.-фарсъ въ 3 д. И. И. Мясницкаго (93 г. № 33) . . . . .	—	20
„Сынъ измѣнника“ („Мачиха“) драма въ 5 д. и 7 карт. Бальзама, перев. съ франц. Ив. Щеглова.	—	24
„Сѣверные богатыри“, драма въ 4 д. Г. Ибсена, переводъ Н. Чировичъ (92 г. № 48) . . . . .	20	—
„Сюжетъ заимствованъ“, фарсъ въ 1 д. Н. В. Каменскаго и В. С. Пичинскаго (91 г. № 176) . . . . .	—	3
„Съ бою“, ком. въ 4 д. П. Д. Боборыкина. (91 г. № 59) . . . . .	13	—
„Танцующій кавалеръ“ фарсъ въ 1 д. В. Хело- стова (92 г. № 142) . . . . .	—	13
„Танъ ужъ на роду написано“, шутка въ 1 д. Н. Ломанина (92 г. № 242) . . . . .	—	18
„Театральный воробей“, комедія-шутка въ 2 д. Ивана Щеглова (92 г. № 48) . . . . .	—	10
„Товарищество камительнаго производства“, шут- ка въ д. Г Н Грессеръ (92 г. № 189) . . . . .	—	16
„Трагикъ по неволѣ“, ш. въ 1 д. А. П. Чехова. (90 г. № 202) . . . . .	7	—
„Три встрѣчи“, монологъ въ стихахъ М. И. Лаврова (91 г. № 144) . . . . .	—	1



	№№ кн. „Артиста“	№№ кн. „Г. Биол.“
„Турусы на колесах“, ш. въ 1 д. И. Л. Щеглова. (90 г. № 202) . . . . .	7	—
„Угасшая искра“, др. сцены въ 3 д., въ стихахъ, О. Н. Чюминой (92 г. № 79). . . . .	21	—
„Уголокъ Москвы“, ком. въ 4 д. Вл. А. Александрова. (91 г. № 276). . . . .	17	—
„Устроиль“, ш. въ 1 д. А. С. Кушнерова. (92 г. № 271). . . . .	—	19
„Уѣздный Шенспиръ“, ком. въ 1 д. И. Я. Гурлянда. (90 г. № 202) . . . . .	6	—
„Федра“, траг. Ж. Расина, перев. М. П. С—го. (90 г. № 202) . . . . .	5—7	—
„Фотографъ любитель“, ш. въ 1 д. Э. Э. Матерна. (90 г. № 202) . . . . .	6	—
„Цѣпи“, др. въ 4 д. ин. А. И. Сумбатова. (89 г. № 258). . . . .	1	—
„Чѣсть“, ком. въ 4 д. Зудермана, переводъ съ нѣмецк. Н. К. (91 г. № 233). . . . .	16	—
„Чудакъ“, ком. въ 4 д. И. Л. Щеглова. (91 г. № 233) . . . . .	—	6
„Шато-Инемъ“, к. въ 1 д. В. Гуснахъ, пер. съ фран. Н. А. Тиханова. (92 г. № 271) . . . . .	—	19
„Шашки“, шутка въ 1 д. Н. Криницкаго (92 г. № 142). . . . . „Дневникъ Артиста“ № . . . . .	2	—
„Школа гостеприимства“, ш. въ 2 д. А. Н. Канаева. Сюжетъ заим. изъ пов. Д. В. Григоровича. (91 г. № 233) . . . . .	—	6
„Школьная пара“, картинка съ природы въ 1 д. Е. М. Бабецкаго . . . . .	—	24
„Элида“, др. въ 5 д. Г. Ибсена, перев. В. М. Спасской. (91 г. № 94). . . . .	14	—

Отдѣльные №№ журнала „Артистъ“ продаются по 2 рубля, а „Дневника Артиста“ и „Театральной Библиотеки“ по 1 рублю.

(Цѣна тома „Театральной Библиотеки“ (4 книги)—3 руб.).

Выписывающіе изъ конторы редакціи (Москва, Страстной бульваръ, д. Адельгеймъ) за пересылку не платятъ.

Экземпляры №№ 1 и 4 журнала „Артистъ“ всѣ распроданы. („Перекасти поле“, ком. въ 4 д. П. П. Гнѣдича напечатана отдѣльнымъ изданіемъ. Цѣна 1 р. 50 к.).

Вышепоименованныя пьесы разрѣшены къ представленію безусловно—соотвѣтствующіе №№ „Правительственнаго Вѣстника“ указаны въ скобкахъ.

# ИЗЪ КНИЖНАГО МАГАЗИНА

## журнала „АРТИСТЪ“

МОГУТЪ БЫТЬ ВЫПИСЫВАЕМЫ:

Собрание сочинений А. Н. Островскаго, новое изданіе въ 10 томахъ. Цѣна 16 руб.

„Арсеній Гуровъ“, др. въ 5 д. В. М. Михеева. Цѣна 1 руб. Цѣна комплекта въ 14 экзempl. (по числу ролей)—7 руб.

„Въ слѣдующій разъ“, монологъ въ 1 д. Грене д'Анкура, перев. съ французскаго Ф. А. Кузмина. Цѣна 30 коп.

„Въ сонномъ царствіи“, ком. И. Я. Гурлянда. Цѣна 1 руб. Цѣна комплекта въ 12 экз. (по числу ролей)—6 руб.

„Для публичнаго чтенія“, стихотворенія П. И. Кичеева. („Европейскій театръ“ № 1). Цѣна 1 руб.

„Докторъ Штокманъ“, драма въ 5 д. Г. Ибсена. Цѣна 50 коп.

„Жоржинька“, ком.-шутка въ 2 д. Чека. Цѣна 50 коп.

„Жрица искусства“ (Свободная художница), комедія въ 4 д. Е. П. Карпова. Цѣна 1 руб. Цѣна комплекта въ 16 экз. (по числу ролей)—8 руб.

„Звѣзда Севильи“, трагедія Лопе де-Вега, переводъ С. А. Юрѣва. Цѣна 1 руб.

„Кесеніа и Лжедмитрій“, драма въ 5 д. и 7 картинахъ, въ стихахъ, Н. Пушкирева. („Европейскій театръ“ № 1). Цѣна 1 руб.

„Ликвидация“, ком. въ 1 д. Пальерона. Перев. Э. Маттернъ („Европейскій театръ“ № 1). Цѣна 1 руб.

„Милостники и ональные“, драма въ 4 дѣйствіяхъ и 5 карт. въ стихахъ М. И. Лаврова. Цѣна 2 руб.

„На земской нивѣ“, др. въ 5 д. Е. Карпова. Цѣна 50 к.

„Немезида“, ком. въ 4 д. Николая Александровича („Европейскій театръ“ № 1). Цѣна 1 руб.

„Ни минуты покоя“, фарсъ въ 3 дѣйствіяхъ. И. И. Мясницкаго. Цѣна 75 коп.

„Она одна“, монологъ И. И. Мясницкаго. Цѣна 50 коп.

„Пережати поле“, ком. П. П. Гнѣдича. Цѣна 1 руб. 50 коп.

„Ранняя осень“, др. Е. П. Карпова. Цѣна 1 руб. Цѣна комплекта въ 10 экз. (по числу ролей)—5 руб.

„Сильнодѣйствующее средство“ или „Лучше поздно, чѣмъ никогда“ („Doktor Klaus“), ком. въ 5 д. Аронжа, передѣл. съ нѣмецкаго Ф. А. Кузминнымъ. Цѣна 1 руб. 50 коп., для подписчиковъ нашего журнала—1 руб.

„Тяжелая доля“, драма въ 4 дѣйств. и 5 картинахъ Е. П. Карпова. Цѣна 50 коп.

Указатель 897 пѣсень для любительскихъ спектаклей, съ обозначеніемъ ролей по амбула, нужныхъ декораций и пр., сост. Н. Г. Леонтьевымъ. Цѣна 50 коп., для подписчиковъ на „Артистъ“—25 коп.

Устройство сцены для любительскихъ спектаклей, сост. Н. Г. Кузьминскій. Цѣна 50 коп., для подписчиковъ на „Артистъ“—25 коп.

Филипповъ Сергѣй. „Сирень“. 15 очерковъ и разсказовъ. Цѣна 1 руб. 25 коп.

„Цитварный ребенокъ“, водевилъ въ 1 дѣйствіи В. Холостова. Цѣна 40 коп.

„Честь“, комедія въ 4 дѣйствіяхъ Г. Зудермана, переводъ Н. К. Цѣна 1 руб. Цѣна комплекта въ 16 экз. (по числу ролей)—8 руб.

Фотографическія кабинетныя портреты артистовъ Н. А. Никудиной, М. К. Заньковецкой, А. И. Южина и Н. И. Музиля. Цѣна по 1 руб., для подписчиковъ по 65 коп.

и всѣ драматическія произведенія, существующія въ продажѣ.

Гг. подписчики на журналъ „АРТИСТЪ“ за пересылку не платятъ.





Stanford University Libraries

3 6105 124 450 631



PG

3470

S25S2

1120

**Stanford University Libraries  
Stanford, California**

**Return this book on or before date due.**

~~1975~~ JUN 16 1973

MAR - 8 1975

